Ехезкел Котик

Мои воспоминания

Księgarnia Rosyjska Booker

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Хозяин дешевой кофейни на варшавской улице Налевки Ехезкел Котик «проснулся знаменитым», опубликовав в начале декабря 1912 г. книгу, названную им без затей «Мои воспоминания». Эта книга — классическое описание жизни еврейского местечка. В ней нарисована широкая панорама экономической, социальной, религиозной и культурной жизни еврейской общины в черте оседлости в середине XIX в. «Воспоминания» Котика были опубликованы на идише в 1912 г. и сразу получили восторженную оценку критиков и писателей, в том числе Шолом-Алейхема и И.-Л. Переца. Новую жизнь они обрели тогда, когда вышел их перевод, сначала на иврит в 1998 г., а затем на английский в 2002 г. Настоящее издание — первый перевод «Моих воспоминаний» на русский язык.

-
- ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
- ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
- Вместо предисловия
- Письмо Шолом-Алейхема Ехезкелю Котику
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16
- Глава 17
- Глава 18
- Глава 19
- Глава 20
- Глава 21
- Глава 22

- Глава 23
- Глава 24
- Глава 25
- Глава 26
- Глава 27
- Глава 28
- Глава 29
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36

- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80

- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124

- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168

- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205

ЕХЕЗКЕЛЬ КОТИК

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Первый том

Издание осуществлено при поддержке Фонда семьи Чейс и благотворительного Фонда Ави Хай

УДК 821.411
ББК 84(5Изр)5

В оформлении обложки использован фрагмент карты М.И. Томасика «Наглядная карта Европейской России». Варшава, 1903.

© Европейский университет в Санкт-Петербурге, издание на русском языке, 2009
© М.А. Улановская, перевод на русский язык, 2009
© Ассоциация «Мосты культуры», перевод на русский язык, 2009
© В.А. Дымшиц, подготовка публикации, предисловие, примечания, глоссарий, 2009
© Д. Роскис, вступительная статья, 2009

ISBN 978-5-94380-083-2

Файл fb2 создан по электронной версии книги размещенной на сайте jewniverse.ru
http://www.jewniverse.ru/RED/Ulanovskaya_Kotik/

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Первый том воспоминаний Ехезкеля Котика (1847-1921), предлагаемый ныне в русском переводе, вышел впервые в Варшаве в 1912 году и был встречен критикой с большим энтузиазмом. Еврейские писатели и публицисты, в их числе Шолом-Алейхем и Ицхок-Лейбуш Перец, не пожалели для 65-летнего «простого еврея» - хозяина дешёвой кофейни на Налевках, известного ходатая по еврейским делам и дебютанта на ниве литературы на идиш - самых лестных слов. Первое письмо Шолом-Алейхема автору, написанное по прочтении книги, – перед нами: потрясённый неожиданным успехом автор поместил его как предисловие ко второму изданию, вышедшему через десять лет, с которого сделан настоящий перевод.

Автор оказался с семьёй в Варшаве после долгих скитаний по Российской империи в поисках того, что евреи называют «парнаса» - более ёмкое слово, чем русское «заработок». Скитания эти составили содержание как раз 2-го тома, вышедшего впервые в 1914 г. В первом описан потерянный рай: родное местечко автора, Каменец-Литовский, «где евреи жили бедно, но «спокойно» и – если можно так выразиться – со вкусом…», со всем разнообразием его типов и учреждений, с его бытом и нравами, с взаимотношениями внутри еврейской общины и окружающей средой, с верованиями и представлениями, с городской верхушкой и духовенством, меламедами и арендаторами, скупцами и филантропами, хасидами и их противниками, представителями власти и польскими помещиками - в обычное время и в эпохи кризиса, - со всем, типичным для еврейского местечка на протяжении веков, но уходящим в прошлое: «ныне этого ничего нет, нет и поэзии былых местечек. Америка их проредила, а тяжёлая для евреев жизнь в России, полная чёрного свинца антисемитизма, их совсем разрушила». До полного исчезновения еврейского Каменца осталось всего 30 лет, но автор этого не знает, и его рассказ о прошлом лишён надрыва.

История семьи автора - одной из самых уважаемых в местечке - ведется с прадеда. Главные герои книги – любимый дед Арон-Лейзер и незабвенная бабушка Бейле-Раше. Автор рассказывает о своём детстве, годах учения, о юности, об отношении к хасидизу и нарождающемуся еврейскому Просвещению, о женитьбе и попытках найти своё место в жизни – в привычной среде или вне её, найти источник пропитания для семьи, не отказываясь от потребностей духа, о трудностях на этом пути - и многом, многом

другом.

О появлении русского перевода книги стоит рассказать. В 1998 году в Центре по истории польского еврейства Института по исследованию диаспоры при Тель-Авивском университете вышел её перевод на иврит[1]. Рецензия на этот перевод была напечатана в литературном приложении к ежедневной газете «Ха-Арец» и попалась мне на глаза. Книгу захотелось прочесть, что по времени совпало с занятиями языком идиш с учителем, выходцем из тех же мест, что и автор. Но читать – лучше в оригинале, сверяясь с ивритским переводом, поскольку мой учитель русского языка не знал. Погрузившись в чтение и перевод, я уже не смогла оторваться и покончив с первым томом, занялась вторым. Было странно, что, вызвав, в качестве исторического источника при своём появлении большой интерес со стороны еврейской общественности, книга, появившись ещё раз через десять лет в Берлине, вышла там же в отрывках в переводе на немецкий язык в 1936 году и больше не появлялась, не попав, фактически, в научный оборот ни в Израиле, ни в России. Ещё поразила позиция автора – такая непохожая на нашу – как в России, так и в Израиле. Покинув местечко, в котором стало тесно духу и неудобно телу, как его покинули наши родители, никогда туда не вернувшись, Котик – не умалчивая ни о чём плохом - нашёл для своего Каменца слова глубокой любви, чему нам следует поучиться.

«Что меня очаровало в Вашей книге, - писал Котику Шолом-Алейхем», - это святая, голая правда, безыскусная простота». Также и язык, которым написана книга – прост и выразителен, и единственной задачей переводчика было – сохранить эту простоту и выразительность в русском переводе, не пытаясь при этом «говорить с еврейским акцентом», не прибегать к излишним вульгаризмам. Говоря о себе как о «простом еврее», автор, однако, был – по понятиям своей среды - человеком образованным, «базарным языком» не выражался. Большим подспорьем в переводе было обилие славянизмов в языке «литваков», которым пользовался Котик.

Будучи научным изданием, вышедший в Тель-Авиве перевод на иврит снабжён обширным предисловием[2] и богатым справочным аппаратом, чем было мне позволено неограниченно пользоваться, за что приношу глубокую благодарность Давиду Асафу, переводчику книги на иврит и её редактору, сотруднику Тель-Авивского университета. К сожалению, понятия, которые надо разъяснять российскому и израильскому читателям, не всегда совпадают, а для определения принятого написания имён и перевода названий пришлось обращаться к русским

справочникам. Библейские цитаты приводятся в новом, иерусалимском переводе издательства «Шамир», как более точном в смысле иврита. Названия праздников, предметов религиозного культа и духовные понятия – если есть необходимость приводить их «на святом языке», даются в сефардском произношении, как принято в Израиле. Имена – в ашкеназийском, идишистском.

Незадолго до выхода книги в Тель-Авиве Давид Асаф обменялся письмами с проживавшей в Москве внучкой Котика, Рахилью Абрамовной Котик, которая сообщила ему, что переводит книгу на русский язык. Не надеясь опубликовать перевод, Р.А. писала, что старается «для внуков». Вскоре после этого она умерла, и все мои попытки, находясь в Москве, узнать о судьбе перевода, были напрасны. Ничего об этом не знают и потомки Е.Котика, проживающие в Израиле. Памяти Р.А.Котик и моего учителя языка идиш, Дова Сискеля, относившегося к моей работе с большим сочувствием, посвящаю свой перевод.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Общеизвестно, что записанное – это лишь отражение помыслов сердца и устной речи, настроений, верований и мнений, свободной беседы и обсужденья Торы, выступленья оратора и даже пенье в кругу друзей. И для всего этого и для многих других видов записанного - своя форма выражения на письме. Так – в каждом народе, и так же - испокон веков - и в нашем. Слой за слоем возникают культуры, и в каждой из них - чудесный и сложный строй языков той эпохи, которыми владели и на которых мыслили их носители и выразители из рода в род.

Содержанье написанного служит потом, через много лет, основой для теоретических дискуссий и социо-исторических, языковедческих и проч. исследований.

В наше время, на пороге третьего тысячелетия, к этому добавился новый и захватывающий практический аспект - попытка с помощью генеалогического дерева и семейной саги обнаружить следы личного и исторического прошлого каждого из нас. Тот, кто этим заинтересуется, найдёт, в конце концов, свой особый путь, подходящий для его личности и потребностей.

Со мной это случилось при встрече с г-жой М.У., пожелавшей изучить язык идиш и его культуру, которых она почти не знала. Через какое-то время ей попался перевод на иврит воспоминаний Ехезкеля Котика, жившего в Литве во второй половине 19-го века и в начале 20-го, написанных в оригинале на идиш. Заинтересовавшись воспоминаниями, г-жа Улановская захотела перевести их на русский язык. Должен признаться, что несмотря на довольно серьёзное знакомство с еврейской тематикой, имя автора воспоминаний я услышал тогда в первый раз. Как только мы начали читать книгу, я с удивлением обнаружил, что автор родился и вырос в Каменце – местечке, о котором моя мать, благословенна её память, услышав, что кто-то оттуда родом, бывало говорила: «Да он из наших мест!» Также и благословенной памяти отец рассказывал, что в его родном местечке Городец, возле Бриска, было старинное кладбище, где похоронены его предки и часть семьи. Детство и юность моих родителей – отца из семьи Зискель и матери из дома Шерманов – до их эмиграции в Аргентину, прошли в Полесье, между Бриском и Кобриным. Никогда не думал, что, покинув родительский дом, сохраню в своём культурном наследии не только слова и выражения на идиш, но и упомянутые в тексте особые кушанья, описания природы и рассказы о жизни, запавшие когда-то в душу.

«Интеллектуальное приключение» началось для меня уже с первых глав. Я чувствовал, что часть семейной саги мне не чужда. И так мы дошли до конца первого тома, бывшего для меня подобием бытийной и ассоциативной встречи. Слова и выражения на идиш литваков, характерные для области между Брискoм и Кобриным, которыми так свободно пользуется Котик, - я их слышал мальчиком и подростком, вместе с братом и сёстрами. Также и дед с бабкой с материнской стороны, жившие в одном из поселений барона Гирша, после долгой поездки к ним на поезде, говорили с нами на этом особенном идиш, а я ещё не понимал тогда, как укоренится во мне язык, как буду взволнован, услышав его снова.

Хочу поблагодарить г-жу М.Улановскую, чей глубокий интерес к теме и усердие в работе над переводом позволили мне не только пережить заново встречу с местами моего детства, но также и помочь ей, стать её «соучастником» в необыкновенно важном культурном начинании.

Воспоминания Е.Котика – музей еврейской жизни. Знакомство русских олим и всех русскоязычных евреев с этой книгой – важный вклад в углубление их связи с прошлым своего народа, в возрождение чувства солидарности с богатым наследием восточноевропейского еврейства. Игнорирование этого наследия образовало глубокий вакуум и разрыв в культурной преемственности поколений в нашей старо-новой стране. Книга поможет это преодолеть.

Дов Мордехай Сискель

Иерусалим, 15-го дня месяца шват, 5761

7.2.2001

Вместо предисловия

Посвящается памяти моей любимой бабушки Бейле-Раше, тихой и любящей хранительнице нашей большой и шумной семьи…

Я рассказываю, о том, что я видел. Но я не знаю, как я рассказываю. Старое, говорят, важно для понимания нового, и чтобы построить новое, надо знать старое. Если так, то читатель простит мне моё «как» ради моего «что», а я буду доволен тем, что приоткрыл уголок седого, далёкого, но дорогого прошлого…

Я провёл свою юность в типичном маленьком местечке, где евреи жили бедно, но «спокойно» и – если можно так выразиться – со вкусом… ныне этого ничего нет, как нет и поэзии былых местечек. Америка их проредила, а тяжёлая доля русских евреев жизнь в России, залив местечки чёрным свинцом антисемитизма, их совсем разрушила. Они, эти милые еврейские местечки, которые были слабее еврейских городов, и умерли первыми…

Е.К.

Нахожу уместным напечатать здесь, в этой части моих «Воспоминаний», письмо Шолом-Алейхема, посланное мне по получении им первого тома «Воспоминаний».

Я это делаю не для того, не дай Бог, чтобы похвастать перед читателями похвалами, которыми одарил меня великий Шолом-Алейхем, - до того, что он даже подписался с восхищением: «Ваш читатель, Ваш ученик, ваш друг».

Я привожу здесь это письмо только для того, чтобы тем самым характеризовать как раз его самого, Шолом-Алейхема: он, от души высмеивая всех и вся, обладал при этом настоящей скромностью. В Швейцарии, больной, истерзанный жизнью, он горячо интересовался каждой новой еврейской книгой, выходящей на родине, восхищался, как ребёнок, картинами неизвестного писателя, оживившими в его памяти «его юность, его семью, его хедер, его праздники и его мечты»…

Е.К.

Письмо Шолом-Алейхема Ехезкелю Котику

Лозанна (Швейцария),
10.1.1913

Глубокоуважаемый и, к сожалению, незнакомый коллега Ехезкель Котик!

Одновременно с тем, как я писал Вам, я заодно написал и Нигеру, что мы должны обменяться книгами: оказалось, что Нигеру был послан экземпляр, надписанный поэту Аврааму Рейзену, а Рейзен сейчас не более и не менее, как в Нью-Йорке, в Америке! Случись это несколько лет назад, когда Шолом-Алейхем ещё был лёгок на подъём, это было бы просто, я встал бы и поехал в Америку, но сейчас это трудновато. И что же делать, если я жажду прочесть Ваши «Воспоминания»? Возлагаю всю вину на Вас, разрезаю страницы распадающейся на части книги Нигера, не испытывая при этом никакого раскаяния, начинаю читать ваши «Воспоминания», и что мне Вам сказать? Не помню уже года, когда я испытывал такое большое удовольствие, такое наслаждение – настоящее духовное наслаждение! Это не книга, это сокровище, это сад - райский сад, полный цветов и пенья птиц. Мне она напомнила мою юность, мою семью, мой хедер, мои праздники, мои мечты, мои типы – нет! Я со своей кучей типов и картин, из которых я многих знал, а многих выдумал, я – говорю об этом безо всякой лести и ложной скромности – перед Вами я мальчик, нищий! С Вашим опытом и Вашей семьёй я бы уже мир затопил! Караул, где Вы до сих пор были? Человек владеет столькими бриллиантами, алмазами и жемчугами – и ничего! Еврей ходит и «собирает монетки» (как говорят там Ваши богомольные), а ему приходится даже напоминать, что он владеет таким сокровищем! Я начал читать и уже не мог оторваться, чуть не сошёл с ума! Кто такой Котик? Я слышал об одном, но его, кажется, зовут А.Котик[3], совсем молодой человек, а Вы ведь – еврей с седой бородой. Что меня очаровало в Вашей книге – это святая, голая правда, безыскусная простота. А язык! Нет, Вы не только хороший, честный и верный хранитель богатого, неслыханно богатого, сокровища. Вы – сами того не зная – талант, одарённый свыше душой художника. Немало было евреев в Вашем Каменце и в Заставье, немало родни в Вашей шумной, как Вы её называете, семье - что же никто из них не составил таких

воспоминаний, как Ваши? Почему никто из них не способен так, как Вы, зажигать людей? Слушайте, мне кажется, что Ваша семья – это моя семья (и так чувствует, конечно, каждый читатель). Я знаю и деда Вашего, Арон-Лейзера, и бабушку Бейле-Раше, и отца Вашего, хасида Мойше, и всех Ваших дядьёв с тётками, и даже исправника с асессором и со всеми помещиками, хорошими и плохими, и меламедов, и хасидов, и миснагидов, и врачей, и раввина, и того апикойреса[4] - писаря из Бриска[5], для кого рубль может быть мамзером[6], и оба Исроэля, и Арон-Лейбеле, и Хацкель, и Мошке, и управляющий Берль-Бендет, и все прочие! Все они живут, всех я знаю, со всеми радуюсь и со всеми печалюсь. Надо ещё иметь силы - мне не только пришлось смеяться (есть у Вас места, где я за бока хватался от смеха), но у меня также и текли слёзы, клянусь честью, я плакал вместе со всеми вами, когда Ваш дед всех вас благословлял в канун Судного дня, и когда Ваша праведница-бабушка лежала на полу, а дедушка сто раз терял сознание. Чтоб я так радовался вскоре избавлению Израиля, как я заливался слезами, и не потому, что человек умер – Господи, сколько людей умирает каждый день, каждый час и каждый момент! Но потому что Ваши бабушка и дедушка – они мои, мои, мои! И потому, что они были живыми и дорогими, золотыми людьми, и потому, что Вы их всех согрели своей душой, вложили в них всю свою горячую правду. Я по-настоящему горд тем, что есть у нас такие люди, такие евреи, как Ваши, что благодаря Вам не пропадут те «монетки», что валяются (я считаю, что всё ещё валяются) в нашем народе. Меня действительно возвышает мысль, что наша ещё молодая еврейская народная литература обогатилась такой книгой, как Ваши «Воспоминания». Будете ли Вы их писать дальше? Будут ли они такими же толстыми и удачными, как первая книга? Удачными – я уверен, толстыми – не знаю, я боюсь, что будут скуднее, жиже. Нет уже тех евреев! Вернее, они есть, но не так заметны, их стало ничтожно мало, особенно в больших городах.

11.1.13

Сегодня я случайно встретился с писателем Избицким (Михалевичем)[7] на горе, 1500 метров выше Лозанны (место называется Лейсин). Я ему рассказал, какое восхищение вызвала у меня некая книга некоего простого еврейского хозяина по имени Е.Котик. И что он мне на это сообщил такого, что я готов был заплакать? Оказалось, что этот Избицкий Вас хорошо знает, и что Вы есть отец А.Котика и хозяин кафе на Налевках, и что все уже давно знают, что у Вас есть какие-то «Воспоминания». Спросите:

где они были, скоты? Что они молчали, если знали? И где был я, скотина? Я ведь тоже бывал на Налевках и, думается, пил кофе со Спектором[8]. Почему я не знал, где я был и у кого пил кофе? Почему наш книжный рынок затоплен таким барахлом в то время, как «сокровища», подобные Вашему, валяются где-то в ящиках стола или под матрацем? Во мне закипает гнев на наших критиков, как только вспомню, как печатают каждого сморкача, который марает всякое паскудство в подражание гоям. Разливается желчь, когда читаешь это тягучее и тошнотворное словоблудие Арцибашева и тому подобное паскудство, что заставляет доброго юмориста, каким я считаюсь, злиться и лишает аппетита писать. Я делаюсь бандитом – пусть ненадолго – эдаким «еврейским бандитом». Как обычно, я увлёкся. Ответьте, прошу Вас, если найдётся время, на мой вопрос: продолжаете ли Вы дальше «Воспоминания» и какую эпоху, какие круги Вы затрагиваете, и так ли гладко идёт, как до сих пор, и затрагиваете ли Вы семью? Там есть люди, типы, о которых Вы должны рассказывать и рассказывать дальше. Живите, будьте здоровы и бодры, и пишите.

Ваш благодарный читатель, друг и ученик…
Шолом-Алейхем

Глава 1

Моё местечко. – Башня. – Ревизские сказки в прошлом. – Высокая. – Торговля в прежние дни. – Евреи и помещики. – Русская и польская церковь. – Русский и польский священники. – Осеревский. – Наследник Осеревского. – Асессор. – Как проходил у евреев день. – Скупые богачи. – Уважаемые семьи местечка. – Шебсл-клейзмер. – Мордхе-Лейб. – реб Симха Лейзер. – Суббота в местечке. – Местечковые интриганы. – Былые споры. – Иче Шейтес-доносчик. – Заставье. – Меламеды. – Ученье в прошлом. – Гоим. – Доктор. – Врачи. – Талмуд-Тора. – Баня. – Миква. – Река. – Каменецкие пловцы. – Богадельня. – Раввин. – Проповедники. – Кладбище. – Похоронная компания.

Местечко Каменец[9], где я родился, знаменито своей старинной исторической башней. Откуда она взялась, никто не знает. Полагают, что это остаток былой крепости. Башня эта кирпичная, с толстыми стенами, высокая, с бойницами для стрельбы из пушек и ружей. Ещё во времена моего деда находили ядра весом фунтов[10] в десять - знак, что через бойницы когда-то действительно стреляли. Кирпичи этой башни были такие крепкие, что нельзя было отколоть от них ни кусочка. В Каменце говорят, что кирпичи башни делали на яичном белке, поэтому она такая крепкая... Когда царь Александр II вместе с европейскими князьями охотился в Беловежской Пуще в семи верстах от Каменца, все министры и генералы приезжали в местечко посмотреть на эту историческую башню.

Я умышленно начал с башни, потому что стоит мне вспомнить моё местечко, она сразу всплывает в моей памяти, как некий знак, как символ, имеющий некое неясное значение. А теперь я могу перейти к самому моему местечку. Лет шестьдесят назад - время, с которого я начну свои воспоминания, Каменец состоял из двухсот пятидесяти домов, старых, почерневших, низких, с покрытыми дранкой крышами и с населением, то есть «душами», записанными в «сказки» – правительственные реестры – числом в четыреста пятьдесят человек. Тут встаёт в отношении их логический вопрос: двести пятьдесят домов, а душ - четыреста пятьдесят, как это получается? Ответ на это очень простой. До 1874 года, когда была введена новая система рекрутского набора[11] , почти две трети еврейского населения не было нигде записано. Власти об этом, конечно, знали, но молча допускали такое положение. Первым делом включили в списки всех

«несуществующих» (не записанных) к 1874 году, когда царём был выпущен манифест о том, что те, кто запишутся в «сказках» сейчас, не получат никакого штрафа. Во всех городах и сёлах ездили комиссии и записывали «несуществующих».

Но очень интересно, как в прежние годы сдавались рекруты от записанных четырёхсот пятидесяти душ моего местечка.

В четырёх верстах от Каменца находится местечко Высокое, в чьих «сказках» насчитывалось пятьсот душ. Высокое и Каменец сдавали рекрутов все годы вместе, но так как солдат брали согласно определённому проценту, скажем, одного на тысячу, и так как Высокое и Каменец составляли вместе, скажем, тысячу, то при Николае I оба местечка сдавали только одного солдата. Но от Каменца приходилось меньше половины солдата, а от Высокого немного больше половины – Высокое ведь больше. И главам общины пришлось потрудиться, пока они пришли к соглашению. И соглашение было такое: один год Каменец сдавал солдата, другой год – Высокое. А один раз в десять лет Каменец никого не должен был сдавать, и расчёт был простой: каждый год на пятьдесят человек меньше, за десять лет получается на пятьсот человек меньше, это значит, что ничего не надо давать. Так сдавали рекрутов в былые годы: приходили к взаимному соглашению…

Как было принято, в центре города стояли два ряда магазинов, с дверями для покупателей, открывавшимися внутрь. Между рядами тянулась узкая улочка, в которую с трудом могла протиснуться фура. Два-три магазина торговали мануфактурой высшего качества: для евреев и помещиков всего города; в двух-трёх – продавали фартуки, платки, платочки и т.п. В остальных торговали галантереей, смолой, дёгтем и т.п.

Торговали в магазинах исключительно женщины – старые, молодые, девушки и девочки. Весь женский пол сидел друг против друга, кипятясь и волнуясь. Достаточно было, конечно, и помощниц – женщин и девушек, которые хватали, тянули и зазывали покупателей, главным образом, крестьян и крестьянок. У высшего сорта покупателей, евреев и помещиков, имелся у каждого свой продавец, и такого покупателя никто не смел тянуть, как селёдку, к себе в магазин. Потихоньку, может, обругают следом, вместе с занятой им продавщицей.

Кроме как по воскресеньям, продавали мало, так как кроме, как в воскресенье, крестьянин в городе почти не появлялся. Так и сидели у магазинов, не имея, что делать. Но в воскресенье была большая торговля. Приходила масса крестьян, и у дверей магазинов начиналась такая толкучка, такая давка, точно, как мухи на подоконнике вокруг рассыпанного сахарного песка.

Самая большая торговля в городе шла в шинках, и их было приличное количество. И крестьяне находили там, чем закусить: сыр, селёдку, огурцы. И в сладком вине тоже не было недостатка, а шляхтич или молодой помещик уже могли себе позволить закусить шнапс не сыром и селёдкой, как крестьянин, а гусятиной или рыбой. Этими шинками тоже заправляли женщины, точно, как и магазинами. Но в воскресенье, в дни большой выручки, мужчины тоже помогали.

Чем же были заняты мужчины? Они тоже не сидели без дела. Вокруг Каменца жили сотни две помещиков, при каждом помещике - две или больше сотни крепостных, крепостные эти день и ночь были заняты тяжёлой работой. Помещикам, конечно, полагалось хорошо жить – и у каждого помещика было в местечке по одному или по несколько евреев, с которыми он имел дело, а они с этого могли более или менее иметь доход.

Если вокруг помещика крутилось два еврея, то один был представительный еврей и уважаемый купец, а второй - «мелкий еврей» - как по виду, так и по делам. Оба еврея были при помещике за всё про всё. Более представительный служил ему больше для советов, второй – для разных поручений и проделок. И оба испытывали перед ним большой страх, и хотя частично жили за его счёт и он был для них большой царь в смысле начальства – но всё-таки надо десять раз в день благодарить Бога, что отношения еврея с помещиком сошли со сцены.

Если помещик хотел, он мог выпороть своего еврея, да ещё и приговаривал:

«Будешь молчать – останешься у меня дальше, а если нет – возьму другого еврея, а ты всё равно ничего со мной не сделаешь, потому что и асессор у меня в руках, и исправник».

Еврей молчал, а про себя думал: Ладно - порка. На то он и помещик, а я за то имею с него кусок хлеба. А умру – мой сын будет иметь с него доход.

И это даже была правда. Умер ли у помещика еврей - он на его место берёт сына или зятя этого еврея, кто больше понравится, как при сватовстве. Еврей, со своей стороны, оставлял помещика в наследство. Помещик становился своего рода наследством.

Может, здесь стоит также напомнить, что помещик имел в местечке и своего ремесленника и только ему поручал у себя работу. Ремесленников в местечке было много – сапожники, портные, жестянщики и т.п. Понятно, что им было труднее заработать, чем торговцам, и хотя квартирная плата была очень низкой – что-то десять-двенадцать рублей в год – всё равно они были не в состоянии снимать отдельную квартиру, и в одном

домике жили по две-три семьи.

В те времена власть асессора и исправника была полной. Поспорят было два еврея в местечке, тут же бегут к асессору с жёнами и детьми, с помощниками и добрыми друзьями и родными – и асессор судит в пользу того, кто больше даст или больше ему понравится. А если кто-то был очень агрессивен или большой ябедник и не соглашался с приговором асессора и бежал в Бриск к исправнику с жалобой на асессора, это редко помогало, а жизнь такого хвата уже не стоила ломаного гроша - асессор его гробил и преследовал, как только мог, вплоть даже до битья и ареста. Опять же исправник обычно брал сторону асессора.

Исправник в те времена был главной силой во всей округе, а о губернаторе тогда имели смутное представление. Губернатор в те времена считался чем-то вроде царя, и занимать его еврейскими делами совсем не приходило в голову.

Помещик имел фактора-еврея, который жил у него в поместье. Он также имел арендатора, обычно также еврея, а если у помещика было несколько поместий и несколько деревень, то там тоже сидели евреи – фактор и арендатор. Понятно, что эти евреи дрожали перед помещиком.

В те времена, когда помещику ничего не стоило пороть крестьян и крестьянок, старых и молодых, то какую роль играл такой еврейчик у помещика? Можно себе представить, как боялись помещика фактор и арендатор со своими детьми. Если, не дай Бог, у фактора или арендатора имелись хорошенькие дочки, это было большой бедой. Приходилось дрожать, как бы дочки не понравились помещику, который при его власти мог сделать всё, что ему заблагорассудится.

Чтобы скрыть свою красоту, хорошеньким дочкам ешувников[12] часто приходилось ходить с чёрными, перепачканными, немытыми лицами. Только когда они ехали в город и как следует мылись с мылом, было видно, что дочка такого ешувника – хорошенькая.

Всё, что было надо помещику, он обычно получал через своих евреев, поскольку считал, что еврей – умное создание, что он хитрый и честный (каждый помещик считал, что только его еврейчик – честный, а прочие – мошенники и воры).

Он их посылал с поручениями к другим помещикам, своим товарищам. И хотя имел эконома, который был полным хозяином в его поместье и хозяином над крестьянами, он любил командовать именно евреями. Еврей сделает лучше – так он считал, и без «Мошки» и «Шмулика» не трогался с места.

Каменецкие помещики в большинстве были не очень богатые – земля в Каменце песчаная и неплодородная: с одного акра

скашивали не больше 4 копен[13], с каждой копны получали пять-шесть пудов ржи. Пшеница плохо росла на каменецкой земле. Только кое-где попадался кусок хорошей земли площадью в несколько квадратных вёрст, который мог дать по 12-15 копен с акра.

Те помещики, которые сидели в трёх-четырёх вёрстах один от другого, часто устраивали балы - то один помещик, то другой. Балы устраивались с большим размахом, подавались на них лучшие вина. Из-за этих балов немало помещиков попадали в трудное положение и постоянно нуждались в деньгах.

Зерно, водку, шерсть и скот у них покупали евреи. Платили большие деньги, платили вперёд и часто больше реальной цены, и не было недостатка в таких, кто бежал к помещику и предлагал больше постоянного покупателя. Зато для собственных своих покупок помещик имел «своих евреев», с которыми нельзя было конкурировать.

Как обычно, помещики любили собак. У каждого из них были собаки разных пород. Были охотничьи собаки и такие, которые бросались на посторонних безо всякого лая и почти разрывали его на части. А были третьего сорта - которые только лаяли, но не кусались, а также и такой сорт, что и лаяли, и кусались – такую шкалу собак держал каждый помещик у себя в поместье, и мучения, которые переносили евреи, приходя к помещику, от этих собак, способны заполнить приличную страницу в истории галута.

Приезжая к помещику, еврей ставил свою фуру у ворот поместья и ждал, не появится ли крестьянин или крестьянка. Крестьянин или крестьянка в какую-нибудь минуту провожали его к фактору, и уже оттуда его кто-нибудь отводил к помещику. Назад помещик уже отсылал его с прислугой с парадного входа. Если еврей выходил из парадной двери, помещик его пускал через двор с прислугой, но если он не заслуживал этой милости, то должен был в смертельном страхе ретироваться из замка к фактору, чтобы уже тот его вывел за ворота.

Но пока еврей доходил до ворот, он не был застрахован от злых собак. В случае малейшего недовольства им со стороны помещика его жизнь не стоила ломаного гроша. В этом случае он велел еврею идти к воротам без сопровождения. И тут была выработана целая система издевательств и мучений. Сначала помещик посылал несколько псов, которые только лают, но не кусаются. Сразу после этого – псов другой категории, и потом – настоящих кусак. На еврея нападали со всех сторон, не давая двинуться ни взад, ни вперёд, и тут уж он получал настоящую порцию укусов.

Крики его подымались в небо, страх был смертельным, а помещик стоял со всей семьёй на террасе и смеялся.

В другой раз - помещик при малейшей досаде на еврея, даже на родовитого, посылал слугу вывести его из ворот и мигал тому, чтобы он оставил того посреди двора и дальше его не провожал. В этом случае этот родовитый еврей имел настоящую свадьбу, совсем, как еврей обыкновенный (не следует, конечно, обобщать, говоря, что все помещики так плохо относились к евреям, бывали и приличные помещики, которые вели себя иначе).

Понятно, что человек возвращался домой ни жив, ни мёртв, и нередко заболевал от страха. Жена и особенно дети, видя отца в таком состоянии -, дрожащего и бледного, начинали все плакать, и в одну минуту в доме наступало подобие Йом-Киппура. Но через несколько дней помещик снова посылал за тем же евреем, прося срочно явиться: ему, помещику, он очень нужен, и еврей, конечно, опять сломя голову бежал – что еврей не сделает для заработка?

Еврей утешал свою жену, говоря, что помещик по природе не так уж плох, служить у него можно, плохо бывает лишь в дурную минуту, в момент затмения ума. Так или иначе, всё от Бога. Ничего не происходит без Его воли. Бог хотел меня наказать и втемяшил помещику в голову безумие, каприз. Чтоб на этом уже кончились мои несчастья, и Бог чтоб защитил меня от злых псов.

Почти каждое воскресенье жившие вокруг Каменца помещики ездили в церковь. На большие христианские праздники съезжались все помещики. Каждый старался превзойти другого богатым убранством карет и упряжи. И богатство этих карет с лошадьми воистину не поддаётся описанию. Ехали со всех концов города, останавливались по всей длине улиц. Один ехал в дорогой карете с четверкой дорогих лошадей, и лошади с упряжью все были в серебре и золоте; кучер с лакеем тоже были разукрашены золотом и серебром. Второй помещик ехал тоже четвёркой, но цугом, по две пары в ряд, ещё больше разукрашенные, а у третьего упряжка состояла из шести лошадей: четыре при карете и две впереди.

Для пущей красоты иные лакеи держали красивые серебряные трубы и трубили при въезде в город, а кучера щёлкали длинными кнутами – всё это наводило страх на всех. Даже и те из шляхты, кто владел поместьицем всего в несколько десятков крепостных, тоже не жалели денег на карету с парой лошадей.

Выйдя из церкви, начинали разъезжаться. Иные помещики заезжали к Хайче Тринковской, взять там бутылку доброго вина и хороший чай. За каретами бежали высокие длинноногие

охотничьи псы в дорогих, отделанных серебром ошейниках.

В Каменеце было две церкви. Одна – польская церковь для помещиков. Крестьяне-католики ходили в деревенские церкви, а не, Боже сохрани, в помещичью. На улице, где стояла церковь, крестьян было не видно.

Польский священник со своими двумя помощниками жил недалеко от церкви на большом дворе, с прекрасным фруктовым садом, а также и с цветочным садом, с красивейшими и ароматнейшими цветами. От двора священника исходил такой запах, что еврейский нос не мог этого выдержать, от запахов у людей начиналось головокружение.

Священник жил по-княжески, с серебряной и золотой посудой. Прямо-таки, как царь. Большие помещики заезжали по воскресеньям из церкви к нему на завтрак. Кареты у него были разные – крытые и открытые, и дорогие сильные лошади для езды цугом – по две пары в ряд, одна за другой. Владел он также многими полями и лугами, и крестьяне, помещичьи крепостные, обрабатывали ему землю. От помещиков он часто получал в подарок по паре крестьян. Этот подарок давался ему пожизненно.

Ещё он имел много скота и разной птицы, и во дворе его был искусственный пруд с большим количеством рыбы. Ко всему прочему, служили священнику неслыханной красоты горничные, подаренные помещиками крестьянки.

В мои времена, когда я был мальчиком, мы жили против двора священника, прямо у него в корчме - красивом доме, построенном им с целью на этом заработать. Поскольку священник свободен от всяких выплат, которые причитаются помещику от города, как например, за водку, пиво, соль, свечи, табак и т.д., и поскольку мы держали в городе аренду, мы были должны также снимать у священника и его корчму, чтобы не было свободной конкуренции. Мы платили священнику триста рублей в год за корчму, где мы жили. Я помню, что у священника были четыре сестры - высокие, стройные, редкой красоты, они ходили, богато разодетые и так были разукрашены и выхолены, и так богато разодеты, как занимающие самое высокое положение богачки.

В доме у него день и ночь было полно гостей, которые танцевали вокруг дивно прекрасных сестёр. День и ночь там стоял пир горой. При этом играли разные музыкальные инструменты, и от щёлканья кучерских кнутов и от звуков труб нельзя было уснуть всю ночь.

Но только бедный русский священник, готовый лопнуть от зависти, глядя на богатую жизнь католического священника, клялся крестьянам, помещичьим крепостным, а также и евреям,

что молодые красотки - вовсе не его сёстры, что они ему – совершенно чужие, что они – его любовницы, но поскольку католический священник не должен иметь жены, он распространил слух, что это его сёстры. Оказалось, что бедный православный священник прав: они действительно были любовницы его, а не сёстры.

Вторая церковь - русская и бедная, стояла в городе на горе (в Каменце было четыре горы посреди города: Башенная гора, Церковная гора, Адолиная гора и Дворцовая гора, где жил комиссар помещика. Все горы были высокие). В церковь ходили молиться русские православные крестьяне. Естественно, что никаких православных помещиков и шляхты не было вообще, и понятно, как мог жить тот русский священник со своей женой и ребёнком. Он жил в каком-то бедном домишке и ходил всегда пешком. К тому же он был большой шлимазл[14]: как-то он всё же купил конягу с бричкой за тридцать рублей, так у него эта коняга сдохла, и он и дальше ходил пешком, одетый в выгоревшую, старую, заплатанную одежду с простой палкой в руке, которую ему принёс в подарок крестьянин, срезав в помещичьем лесу.

Говорят, что помещик, узнав о подаренной палке, послал к священнику асессора, чтобы тот отдал палку и сказал, кто из крестьян её ему дал. Будучи сам православным, асессор, естественно, не мог обидеть священника. Палку асессор не отобрал, но крестьянина священнику пришлось выдать. И за свой невинный подарок он получил от помещика шестьдесят розог. И таки сделанных из тех же прутьев, и с того же дерева.

У священника был кусок поля, с которого он собирал урожай, который продавал. Но он настолько обеднел, что евреи платили ему вперёд, ещё до нового урожая.

Каменец принадлежал помещику по имени Осеревский. Он был старым холостяком и бывшим польским полковником со времён ещё до первого восстания. Крепостных у него было до пяти тысяч. Вокруг Каменца было у него очень много владений, в том числе и сам город. Ещё он имел пятнадцать миллионов злотых.

Говорили, что всё своё состояние он собрал игрой в карты. Наверное, это правда, т.к. картёжник он был великий и на редкость удачливый. Он постоянно сидел в Варшаве и играл с богатейшими помещиками. Говорили также, что он занимался колдовством и свои деньги выиграл с помощью колдовства.

Раз в год он наезжал в своё живописное имение Пруска, находящееся в восьми вёрстах от Каменца.

Был помещик, кажется, его звали Моциевский, и как-то он, играя с Осеревским, в одну ночь полностью проигрался. Игра

была не на жизнь, а на смерть. Сначала он проиграл Осеревскому тридцать тысяч рублей наличными. Потом начал ставить на кон кареты с лошадьми, большое поместье с шестьюстами крепостных. И всё это он проиграл, о чём и подписал бумагу своим полным именем и фамилией.

Хотя бумага эта не имела никакой цены, поскольку недоставало подписи нотариуса, но Осеревский был в хороших отношениях с варшавским наместником, также и виленский генерал-губернатор был его большим другом, поэтому в бумагах он был уверен. И в этом случае все подписанные помещиком бумаги имели железную силу. Однако дело на этом не закончилось. После того, как Моциевский с большим треском всё проиграл и не имел больше ничего, чтобы поставить на кон, он поставил на кон свою жену на сумму в двадцать пять тысяч рублей, и проиграл её тоже. Тогда он спросил Осеревского:

Если я застрелюсь, ты придёшь на мои похороны?

Как типичный польский помещик, Осеревский ответил со смесью жалости и дикой жестокости:

«Мне тебя жаль. Предлагаю сделку: ты меня поцелуешь в …, и за этот пустяк я тебе всё верну».

Моциевский согласился. Но Осеревский предупредил:

«Сделать ты это должен на глазах у всех помещиков, а также и на глазах жены. Ты её продал без её ведома, поэтому ей следует присутствовать..

Условие Моциевскому не понравилось.

«Я лучше застрелюсь», - сказал он.

«А я тебе этого не позволю», - пригрозил Осеревский и тут же распорядился отвести его в отдельную комнату и запереть. Двое слуг должны были при нём находиться и его стеречь.

Назавтра Осеревский созвал всех помещиков и устроил бал, на который привели проигравшегося помещика, и где присутствовала также его жена. За столом Осеревский рассказал о своём необычном выигрыше и добавил, что выигрыш ему не нужен. Он только хочет, чтобы тот поцеловал его в такое место, о котором некрасиво упоминать, а если не его, так пусть - старого крестьянина.

Понятно, что диким помещикам история понравилась. Привели старого крестьянина, и проигравшемуся помещику пришлось, бедняге, трижды поцеловать… Его жену в этот момент всё-таки вывели из комнаты, чтобы она не видела ужасной сцены с поцелуями. После экзекуции Осеревский вернул ему деньги со всеми бумагами.

Но домой жена уже не захотела ехать вместе с мужем. Он поехал один и наутро застрелился.

Видно, поцеловать Осеревского он ещё был в состоянии, но поцеловать крепостного – этого он уже не мог перенести.

На похоронах не было ни Осеревского, ни жены застрелившегося. Они оба вскоре уехали в Варшаву. От позора она больше ни разу не приезжала в Каменец, хотя имела там отца с матерью - больших помещиков, и всю семью.

В пятнадцати поместьях вокруг Каменца у Осеревского было пятнадцать специальных комиссаров, которые вели себя там, как полные хозяева. Были также эконом и войт – волостной старшина. Войт исполнял наказания, которые комиссар или эконом налагали. Наказанием была порка. Войт был исполнителем, и не смел делать никаких уступок, то есть, давать меньше. Но если давал больше – это никому не мешало, да и жаловаться никто не смел – за малейшую жалобу полагались новые розги. Главный комиссар над всеми владеньями жил посреди города, на горе, в большом дворце.

В Каменеце ежегодно каждый платил помещику налог за площадь, занимаемую его домом, никто также не смел купить ни пива, ни водки, кроме как у помещика. К этому существовали ещё разные налоги: на соль, на кожу – одним словом, всё, что нужно человеку для жизни, облагалось налогом. И умный Осеревский так много тянул по контракту с жителей, что в этом смысле Каменец был наверно единственным в своём роде городом.

Впрочем, он часто совсем забывал брать налог из-за своего страшного богатства. Ну, что для него составляют городские деньги евреев, когда он весь набит золотом?

По всем трём сторонам города (а с одной стороны текла река) стояли барьеры, где в воскресенье, а также по ярмарочным дням брали по пять копеек с каждой приезжающей лошади. Между Каменцем и Заставьем была также большая плотина с тремя мостами и тремя водяными мельницами. Это тоже принадлежало помещику, который это всё сдал моему деду, Арон-Лейзеру Котику. Это называлось «аренда», и дед с братьями и со всеми детьми с этого жили.

Осеревский в старости перестал приезжать в Каменец, где ему не с кем было проводить время. Обычно он сидел в Варшаве. Всё же раз в три года он туда на месяц являлся. Прожил он восемьдесят пять лет и всю жизнь был холостяком, и приезжая в Каменец, вёз в отдельной большой карете свою посуду. Четвёрка лошадей еле тащила карету с посудой, а при большой грязи приходилось запрягать шестерых лошадей.

Ближе к восьмидесяти годам, Осеревский составил завещание, в котором приказал разделить своё большое состояние на тридцать человек из числа знакомых помещиков.

Естественно, что среди этих людей было много таких, кто вовсе не нуждался в наследстве, но своей семье он копейки не оставил. Даже своим родным сёстрам, которые, может, как раз нуждались в материальной помощи, он ничего не оставил.

Деньги он отписал разным помещикам, но для своих имений, для пяти тысяч крепостных и для города Каменца, он выбрал наследника из знатных, обедневших помещиков. Наследник был сиротой семнадцати лет, и чтобы посмотреть на его поведение, он его назначил на пробу, послав в Пруску с письмом к своему верховному комиссару. В письме говорилось, что он, комиссар, должен дать молодому помещику управлять поместьем под своим наблюдением и научить того, как быть настоящим хозяином, поскольку юноша – будущий владелец этих поместий, и.т.п.

Комиссар, отметил Осеревский, должен внимательно следить за поведением наследника и посылать ему каждый месяц специальный отчёт о его поведении. Конечно, он должен его содержать, как помещик – собственное дитя, и выдавать на расходы каждый месяц по двести рублей, но при этом строго следить за тем, как тот эту сумму тратит.

Наследник приехал в Пруску, тут же познакомился с окрестными помещиками, побывал у них на всех балах и через несколько месяцев знал уже всю местную золотую молодёжь. Но вот беда: к себе на бал он не мог пригласить помещиков, поскольку Осеревский предупредил, что огромное наследство его тот получит только тогда, когда он убедится, что ведёт себя наследник тихо, солидно и прилично, а главное – занимается хозяйством.

Но так как он связался с золотой молодёжью, ему стало не хватать двухсот рублей в месяц, которые были для него, как капля в море: в карты играть надо, тратить деньги ещё на другие вещи – надо. В долг давать деньги – надо; и его товарищи, зная его нужду в деньгах, посоветовали ему поехать в Каменец и познакомиться с евреями, у которых он, конечно, сможет получить столько денег, сколько понадобится.

Наследник так и сделал. В дорогой карете, запряжённой четвёркой лошадей цугом, с нарядным лакеем, он поехал в Каменец и прибыл к Хайче Тринковской - известное в городе место. Наследник заявил Хайче, что хочет взять ссуду под определённый процент и просил рекомендовать ему нужных людей. Та сразу же сообщила об этом нескольким каменецким евреям, которые не заставили себя долго ждать. Этим евреям наследник заявил, что он – будущий хозяин поместий Осеревского вместе с городом, и хотя не имеет в данный момент всех полномочий, фактически это ничего не значит: Осеревский –

восьмидесятилетний старик… и сколько живёт человек?… Поэтому он, наследник, желает сделать заём под хороший процент, что на самом деле для кредитора – большая удача.

Евреи, ничего не зная об этом деле - о том, что Осеревский назначил наследника на пробу, дали ему, конечно, столько денег, сколько этот распущенный малый просил. Вскоре их он, вместе с молодыми помещиками и их девицами, спустил и был так много должен в Каменце, что больше там получить не мог и поехал в Бриск – тоже, слава Богу, город - где отхватил тысяч пятьдесят рублей.

Вначале он остерегался комиссара, но через короткое время тот узнал, что наследник – настоящий жулик, что он нахватал, где можно, большие суммы денег и прославился на всю округу.

Комиссар написал Осеревскому о поведении наследника. Тот велел сообщить всем кредиторам, которым задолжал наследник, что им будет заплачено, но в следующий раз, если они захотят ссудить того деньгами, то больше ничего не получат. Так им должен сообщить комиссар, что тот и послав список всех держателей векселей Осеревскому, который велел заплатить взятые суммы. И ещё кое-что приказал: дать наследнику пятьдесят плетей и сразу после этого отослать домой, в Калишерскую губернию.

Примерно через полгода Осеревский прислал другого наследника, красивого молодого человека двадцати двух лет. Вместе с наследником комиссар получил письмо, в котором говорилось то же, что и в первом, посланным с первым наследником.

Второй наследник, однако, был ещё большим шарлатаном, чем первый, только гораздо умнее. Видя, что без комиссара не обойтись, что иначе конец будет тот же, что у первого, он решил его перетянуть на свою сторону и тогда уже делать всё, что заблагорассудится.

Он стал приходить к комиссару домой, держался скромно, подолгу сидел с его семьёй, в особенности с женой комиссара, пожилой, но умной женщиной, стараясь ей доказать, что муж её был несправедлив с первым наследником. Так не поступают. Её муж того наследника, сына таких почтенных родителей, сделал несчастным. Желая угодить Осеревскому, он, комиссар, не понимал, что делает.

«Я тоже говорила своему мужу, - соглашалась она, - что он не должен был показывать вида, что что-то замечает. Зачем было беспокоиться о старом холостяке, у которого столько миллионов? И муж мне признался, что после порки наследника он несколько сожалел из-за всего этого дела».

Этими разговорами он перетянул жену комиссара на свою сторону. Она поняла его намерение и подготовила мужа. Расчёт, который наследник ей представил, был прост: он, наследник, может вместе с её мужем получить в долг сотни тысяч рублей. Каждый им одолжит, и как-нибудь можно будет не возвращать, пока старик не закроет глаз. Понятно, что чем больше взятая сумма, тем больше достанется её мужу, а после смерти Осеревского её мужу будет и вовсе счастье. Он, наследник, ему отпишет, подарит, уделит. Одним словом, редкая удача. Обдумали сделку и составили план, как получить деньги.

Решено было, что наследник станет часто наезжать в Каменец и познакомится там с неким Мойшеле К., услужливым, удачливым и ловким евреем, который сможет ему помочь во многих отношениях, в особенности, чтобы занять деньги.

Наследник познакомился с Мойшеле и привёз его к себе в Пруску. По дороге он ему, конечно, рассказал, для чего он ему нужен, и в Пруске сразу позвал к себе комиссара, чтобы обсудить втроём, на каких условиях можно тут же получить деньги.

Мойшеле предложил, что занимая деньги, надо прямо оговорить, что вернуть их следует после смерти Осеревского. Так и так ждать осталось недолго; ему уже больше восьмидесяти, он слаб и болен, каждый день надо быть готовым к его смерти. Понятно, что наследнику придётся платить немалый годовой процент, но для него это не должно играть никакой роли. Поэтому так важно, что комиссар – на его стороне: можно взять деньги и как-то выкрутиться до смерти Осеревского. Можно отдавать и брать снова, отдавать и брать снова, и так до бесконечности. План понравился, и Мойше посоветовал, чтобы комиссар подобрал для наследника ловких лакеев, с которыми можно иметь дело, способных хорошо справляться с разными поручениями, в особенности, занимать деньги, чтобы наследник мог быть спокоен.

И принялись за дело вовсю. Сам Мойшеле выискал таких евреев, у которых есть деньги и которые не знают, что с ними делать. Эти евреи пошли навстречу, и перед молодым помещиком открылся новый мир.

Как-то раз Осеревский неожиданно приехал в Пруску. Обычно там за три месяца было известно о его приезде, к этому бывали готовы, и Осеревский всё находил в лучшем виде.

Но теперь он нагрянул внезапно, чтобы проверить поведение наследника, на которого он оставлял своё огромное состояние. Обманувшись с первым наследником, он желал узнать характер нового.

Приехав в поместье, Осеревский застал «панича» в компании

с комиссаром, евреем Мойшеле К., и ещё с несколькими евреями и помещиками. Внезапный приезд Осеревского всех испугал. Взглянув на их лица, он сразу понял, что дело нечисто, тут же взял молодого панича в отдельную комнату для допроса с пристрастием.

«Что за дела у тебя с евреями и со всеми прочими?» – Допрашивал он его с пристрастием, на свой манер.

Наследник растерялся и нечленораздельно бормотал, что у евреев есть дела с комиссаром, ради которых они сейчас встретились. Осеревский тут же вызвал лакеев и допросил каждого в отдельности, что тот знает о поведении «панича». И лакей, который обычно ездил с «паничем» и знал все его секреты, связанные с денежными займами и прочими делами, подробно рассказал обо всём Осеревскому.

Тут же Осеревский вызвал к себе комиссара и сказал, что ему всё известно о том, что он заодно с «паничем» в его авантюрах, что он его обкрадывает. Комиссар только должен ему признаться, и он ему подарит жизнь, а не то он его запорет до смерти.

Комиссар упал Осеревскому в ноги и рыдая признался, что всё это правда. Он у него, у Осеревского, в руках и взывает к милосердию. Осеревский позвал «панича» и лакея Степана. «Панич», бедняга, должен был подтвердить, что рассказали Степан с комиссаром. Комиссара Осеревский простил и отослал, а «паничу» приказал дать столько плетей, сколько тому было лет – двадцать два удара. И после этого снова искал наследника, которому мог бы передать своё огромное состояние.

Наконец, наследник как-то нашёлся, уже не такой молодой, двадцати восьми лет. Осеревский послал его в Пруску и примерно через полгода умер.

Наследник стал помещиком, а крепостное право отменили. Он продал поместья вместе с городом Каменцем какому-то русскому. Но этот русский оказался таким пьяницей, что сразу влез в большие долги и скоро умер. Поместья после этого были проданы одно за другим. Евреи покупали под именем христиан.

Асессор, кроме своего жалованья, имел хороший доход с евреев. Лавок было больше ста, а разрешение на торговлю было, может, у четверых, Асессор получал в год с каждого продавца по три рубля – и порядок. Так же было и с шинками: платили асессору по десять рублей – и готово. Ревизор являлся раз в год, чтобы проверить разрешения, о чём асессор знал дня за два и приказывал к этому времени закрыть магазины. Прежде всего ревизор являлся к асессору, они вместе, как положено, отправлялись на проверку с волостным старшиной и восемнадцатью десятскими и оказывались на улице с закрытыми

магазинами. Асессор говорил ревизору: а это – мелкие лавки, они так стоят уже давно. Потом он его приводил в те немногочисленные магазины, хозяева которых имели-таки разрешения, и тот уже подписывал: «кошер»[15], и между делом брал свои пятьдесят. Такой была уже несколько лет такса. Асессор приказывал собрать деньги ещё до приезда ревизора, и потом уже приходил еврей, говорил, что он – представитель города и именно он совал деньги в руку ревизору.

Ещё имел асессор доход с того, что был арбитром в спорах между евреями. Плата за арбитраж зависела от «дела» – начиная с трёшки и до десятки.

Жил асессор, как граф, в большом доме с просторным садом, со всеми удобствами. За это он платил пятьдесят рублей в год одной помещице, у которой в доме жили все асессоры. Он держал пару коров для молока, пару лошадей с коляской и кучером, который ему ни гроша не стоил.

Каменецкие помещики посылали асессору сено и овёс и ото всего, что у них было в именье. В слугах тоже не было недостатка: барину служили десятские. Помещики знали, что делали: ведь за подарки асессор скрывал все их преступления – и они могли засекать крестьянина или крестьянку до смерти и избивать евреев, сколько душе угодно – никто не смел ни жаловаться, ни протестовать. Для того они асессора и ублажали.

Он часто ездил в гости к помещикам и там с карт тоже имел пару целковых. Никогда не проигрывал – уж помещик старался, чтобы асессор вернулся домой с парой рублей в кармане. Прямо дать деньги в такой вечер – неудобно, лучше сделать вид, что проиграл.

В мои времена, помню, асессором был Ширинский – хитрый гой, который знал, как брать деньги и с евреев, и с помещиков. У него был настоящий бочонок, набитый деньгами. Говорили, что, может быть, тридцать тысяч рублей. Кто только нуждался в деньгах – еврей или помещики – все брали у Ширинского. А тот за каждый рубль брал ещё рубль. Через какое-то время, выложив большие деньги, он стал исправником в Соколке, в Гродненской губернии.

День мужчины, естественно, начинался с молитвы. Молился каждый в своём бет-ха-мидраше[16]. При бет-ха-мидраше была обычно библиотека, там мог заниматься каждый член общины, там жили учащиеся ешив, а иногда ночевали бедные странники). Их было два: большой, так называемый «старый», и «новый», поменьше. Ещё был совсем маленький «бет-ха-мидраш реб Хиршля», как его называли, а также «шуль»[17] и два «штибля»[18]. Все они стояли в одном дворе, перед которым дорога

пересекалась большим рвом – в несколько человеческих ростов глубиной. Этот ров доходил до реки. Во время большого дождя вода так заливала берега рва, что по улице было трудно и опасно проехать фуре. Никакой ограды у рва не было. И ещё один бет-ха-мидраш находился на следующей улице, Адолиной, на одной стороне которой стоит очень высокая гора.

В этом бет-ха-мидраше уже говорили о политике, а после молитвы часть учили Гемару, а часть – Мишнайот[19]. За отдельным столом евреи слушали, как один из них читает вслух «Эйн-Яков»[20]. Иные говорили о городских делах, о цадиках и мудрецах. Особо башковитые евреи были большими политиканами и целый день – над столом и у стола, до и после молитвы, рассуждали о войне и мире, о мировых новостях и о политике. Эти политиканы ездили дважды в неделю в Бриск по делам и оттуда привозили все новости.

А один был стол, за которым сидели совсем старые евреи с белыми бородами и рассказывали истории о древних царях и царицах, о Екатерине и о Петре, о Павле и о войне с Россией, которую вёл Наполеон в двенадцатом году.

И ещё был один стол. Там сидели набожные евреи и поруши[21] – те, кто покинули жён с детьми, пошли учиться в другой город и кормились по очереди у местных евреев и при этом пользовались всеобщим уважением. Они рассказывали об ином мире, о рае и аде и тому подобные истории, тихие и грустные.

У столов крутились молодые ешиботники, которые жили на хлебах в доме тестя, хозяйские дети и зятья, которые болтали о своих тесте и тёще и о хорошей еде. Они уже открыли Гемару и приготовились было учить, но болтать-то слаще – и Гемара так и лежала открытой.

В десять часов идут домой поесть. Поели, и если это не воскресенье и больше нечем заняться, идут обратно в синагогу, садятся опять за столы, опять открывают Гемару и опять заводят беседу и, исчерпав все другие темы, говорят о грехах города, о запретных книгах, о вольнодумстве[22] и т.п.

В мои времена в Каменце было трое еврейских скупцов-богачей, которые себя вели, как нищие. Некий М.Г. имея сто тысяч рублей, жил в маленьком, низеньком домике с соломенной крышей. Вместо свечей у него жгли постное масло и ели чёрный хлеб и картошку в мундире. Носил он рваный кафтан, а покупать у помещиков товар ходил пешком. Был он крупнейшим торговцем пшеницей и водкой.

Говорят, что разбогател он благодаря помещику Буховецкому из Ристича, что возле Каменца, для которого он всё покупал, а

счёт писал палкой на песке. Палка была выстругана из принадлежавшего помещику дерева, и М.Г. ему писал на песке и стирал. И таким образом за несколько лет собрал капитал.

Второй скупой богач, Ш.С., стал известен внезапно, при обрезания сына своего друга. Прежде он был мельником на помещичьей мельнице за десять злотых в неделю. Потом он построил маслодавильню, с прессом и лошадьми. Но никто не знал, откуда у него взялось так много денег, может, пятнадцать сотен рублей, сколько должна была примерно стоить давильня. Потом она в одну ночь сгорела. Он стал ездить с купцом А.Т. в его бричке. Ш.С. гнал коня, а А.Т., который имел, может, тысячу рублей, стал вдруг большим торговцем зерном и водкой. Он сидел в бричке сверху, ездил ко всем помещикам и вёл десятитысячные дела. И тут также никто не знал, откуда у А.Т. взялось так много денег, и так прошло несколько лет.

Однажды Ш.С. был вместе с А.Т. на обрезании. Там оказалось несколько бутылок крепкого спирта, сделали пунш – чай со спиртом – и довольно сильно напились. Пошли плясать в круговую, и пьяный Ш.С. сказал:

«Не зря пляшет А.Т. Эти десятки тысяч рублей, которые он имеет – это всё мои деньги».

Поднялся шум. И уже на другой день оба пошли на суд к раввину – поделить между собой деньги. Спор был о пяти тысячах. А.Т. поклялся на Торе, и Ш.С. сам стал купцом и богачом. И стали у него есть горох вместо картошки в мундире.

Третьим скупым богачом был Д.Б, богач-выскочка, наживший состояние на охоте Александра П. Что это была за охота, трудно себе представить. Такого не было с сотворения мира. Целый год туда ездили солдаты, участок площадью в квадратную версту оградили со всех четырёх сторон, а в середине устроили зверинец, куда привезли тысячи разных зверей со всего света, и царь со всеми европейскими принцами стояли на стене и стреляли в зверей, у которых было достаточно места, чтобы убежать.

У Д.Б была корчма возле Беловежья, точно, где собрался весь свет и где квартировали войска. Во время охоты он выручал за рюмку водки тридцать копеек, а за водку высшего сорта рубль. За булку брал тридцать копеек, за лист бумаги, чтобы написать прошенье царю – рубль. Брал, сколько хотел, и почти никто ему не перечил. И так собрал двести тысяч рублей, и его жена, которая тем временем тоже делала гешефт, заработала шестьдесят рублей серебром.

Д.Б. купил поместье возле реки, в двух километрах от Каменца, поставил на реке водяную мельницу и сдал её родичу за

160 рублей в год. Но заметив, что родич имеет доход, отобрал мельницу, и его сыновья таскали на мельнице мешки.

От речной рыбы он тоже имел пользу. Нанял крестьян, чтобы те ловили рыбу. Пойманную рыбу держали в реке в больших ящиках с маленькими отверстиями, и каждый четверг к нему приходили из Каменца торговцы за рыбой, которую покупали по цене до 12-ти грошей за фунт.

С рыбы он получал достаточно, но есть её себе не позволял, кроме, как в субботу, когда хозяйка давала каждому по кусочку.

Скупость его проявлялась во всём. Даже масла от своих тридцати коров он себе не позволял попробовать, а не то, что поесть.

Был он, однако, вполне умный еврей, и даже просвещённый. Тогда уже читал русскую газету. Как раз это он себе позволял покупать и совсем неплохо понимал лист Гемары.

Отправляясь в Варшаву, чтобы купить два мельничных жёрнова за триста рублей в Праге у Соркина, он останавливался в харчевне в Праге, где спал и обедал за 15 копеек. А в Варшаву не хотел ни ехать, ни идти пешком: вдруг там захочется чего-то купить. Так и уезжал из Праги, не побывав в Варшаве.

Из богатых семей, игравших большую роль в городе, первым был реб Йони Тринковский. Он держал шинок для помещиков, дом был обставлен по первому классу. Жена его Хайче была настоящей хозяйкой, образцовой женой, удачливой и умной женщиной. В шинке распоряжалась она, и у неё регулярно бывали помещики. Приезжали обычно на богатых лошадях, с нарядными кучерами, цугом – по две пары лошадей, одна за другой. Иные трубили в трубу.

У Хайче всегда можно было получить дорогие вина, лучшие сигары и хорошую еду, и выручала она от помещиков вполне достаточно, к тому же её муж, реб Йони, был агентом белостокских фабрикантов и закупал шерсть в России. Случалось ему получать в былые годы, когда копейка стоила, как теперь стоит рубль, по три тысячи рублей в год. Но они жили неслыханно богато и проживали все деньги.

Вернувшись домой, Йони звал банщика, давал ему три рубля на покупку двух возов дров, чтобы приготовить баню, и банщик шёл по улице и созывал в баню; и так как это бывало обычно посреди недели, все уже знали, что реб Йони вернулся из поездки, и хотя банщик звал в баню, всё же хозяева шли просить у реб Йони позволения прийти к нему в баню. Реб Йони, который от природы был большим гордецом, имел от этого большое удовольствие.

У себя в городе он играл роль кого-то в роде Ротшильда. И

такими же были его сыновья, дочери и невестки. Вполне приличная молодёжь из богатых семей чувствовала себя польщённой, разговаривая с детьми реб Йони, а когда реб Йони или его дети с кем-то говорили, было ясно, что с их стороны это невероятное одолжение.

Реб Йони никогда нельзя было увидеть идущим по улице. Бет-ха-мидраш был у него во дворе, в его доме, под самой крышей. Посуда в доме была серебряная, субботние свечи – в подсвечниках за пару тысяч рублей. Но тысячи рублей наличными у него конечно не имелось.

Другой семьёй такого рода была семья зятя реб Йони, Довид-Ицхока. Он тоже владел шинком и играл ту же роль, что и его тесть. Жрачка у него в доме была ещё получше, чем у Хайче, а именно: среди недели ели котлеты, жареные в шмальце, а также гусей, кур и индеек.

У Довид-Ицхока был в Тиктине богатый отец, реб Исай-Хаим, тот тоже имел большой шинок и шестьдесят тысяч рублей наличными. О нём говорили, что серебряной посуды в доме он имеет, может, до 10-ти пудов. Он подражал большому белостокскому богачу, реб Ицеле Заблудовскому, игравшему у евреев России роль Ротшильда.

С губернатором Гродно, который в его время сменился, жил он как с братом, и когда белостокский полицмейстер не пришёлся по вкусу еврейской городской верхушке, то пришли к Ицеле просить, чтобы назначили другого. Он на это ответил: «Через восемь дней будет у вас другой полицмейстер, евреи», послал письмо губернатору Гродно о том, что полицмейстер не годится, и губернатор тут же отослал того в другой город, а белостокские евреи получили нового полицмейстера.

Отец Довид-Ицхока, реб Исай-Хаим, жил очень хорошо с реб Ицеле и подражал ему в своём поведении. Сыну своему он очень помогал. Устроить свадьбу кому-то из детей – уже не было заботой Довид-Йцхока. Отец дал тысячу рублей приданого. Тогда это было одно из самых больших приданных. К тому же и оплатил щедрой рукой все расходы на свадьбу, включая одежду. Для свадьбы дочери Довид-Ицхока отец послал фургон столового серебра, свечей и субботних подсвечников, а на свадьбе подсвечники стояли на земле, достигая высоты столов, на всех окнах сверкали серебряные подсвечники и другая серебряная утварь.

И если такая свадьба приходилась на время перед пасхальной неделей, когда бывала большая грязь, то улицу застилали досками от дома Довид-Ицхока до синагоги.

А клейзмеры приезжали из двух уездных городов: Бриска и

Кобрина. Весь город кипел. Особенно в то время отличались клейзмеры из Кобрина во главе с реб Шебслом, который не знал никаких нот, но игрой своей заставлял всех плакать. Сладость его игры описать невозможно.

Шебсл стал так знаменит, что его имя дошло до русского наместника в Польше Паскевича. Тот за ним послал, и Шебсл сыграл ему на скрипке. Паскевич, тронутый его игрой, предложил ему креститься и тут же спросил, может ли он играть по нотам.

Шебсл с виноватым видом ответил: «Не могу».

«Ничего, - похлопал его по плечу Паскевич, - я тебя научу нотам, только крестись».

Тут уж реб Шебсл почувствовал досаду и ответил, что если бы ему даже предложили стать принцем, он бы не согласился.

Паскевич всё же подержал его у себя три дня. Каждый вечер приглашал к себе самых знаменитых гостей, и Шебсл играл за обедом у стола по два-три часа.

Ни вина, ни водки Шебсл не соглашался у него попробовать, а еду Паскевич распоряжался приносить ему из еврейского ресторана.

Увидев, что ничего с ним нельзя поделать, Паскевич дал Шебслу тысячу рублей и диплом, где написал, что он обладает божественным музыкальным талантом, хотя нигде не учился. На прощанье предложил представить его царю, говоря, что это принесёт счастье ему и его семье, а может, и всему еврейскому народу. Шебсл, однако, уклонился и с миром отбыл.

На тысячу рублей он купил дом и впредь ездил по всей Гродненской губернии играть на всех богатых свадьбах. Не было ни одной богатой свадьбы, где бы Шебсл не играл. Он завёл у себя капеллу музыкантов на восемь персон. Кроме того, у него был один очень удачный бадхан[23] по имени Тодрос, исполнявший на каждой свадьбе новые куплеты, посвящённые всей присутствующей родне, с упоминанием имён и фамилий. На церемонии закрытия женихом лица невесты фатой он говорил так трогательно, что даже сделанный из железа растаял бы от слёз, а тут ещё игра Шебсла!

На каждой богатой свадьбе, когда доходило до церемонии закрытия лица невесты, начинался такой плач с воплями, а женщины просто таяли от слёз, не имея больше сил плакать, что приходилось просить Тодроса и реб Шебсла прекратить.

В самой капелле тоже был остряк, Рувеле, пожилой уже еврей, но от его шуток у праздничного стола тоже все лопались со смеху. Женщины, бывало, так смеялись, что совсем лишались сил. Опять приходилось просить: хватит уже, у женщин больше нет сил смеяться.

Помню, однажды на свадьбе у кого-то из нашей семьи – я ещё был мальчиком – Рувеле громко сказал за ужином:

«Хочу загадать загадку, и тот, кто не угадает, должен будет заплатить десять копеек».

Поставили тарелку, и Рувеле спросил:

«Господа! Как может быть, чтобы четыре человека разделили между собой три яблока, и чтобы каждому досталось по целому яблоку?»

Естественно, что никто не угадал. Бросили в тарелку по десять копеек, и когда набралось восемнадцать рублей, Рувен спокойно взял тарелку с деньгами и опрокинул себе в карман. Потом поставил на стол пустую тарелку и сказал:

«Господа! Я тоже не знаю, вот вам двадцать грошей[24], как мы договорились».

Понятно, что раздался дружный смех, а Рувеле заработал этой шуткой, столько с трудом зарабатывал на трёх свадьбах.

После смерти жены Довид-Ицхока, дочери Хайче и прекрасной хозяйки, он взял другую жену. Через короткое время – третью, и начал терять свой статус и перестал играть такую большую роль.

Только Исай-Хаим поддерживал своего сына и помогал ему удержаться на ногах. Но тот уже не играл в городе прежней роли, как тогда, когда его жена, дочь реб Йони, была жива. Была она большой умницей и разбиралась в делах; к ней также часто приезжали помещики, но после её смерти, когда Довид-Ицхок стал менять жён, почти все помещики стали ездить к реб Йони, у которого был первый в городе шинок до самого восстания 1863 года[25]. После смерти его жены дело вели невестка с дочерью.

Третья семья были мой дед Арон-Лейзер и его брат Мордхе-Лейб Котик. Они тоже широко жили, хотя у них в большой квартире были простые, широкие столы и скамейки и всё велось больше по-народному. Они тоже держали шинки, но простого типа, а жили широко, богато, с размахом – так, что нынешний варшавский богач им мог бы позавидовать.

Брат деда Мордхе-Лейб Котик был учёным человеком и понятно, что в юности мало был пригоден к тому, чтобы зарабатывать. Когда умер его отец, остался большой дом посреди рынка, с шинком и тремя тысячами рублей денег. Дед передал дом брату Мордхе-Лейбу, а деньги разделил между учёными тестями и семьёй. Он сказал, что не нуждается в деньгах, так как может на жизнь заработать, а они нет.

Брат Мордхе-Лейб всегда имел вдоволь дохода, но так как доход бывал только по воскресеньям и по базарным дням, то всю неделю он жил очень спокойно. Всю неделю и в субботу он

собирал у себе миньян[26], молились у него в большинстве простые люди, а он и Тору читал, и молитвы, и в шофар[27] трубил, а по субботам читал собравшимся Тору. На неделе он ежедневно читал для себя лист Гемары и Мидраша[28] перед молитвой, совсем рано утром и ночью, а целый день у него постоянно был полон дом народу – домохозяев, с которыми обсуждались все новости и велись разговоры о Ротшильдах, о том, что ест и пьёт царь, а потом он, Мордхе-Лейб, играл со знакомыми домохозяевами в шашки.

За большим столом продолжали разговоры о царях и о князьях и о чудесах, которые вершили наши мудрецы, а Мордхе-Лейб, играя в шашки, слушал как бы между прочим, эти рассказы.

Он был очень честным и достойным человеком и двигая шашку, слышал, иногда, как кто-то пересаливает в своём рассказе или рассказывает небылицы, и он тогда просил:

«Не надо говорить неправду, это нехорошо!»

Он был первым мохелем[29] в городе. Почти каждый день, с восьми утра до двенадцати дня, он находился в городе и в окрестных деревнях на обрезаниях, и там ни на волос не пробовал с накрытого стола еды, тем более питья. Взять с собой кусочек пирожка – это да. Этот кусочек пирожка он приносил домой для жены и детей: пусть хоть крошку попробуют с праздничного стола.

«Это мицва»[30], – говорил он.

На праздниках в его собственной семье его делом было обслуживать. На свадьбах и обрезаниях он суетился в поте лица, накрывая на стол, расставляя тарелки, и молодые люди, юноши и девушки, ему помогали. Когда доходило до благословений трапезы, он прежде всего, подняв стакан сладкого вина, говорил всем: «ле-хаим»[31] и закусывал жёстким сыром, который у него всегда был готов для такого случая.

У него велось что-то вроде ссудной кассы для рыночных торговцев, а в долг он давал до двадцати пяти рублей. У самого у него денег никогда не было, поскольку его выдающийся единственный сын жил очень широко. Мордхе-Лейбу приходилось занимать у других, чтобы дать в долг продавцам. Так он себя вёл всю жизнь, до семидесяти с чем-то лет.

Неизвестно, случалось ли Мордхе-Лейбу за всю его жизнь пообедать в чужом доме, хотя бы за деньги. Отправляясь за чем-то в Бриск, за пять вёрст от Каменца, он брал кибитку, т.е. двухколёсный экипаж, хорошую лошадь и отправлялся один. Он любил быстро ездить и за пять часов приезжал в Бриск. В Бриске он проводил максимум часов десять.

В кибитке он имел с собой бутылочку сладкого вина с

жёстким сыром и парой лепёшек, и по дороге закусывал. В Бриске он уже не должен был есть. Дальше он не ездил, чтобы не пришлось есть в чужом доме, хотя бы и за деньги.

Жена его Хая-Гитль была прилежной хозяйкой и большой филантропкой. Часто жертвовала, и помногу, всегда ходила с кожаным кошельком, откуда брала и раздавала, не считая, одному – небольшую горсть серебра, другому – горсти побольше, медяками.

Обычно у неё питались человек по шесть учеников Талмуд-Торы[32]. Ежедневно и от всей души получали они у неё всё самое лучшее; у неё часто питались старые, бедные евреи. Не было недостатка за столом в проповедниках, толкователях, хазанах и раввинах, регулярно ездивших в Каменец и из него. Особенно часто у неё питался один поруш, который сорок с чем-то лет учился в Каменце в новом бет-ха-мидраше. Его прозвали Панчошник[33]. Его считали каббалистом, и в бет-ха-мидраше у него был большой мешок с книгами по каббале, он каждый день их учил, распевая на особый лад.

У него был чистый, тонкий голос, который всех привлекал. По субботам он учил в доме Мордхе-Лейба «Пиркей авот»[34] и мидраш. Рассказывал он о рае, и это было нечто такое, чего не найдёшь ни в какой еврейской книге. Об аде он не упоминал никогда. Находились в раю все самые лучшие, прекрасные и вкуснейшие вещи, которые только можно описать человеческим языком, и сообщал он о них собравшимся таким чудным распевом, таким сладостным голосом, что казалось, он сам там побывал.

Когда однажды прибыл в Каменец келемский проповедник, чтобы читать мораль, Мордхе-Лейб держал его у себя месяц. Его кормили и поили по-царски, и возвращаясь из Каменца, он выглядел, как после дачи.

В счастливой жизни Мордхе-Лейба был один недостаток – он плохо жил со своей женой Хаей-Гитль. Он часто на неё сердился и в этих случаях назло ей ничего не ел. Как видно, он по природе был раздражительным – сердился то на сына, то на внука. Это ему часто мешало жить. Но кроме этого, он был, может быть, самым счастливым человеком в мире. К тому же, он был исключительно красив: крупный, со свежим, кровь с молоком, лицом, с большой чёрной бородой – очень представительный!

Была ещё пятая семья: свёкра Хайче, реб Симхи-Лейзера. Это был большой знаток Торы, благочестивый и мудрый, достойного поведения, редкий еврей. Кроме того, ему ещё и везло, и однажды, лет восемьдесят назад, он выиграл в «саксонскую лотерею» двадцать пять тысяч рублей чистыми. И деньгами он

распорядился так: пять тысяч дал на бедных, хотя по закону человек не должен давать на благотворительность больше пятой части. Три тысячи дал приданого своей дочери и получил большого илюя[35] из Белостока. Зять вскоре заболел и умер. Стоил он ему шесть тысяч рублей, а на остаток денег он купил два каменных магазина, с которых имел дохода пятьсот рублей в год.

Ещё он купил в Каменце землю – небольшое именьеце с очень плодородной почвой, какую евреи называют «золотой жилой», с которой имел-таки хороший доход. Жена его Лейке вела дела на участке, а он день и ночь сидел и занимался. Помню, как он сидит в старом бет-ха-мидраше после вечерней молитвы и занимается до одиннадцати ночи. Я его очень любил.

Большие знатоки приходили к нему, чтобы выяснить с ним трудное место из Торы. Вернувшись домой – очень издалека, больше, чем за версту, он завтракал и занимался дальше. Книг у него было на пять тысяч рублей. И раньше у него было много книг, а после выигрыша он купил ещё. Книги были очень красиво переплетены.

По натуре он был добрым и скромным. Ко всем относился ровно, и малые дети его любили, как пророка Шмуэля. Когда говорил, то тихо, спокойно. И никакой злобы, не дай Бог, в нём не было, как нет воды в огне.

Каждое лето он звал знатоков из города, чтобы приготовить «охранённую мацу»[36]. «Охранённая маца», для особо набожных, готовится с принятием особых мер для предотвращения процесса ферментации, что и описано дальше). Как известно, такую мацу готовят из не перезревшей сверх необходимого пшеницы, во избежание проникновения влаги. Но пшеницу обычно жнут гои, молотят гои и мелят гои, а это уже для нашего реб Симхи-Лейзера проблема. Он готовил для жатвы пшеницы маленькие, острые серпики и, позвав два миньяна знатоков-каббалистов, порушей, молодых, прилежных в учении людей, шёл с ними в поле и учил, как жать.

Сжатую и связанную в снопы пшеницу он держал для просушки в специальном помещении, а после просушки реб Симха-Лейзер с учениками били её палками, вымолачивая зерно. У него в доме была настольная мельница, купленная за пару сот рублей, с камнями и коленом, ученики вращали колено, собирали в красивую банку муку и складывали в ящики большого шкафа с дырочками для проветривания.

Мука там оставалась до после Пурима[37] Тогда он звал тех же учеников, и «охранённая маца» выпекалась; для этого он изготовлял стеклянные скалки и вся работа делалась с радостью.

Перед началом работы вдоволь ели и при этом говорили о Торе. А после работы снова ели и снова говорили о Торе. И кто не видел их радости во время жатвы, сушки и помола пшеницы, а потом выпечки – тот не видел в своей жизни настоящей радости.

Вынутую из печи мацу Симха-Лейзер делил между участвовавшими в работе учениками, чтобы хватило на весь Песах. И так как каждая часть была не такой уж маленькой, ученики продавали «охранённую мацу», имея обычно к празднику недурную выручку.

Так было каждый год, и так жил добрый еврей в прежние годы: много делал добрых дел, соблюдал Закон и был красив.

Умер реб Симха-Лейзер не старым: в шестьдесят лет.

Эти пять семей были украшением города. К тому времени они ещё были богатыми. Но само местечко обеднело. И люди надрывались ради малого куска хлеба. На неделе никто не видел мяса. Даже булочки и свежий хлеб ели в считанных домах. Всю неделю ели чёрный хлеб, который каждый пёк для себя раз в неделю или два, поскольку считалось, что чем черствее хлеб, тем меньше его съешь. Утром ели крупник - перловку с картошкой, или в большой горшок с крупником на семью из шести человек клали, может, две унции масла или полкварты молока или даже целую кварту молока, что стоило копейку.

На обед ели борщ с хлебом и с куском селёдки или с маслом. На ужин варили клёцки или лапшу с тем же количеством молока. Кто победнее – готовил лапшу из кукурузной муки.

В субботу все евреи, даже самые бедные, ели рыбу. Богатые покупали большую рыбу, а бедные – маленьких рыбок, которых перемалывали с луком и делали котлетки. Рыбу ловили у себя в реке, и пол-злотого за фунт считалось дорого. А когда заламывали двадцать грошей за фунт рыбы, в городе подымался большой крик и возмущение против торговцев рыбой, скупавших рыбу и увозивших в Бриск, из-за чего в городе нет в субботу рыбы; торговцев грозили избить и никогда не приглашать к Торе[38], если они и дальше будут увозить рыбу из Каменца и устраивать подорожание.

Мясо было телятина, баранина и говядина, но тощее. Мясники покупали самых худых коров, у которых уже не было сил стоять на ногах. Корову можно было купить за шесть-восемь рублей, десять считалось дорого. Богатые, понятно, покупали говядину, а бедные – телятину, а совсем бедняки, например, меламеды и ремесленники, у которых не было помещиков, покупали баранину.

Кугели были разные, но все – жирные и вкусные, даже у бедняков. В субботу все евреи хорошо жили. По сравнению с тем,

как ели среди недели, субботняя еда была царской.

В каждом доме пекли халу и ставили чолнт[39]. В пятницу вечером шамес[40] шёл по улице и кричал: «Благословляй свечи!». И все евреи, выкупавшись и вымыв голову, шли молиться в бет-ха-мидраши, а потом садились за большую субботнюю трапезу. Звучали субботние песнопения, свечи горели у каждого в подсвечниках и в висячих светильниках, и каждый радовался дорогой и любимой субботе. Беды и убожество всей недели отступали, весь субботний день человек радовался, изо всех углов дышало субботой, святостью, о делах никто себе не позволял говорить, что считалось большим грехом.

Днём в субботу много занимались и много спали. И в летние, и в зимние дни учились после сна и в компании. За одним столом в бет-ха-мидраше учили Гемару вместе с раввином, за другим учили Мишнайот, за третьим – Мидраш, за четвёртым – «Шульхан арух»[41], и всё – с раввинами. За всеми столами сидели простые, рядовые евреи, которые совсем не умели учиться. Зато они умели красиво читать псалмы – с чувством, со вкусом, стих за стихом, по порядку, и это трогало сердца. Потом читали послеобеденную молитву, а после этого шли на третью трапезу – кусок рыбы для хозяев, для всех остальных – селёдка с халой, что уже было скудно.

Потом шли на вечернее богослужение, когда читали большую главу из псалмов «Счастливы те, чей путь непорочен»[42]– с трогательным напевом, говорящим о том, что опять идёт неделя с её горестями и заботами, снова потянется будничная тоска.

На исходе субботы в богатых домах пили чай, заваренный в кувшине, в прикуску с куском сахара. С одним куском можно было выпить два-три стакана чая. Если не ленились, то заваривали ещё кувшин и снова хлебали.

Покончив с чаем, брались за будничные расчёты. Торговцы снова обсуждали с жёнами список товаров, нужных на всю неделю, шинкари – количество спиртного, а евреи, торговавшие с помещиками, решали, что делать у помещика, как с ним стоит себя вести и как говорить.

Обсудив на исходе субботы с женой дела, начинали наутро в воскресенье обычный будничный труд.

Каменец был знаменит как город учёных знатоков; раввины его были из самых известных, хоть жалованья там платили не больше трёх-четырёх рублей в неделю.

К приезду раввина каменецкие знатоки, старые и молодые, готовили вопросы и возражения, чтобы его испытать, и перед своей первой проповедью он чувствовал, что сердце у него чуть не падало от страха перед каменецкими знатоками. Первая

проповедь была чем-то вроде пробы. Она должна была состоять из острых толкований и перетолкований, и если знатоки оставались им довольны, он уже знал, что прошёл экзамен.

В те времена было принято среди молодых людей, женатых и имеющих детей, покидать свои дома и ехать учиться в другие города. Потому что дома невозможно спокойно учиться, и они ехали в чужие города и там сидели день и ночь и учились. О пропитании не нужно было беспокоиться: каждый такой поруш у кого-то питался – в соответствии со своим знанием Гемары: самые способные удостаивались питаться у столов богачей, а похуже – ели в бедных домах. Каждый самый мелкий хозяин кормил по крайней мере один или два раза в неделю поруша, так же, как самый бедный хозяин давал есть ученику Талмуд-Торы.

Кроме учёбы, был у поруша ещё один расчёт. В те времена, как известно, городские заправилы сдавали в рекруты, кого хотели, и для этой цели имели хаперов[43], с помощью которых хватали юношей, которых городские заправилы хотели заполучить. Хаперы для этого не ограничивались своим городом, а ехали на поиски в другие города, где юноши прятались, и хотя в ревизских сказках они не числились, ничего было нельзя поделать. Помесячный староста[44] их записывал, и когда сдавали такую не записанную душу, ей давали имя одного из сыновей богатых хозяев, таки записанных в «сказках». Душа превращалась в хозяйского сына, а несчастный отправлялся служить. Такое освобождение от обязанности поставлять солдата хозяин получал даже тогда, когда у него было шестеро сыновей, но за это он давал городу деньги – сотни было достаточно…

В те времена сдавали в солдаты даже мужчин старше тридцати лет, которые уже имели по пять-шесть детей. Тридцатилетнего холостяка было вообще трудно найти. Неженатый парень семнадцати лет считался старым холостяком, и это было уже большим позором. Взятые в солдаты поэтому бывали отцами, иной раз, нескольких детей.

Понятно, что поруша в те времена привечали и ни в какие солдаты не сдавали. В своём родном городе, однако, он сидеть боялся. Но беда в том, что иной раз кто-то из влиятельных граждан, рассердившись на его отца или на его тестя, мог его сдать в солдаты. Такое случалось, и ничего нельзя было поделать.

В Каменце было много порушей, которые сидели и учились. Мои деды, в бытность помесячными старостами, к тому же сборщиками[45] никогда не сдавали никого, кто хоть как-то мог учиться. Пока он ещё сидел в бет-ха-мидраше и мог что-то учить, он был уверен, что от службы он свободен.

В Каменце были лучшие поруши, величайшие знатоки ученья.

В большом бет-ха-мидраше стояло больше шестидесяти экземпляров Талмуда – старых и местами потрёпанных, но обходились и такими: дойдя по порванного листа, брали у другого ненадолго его Гемару. В большом бет-ха-мидраше испытывали благоговение перед святостью: там учили величайшие авторитеты, там молились самые крупные хозяева, там за большим столом возле большой печки сидели старейшие люди и рассказывали всякие истории.

В целом, Каменец считался благороднейшим городом во всей Гродненской губернии. Там были учёные и философы, которые учили и философствовали и регулярно были заняты толкованием Гемары, изощряясь в едкости. Придя в бет-ха-мидраш, можно было всегда встретить евреев за всеми столами, занятых или Гемарой, или Дополнениями[46] , или Махарша[47]. Особенно отличались молодые люди в изучении Махарша. Их так и называли - «головки Махарша»; дни и ночи изощрялись они, объясняя такие выражения раби Эдельса, как «будь точным» и «вопрос всё ещё сильней ответа»[48].

Новый бет-ха-мидраш, «завидывавший» старому, привлекал к себе порушей и учёных знатоков, благодаря своему габаю[49], очень энергичному еврею. Там же оказались самые способные из хозяйских детей. Но старшие знатоки и просто пожилые люди не оставили старый бет-ха-мидраш, и таким образом существовало два бет-ха-мидраша, полных Торой.

Выше говорилось, что Каменец был благороднейшим городом в Гродненской губернии. И всё же не было недостатка в ссорах. Городские проблемы сразу делили местечко на два лагеря, и в праздничную неделю, когда никакой большой работы не полагалось делать, народ толпился группами на базарной площади, у магазинов, ища, о чём бы поспорить. Там были известные интриганы, способные так дать кулаком, что человек заболеет, острые на язык, известные грубияны. А когда в городе происходило собрание, местом которого был старый бет-ха-мидраш, они являлись со своими кулаками и своими криками срывали собрание. Был там один штукатур, настоящий городской хулиган. Он всегда поддерживал бедных, до которых ему вовсе не было дела. Дело ему было только до своих выходок - он знал, что криками ничего не добьётся, но всё равно был должен кричать, чтоб считалось, что он прав.

Были и тихие интриганы, которые на собраниях не умели рта раскрыть, но между собой, на базаре, переворачивали всё вверх дном, нападали друг на друга, и почти не проходило ни одной праздничной недели без войны. Уж они находили, из-за чего сразиться.

В Каменце было немало ремесленников, но только очень бедных. Помещики обращались по большей части к ремесленникам в Бриске.

В те времена не было города без доносчика. Понятно, что и в Каменце такой имелся, по имени Иче Шейтес. Он был портным, чинил одежду, но мало получал за своё ремесло. Главной его работой было доносить. Но он себя не ограничивал доносами на отдельных лиц, а доносил на весь город. Шёл пешком в Гродно и доносил на весь город, особенно по части «сказок». От губернатора являлась ревизионная комиссия по поводу «сказок», и город впадал в бедность, так как чиновникам из комиссии приходилось давать взятку, и не малую. Под конец пришлось заплатить самому Иче Шейтесу, чтобы перестал доносить. Он просто обездолил всю Гродненскую губернию, стал причиной горя и печали, хотя свой город Каменец он ещё жалел, и потому все должны были быть ему благодарны, не скупясь на лесть, и каждый в душе благодарил Бога, когда доносчик оставил Каменец в покое.

На Рош-ха-Шана[50] и Йом-Киппур[51] он молился в синагоге на возвышении и всю молитву плакал и стенал таким тонким голосом, так взвизгивал, что даже те, кто неспособны были заплакать во время молитвы, начинали плакать от плача и стенаний Иче Шейтеса. Плачем своим он сотрясал молящихся до костей. Он плакал, как человек, которого всё время бьют и мучают.

Помню, как в канун Йом-Киппура, когда мне было девять лет, плач Иче Шейтеса так на меня подействовал, что я, залившись слезами, потерял сознание и в разгар послеобеденного богослужения меня пришлось увести домой. Но сразу же после Йом-Киппура он отправился пешком в Гродно доносить на город.

У Каменца был пригород под названием Заставье, начинавшийся у реки, над которой стояло три моста с тремя водяными мельницами. По реке сплавляли большие брёвна из Беловежской Пущи. Оттуда доставляли в Европу всякую древесину, даже мачтовый лес для кораблей. Высокие деревья рубить запрещалось, и торговцы деревом из Беловежской Пущи – ещё до того, как реб Ицхак Заблудовский из Белостока стал миллионером благодаря этому лесу – воровали высокие деревья, подкупая лесничего. На Заблудовского донесли, что он ворует мачтовый лес, приехала комиссия из Петербурга, и Заблудовский подкупил главу комиссии. Так он вышел из трудного положения, которое пахло каторгой.

После него право рубить лес купил один немец по имени Зигмунд. Он наворовал ещё больше. Жил он так широко, что в

местечке говорили, что прусский герцог приказал построить свой дворец по образцу дворца Зигмунда. Он стал одним из первейших представителей золотой молодёжи в Пруссии и так много украл мачтового леса, что зарабатывал в год по миллиону рублей, потом, понятно, их проматывая.

Когда казна запретила продавать в Беловежье лес, Зигмунд купил за полмиллиона рублей именье в Сельце Гродненской губернии и переехал туда из Берлина. Для Берлина его денег не хватало. Пожил в своём имении несколько лет, потом, из-за великолепных балов, которые он устраивал, промотал и это имение и умер бедняком.

Отправленные из Беловежья в Данциг брёвна сплавлялись через Каменец. От Зигмунда и других немцев Каменец имел большой доход. В то время, когда всё это происходило над каменецкой водой, Зигмунд жил у реб Довида-Ицхока, который тогда немало заработал.

Заставье географически находилось недалеко от Каменца. Но по характеру они друг от друга отличались, как восток от запада. Хотя Заставье не имело ни своего раввина, ни раввинского суда, ни резника, ни кладбища – даже товар Заставье покупало в Каменце – зато у Заставья были другие достоинства. Там были сады, и все почти жили с этих садов. Женщины и девушки сидели всё лето в саду и его обрабатывали. Брали с собой ржаной хлеб и ели с огурцом и редькой. Жили бедно, но имели заработок. Только пара семей были там состоятельными хозяевами, со своим положением в городе, со способными детьми. Зато они регулярно интриговали и во всех городских спорах были первыми вояками. Сторонников у них была масса, и раз начавшись, споры могли тянуться много лет. Ещё они постоянно спорили с моим дедом, стоявшим во главе руководства городом; и хотя его они таки боялись, но всё же и копали под него – но так, чтобы никто не заметил.

Воспитателями детей, по обыкновению, были меламеды. Главным из них был меламед Яков-Бер, у которого начинали учиться почти все городские дети. Ребёнок трёх лет или ещё меньше уже начинал у него учить алфавит и у него же продолжал, пока не обучался хорошо и быстро молиться. Это продолжалось примерно два года. Затем дети переходили к специальным меламедам для изучения Торы и начатков Гемары - избранным, лёгким мишнайот для детей под названием «Леках тов»[52]. От этих меламедов переходили к всё более и более серьёзным, пока не достигали больших, выдающихся знатоков, у которых учились зрелые юноши и хозяйские дети. Но самые большие и выдающиеся бывали и самыми злыми.

Из больших меламедов были в городе двое, которые страшно били и пороли детей. Самые большое наказание называлось «сделать пакет». Для этого меламед спускал мальчику штаны и закатывал наверх рубашку. Раби в этот момент держал в руке хорошую розгу или плётку, и в таком положении мальчик должен был читать урок из Гемары. И если он не знал какого-то слова, раби его с силой хлестал, так что на теле оставался синий след. Так он читал в течение часа, и это происходило по четвергам: мальчики должны были читать самостоятельно Гемару, которую раби с ними проходил всю неделю, поскольку в субботу меламед приходил с каждым мальчиком к его отцу, чтобы тот послушал, как сын читает Гемару. Отец, который сам не умел заниматься, просил какого-нибудь учёного знатока или поруша, чтобы тот послушал, и если мальчик чего-то не знал, отец не слушал никаких оправданий и во всём винил меламеда. Понятно, что тому это не нравилось и всю свою злость он срывал на той части тела мальчика, которую не принято упоминать в литературе.

Одним из двух упомянутых злых меламедов был Довид Лохматый. Он имел целую голову лохм. В злобе он становился страшен и мальчиков просто истязал. У него было принято подымать мальчика вверх и бросать на землю, чтобы тот падал замертво; и такой случай, действительно, произошёл. После похорон убитого мальчика его отец и мать не посмели даже спросить реб Довида, за что он убил их ребёнка. Так, видно, хотел Господь, чтобы раби его убил, так, видно, должно быть, и никто в городе не подумал, что Довид Лохматый совершил настоящее убийство. Даже сыновья М.С., выискивавшие грехи во всём городе, чтобы спорить и интриговать, тут тоже промолчали, и реб Довид Лохматый остался меламедом. У него учились взрослые юноши, хозяйские дети и все от него уходили калеками.

Вторым меламедом, более учёным, чем реб Довид Лохматый, был Довид Слепой. При том, что видел он одним глазом, он стал большим знатоком Ученья, и многие дети с его помощью тоже становились учёными. Но жесток он был неслыханно и постоянно безжалостно бил и порол детей. У этого меламеда учился и я, но об этом позже.

Как уже говорилось, в брак вступали очень рано, как юноши, так и девушки, а именно в возрасте от тринадцати до семнадцати лет. Юноши получали приданое, в зависимости от учёности, от двухсот до тысячи рублей, и свёкор обеспечивал молодым жильё и стол. В «условиях» записывали – кто именно, отец мужа или тесть, должен содержать для него меламеда. Если, отпраздновав свадьбу, молодой муж продолжал питаться у отца, то он продолжал учиться у того же меламеда, что и до свадьбы, и

меламед его продолжал пороть, как и до свадьбы.

В мои времена уже вышло из моды, чтобы после свадьбы продолжали ходить в хедер, но мой раби, реб Довид Слепой, на это таки сетовал и скучал по тем временам, когда порол хозяйских сыновей. Бывало, он рассказывал, как это происходило. Например, как мать ученика пришла в хедер, чтобы поздравить его с новорожденным и наткнулась на запертую дверь, и в тот момент – рассказывал раби – как она подошла к окну, чтобы постучать по стеклу и поздравить, я его как раз поздравлял розгой. С каждым ударом я поздравлял: «мазл-тов, мазл-тов, эдакий прохвост, с мальчиком тебя».

В Каменце не было профессиональных писарей. Писать на идиш учили всё те же меламеды. Единственно, чему учили, была Гемара с толкованиями, Тору учили, но не по целой главе, а по половине[53]. Танаху учил только один Мотка-меламед. Он учил детей среднего возраста, 9-10-тилетних, Гемаре с кусочком Дополнений. Час в день он учил Танаху и час в день рассказывал о чудесных поступках мудрецов и очень живо описывал ад (о рае он имел самые ничтожные сведения). Он даже рисовал на бумаге план ада – его размеры и даже в какой стороне находится дверь. Но размеры рая и в какой стороне находится дверь в него, он, бедняга, не знал. Из Танаха он учил не дальше первых пророков: Иехошуа, Шофтим, Шмуэль-алеф и Шмуэль-бет, Мелахим, алеф и бет, и больше ничего. Но все меламеды, учившие со взрослыми юношами Гемару с Дополнениями и со всеми комментариями, совсем не учили с ними Танах. Учить Танах считалось ересью[54].

Плата за обучение была от шестидесяти рублей за срок[55] до сотни. Меламед, получавший в неделю около четырёх рублей, считался богатым.

У меламедов, начинавших проходить с детьми алфавит, было по 60-80 трёхлетних детей. За таких малышей назначалось жалованье по рублю за срок. Богатые платили по десять злотых за срок. По достижении пяти лет мальчик поступал в распоряжение меламеда по Торе, которому причиталось по три рубля за мальчика.

В честь начала изучения Торы папаши устраивали угощение для меламеда и для всех мальчиков хедера вместе с их семьями. Каждый хозяин устраивал этот пир в честь Торы по своим возможностям. Мой дед Арон-Лейзер устраивая пир для своего сына или внука, распоряжался заколоть небольшого бычка и заказывал у Тринковского вина с богатыми закусками.

Два-три года мальчики учили Тору, то-есть первый раздел – максимум три раздела из главы - потом их передавали к меламедам по Гемаре для начинающих, у которых бывало от

пятнадцати до двадцати мальчиков. Плата за обучение за такого мальчика была по четыре рубля за срок, за богатого – по пять.

Были такие меламеды, которые обучали и Торе, и началам Гемары. С самыми способными из учивших Тору они уже начинали проходить «Леках-тов».

После двух-трёх сроков обучения Гемаре с меламедом для начинающих отец передавал мальчика более продвинутому меламеду, проходившему с ним в первый период страницу Гемары, а во второй – лист. У такого меламеда было уже двенадцать мальчиков, и за каждого плата за обучение была шесть-семь рублей за срок. После трёх сроков отец опять передавал мальчика следующему меламеду, учившему Гемару с Дополнениями. Такой меламед имел десять мальчиков по восемь рублей за срок, и т.д. Каждый меламед учил с мальчиками другой трактат, не спрашивая учеников, какой трактат они проходили раньше у другого меламеда. Понятно, что в учении поэтому не было никого порядка, и смена трактатов у каждого меламеда каждый год или чаще вконец разрушала систему обучения.

Малоспособные головы подолгу сидели в одном хедере, однако малоспособные дети из богатых домов переходили к следующим меламедам так же точно, как способные, при этом отцы просили более продвинутых меламедов учить с их детьми то, что они могут понять, а не то, что учат способные дети. Они же дают ему на три рубля больше за срок. Хозяева стыдились, если их сын, уже большой парень, учился у менее продвинутого меламеда. В каждом хедере были простые, неотёсанные, учившиеся вместе со способными мальчиками. Но этого не стеснялись. Поскольку большинство способных учеников было из бедного класса, то таким образом поддерживалось некое равновесие в смысле «ихуса»[56]. Способные мальчики не кичились своей учёностью, а дети из знатных семей не кичились своим происхождением, и так все были равны.

Учились мальчики с девяти часов утра до двух часов дня. Потом шли обедать на час. Ровно в три часа надо было снова идти в хедер, а нет – получишь шлепок, затрещину или даже розгу.

С трёх часов учились: летом до захода солнца, когда меламеды отправлялись в бет-ха-мидраш на послеобеденную молитву, зимой – с маленькими мальчиками до восьми, а с большими – до девяти. Зимой послеобеденная и вечерняя молитвы бывали уже в хедере, вместе с мальчиками. И так проходила вся неделя, кроме пятницы. В пятницу мальчики учились: зимой до двух часов, а летом – до трёх-четырёх часов дня. Но и в субботу мальчики не имели отдыха. Во-первых

каждого из них меламед приводил пред очи отца или другого знатока со стороны, чтобы мальчик мог пересказать, что он выучил за неделю. Потом он должен был пойти в хедер и поучить с меламедом отрывок или мидраш.

Мальчики никогда не имели свободного времени, кроме праздников: Песах и Шавуот[57], Рош-ха-Шана, Йом-Киппур и Суккот[58] – в общей сложности - двадцать шесть дней в году.

Неевреи, жившие в городе вместе с евреями, не были крепостными. Численно они составляли примерно четверть от еврейского населения. Жили они в двух разных частях города в домах с крытыми соломой крышами. Большинство их были католики, православных было, может, несколько десятков.

Каждый имел свою землю и дом с гумнами и конюшнями, быками, коровами и птицами - и все были богатыми. Недостатка у них не было ни в чём. Бывали среди них даже отдельные богачи с состоянием до нескольких сотен рублей, посылавшие детей учиться в Бриск. И был некий Ермолович, состояния которого никто не знал. Говорили, что он торгует с чертями и они, черти, приносят ему много денег. В прежние времена, если у кого-то имелось много денег и никто не знал, откуда они у него взялись, говорили, что он торгует с чертями. Такого человека боялись раздражать, чтобы не натравил на них своих чертей.

Ермоловича все боялись и каждый выражал ему своё почтение из-за его чертей; в Каменце всем, от мала до велика, уже было известно, что Ермолович торгует с чертями. Люди боялись ходить мимо его дома, как боятся заходить в лес, полный злых зверей.

Жил он, однако, с расчётом – сына послал в гимназию в Вильну. Яш был дикий, избалованный парень, которого боялись и еврейские, и нееврейские дети. Гимназию он закончил с золотой медалью и благодаря большим связям стал асессором в одном местечке Гродненской губернии.

По тогдашним правилам у асессора должно было быть восемнадцать десятских во главе с ключ-войтом. Десятские все были католиками, как этого хотели помещики, которых, понятно, слушался исправник. Немногочисленные православные смотрели на это без претензий, так как всё равно чувствовали себя ниже католиков и были их беднее.

Доктор в Каменце как раз был хороший – знаменитый доктор из Вильны по фамилии Лясовский. В Каменце он поселился из-за жены, у которой был небольшой фольварк рядом с Мещанской улицей и которая располагала суммой в тридцать тысяч рублей. В Каменце он прожил долго. Лекарства надо было возить из Бриска, и если доктор велел больному лишний раз ехать в Бриск за

лекарством, то для этого лишний раз слали извозчика. Часто бывало, что при доставке лекарства разбивалась бутылка, тогда ехали ещё раз, а больной тем временем выздоравливал либо умирал.

Плата за визит доктора была пятнадцать копеек, он приезжал в коляске, запряжённой парой добрых лошадей.

Врачей[59] в городе было несколько. Самый лучший из них, врач Яшка, был знаменит. Проживал он у доктора Лясовского.

Авигдор, Хацкель и Довид, простые врачи, приходили в пятницу в баню и ставили кому надо банки. Десятки еврейских хозяев, здоровых людей, ставили себе по пятницам в бане банки. У кого болела рука, нога, живот или голова – было одно лечение: банки, и побольше. Иной раз кровь текла из плеч, словно человека резали.

Но крупные хозяева, такие, как мой дед или Йоня Тринковский, уже приглашали врачей на дом. Мой дед ставил себе банки несколько раз в год. Если что-то болело, тут же звали врача Довида ставить банки.

По воскресеньям врачи и врачихи, их жёны, делали прививки или пускали кровь крестьянам и крестьянкам.

Давид и Авигдор жили на нашей Брискской улице и по ней в большинстве приходили крестьяне. Я помню, как у врачей в квартире бывало битком набито крестьянами и крестьянками. Летом окна были открыты, можно было заглянуть. На террасе их тоже было полно. Врачи держали большие миски с кровью под руками крестьян и крестьянок. Банки, они считали, мало берут крови: надо больше!… Верили они только в кровопускание, при котором вытекало почти полгоршка крови. Но врач Яшка был настоящий доктор. В одиночку он операций не делал, но он имел парня, который учился на врача, и именно он резал жилы. После смерти доктора Яшка стал в Каменце полным доктором и делал все мази, которым научился у доктора Лясовского.

В нашей Талмуд-Торе было двадцать мальчиков и два меламеда. Питались мальчики по очереди в разных домах. При Талмуд-Торе было три габая, которые собирали деньги, по большей части по деревням и посёлкам. В период Хануки[60] брали с собой троих важных хозяев и ехали в деревни собирать деньги на Талмуд-Тору. Они не пропускали ни одной деревни вокруг Каменца и просили денег. Поселения поддерживали Талмуд-Тору, которая действительно содержалась в большом порядке. Помещалась она в красивом здании, мальчики были хорошо одеты, почти как дети богатых, не было недостатка и в еде. Два хороших меламеда учили мальчиков. Один, поменьше ростом, учил начаткам Гемары, а второй, крупный, как следует

учил лист Гемары с Дополнениями. В субботу габаи привозили знатоков, чтобы те послушали детей. Тогдашняя Талмуд-Тора, существовавшая шестьдесят-семьдесят лет назад, определённо превосходила нынешнюю, даже в больших городах.

Вслед за Талмуд-Торой невольно вспоминается баня. Каменецкая баня стояла во дворе, за синагогой, у реки. Парная баня была совсем даже не плохая. При входе с одной стороны навалена была груда горячих камней, нагревавшихся с помощью печки, расположенной под ними. Каждый, кто хотел, мог вылить ковш воды, и второй и третий, и начинали закипать пары, от которых было можно свариться. В банной комнате была холодная миква[61]. В предбаннике стоял вмурованный в стену железный котёл, кипевший в пятницу весь день. Оттуда все черпали горячую воду ковшами. Банщик всё время добавлял воду с помощью ворота, установленного на колодце в другом конце предбанника.

В большой прихожей стояли по стенам широкие скамьи, и там все раздевались. Стены в предбаннике были старые, с большими трещинами и щелями, со всех сторон сильно дуло. Выходя из горячей бани и одеваясь, все дрожали. Каждую пятницу бывало много простуженных, но никто не догадывался сказать, что следует починить стены, чтобы так не дуло.

Также и ступеньки, ведущие к колодцу в предбаннике, были промёрзшие – чистый лёд, и зимой приходилось голыми ногами проходить восемь ледяных ступенек за водой. Проходить было надо по несколько раз, и просто удивительно, что от этого не умирали. Банщик брал баню в аренду у города. В год платил сто рублей, что было добавкой к жалованью раввина. Плата за баню была от трёх грошей до трёх копеек.

Река возле бани была мелкой и очень грязной, зелёной от плесени. Понятно, что в наше время, когда гигиена стала по-настоящему вопросом жизни и каждый понимает её значение, могут сказать, что от этой лужи, которая тогда была в Каменце, произошли все эпидемии в городе. Эпидемии маленьких детей, действительно, бывали ежегодно, и ни в одном городе не умирало так много маленьких детей, как в Каменце. Бывала корь, оспа, скарлатина и ещё разные детские болезни. Но кто в те времена мог думать, что от такой вещи может произойти болезнь? Было известно, что болезнь – от Бога, а заплесневевшая лужа – это лужа.

Немного подальше от лужи уже текла река, по которой сплавляли из Беловежья в Данциг самые большие брёвна. Недалеко от синагогального двора, против большого бет-ха-мидраша, было в реке чистое место с песчаным грунтом. Там

купались мужчины. Раздевались под открытым небом, вещи клали на доски, которые там держали торговцы деревом, но чтобы украсть вещи или часы – не было такого понятия. Раздевались, заворачивали вещи в кафтан или не заворачивали, и так купались часами. Потом каждый приходил за своими вещами.

Женщины купались в отдалении от мужчин, но там вода была почти такой, как возле бани: мелкой, грязной и заплесневелой. Дальше по течению вверх вода была чище, там сплавлялся лес, но туда было далеко ходить и, к тому же, там местами было глубоко. В сущности, по нынешним моим понятиям, мужчины должны были с женщинами поменяться. Мужчинам следовало купаться там, где женщины: они бы не ленились добираться до чистой воды, что для женщин было слишком далеко, и женщинам не пришлось бы купаться в такой страшной грязи. Но мужчины в те времена ещё не были так рыцарски настроены, чтобы заботиться о чистой воде для женщин.

Каменец был знаменит своими пловцами. С одной стороны река была узкой, с глубокой и спокойной водой, где мальчики могли проплыть версту-две, а устав, выйти на луг, расположенный с двух сторон реки, отдохнуть и плыть дальше.

Возле бани стояла богадельня. Предназначалась не для больных, не дай Бог, а только для прохожих, для проезжавших через город бедняков. Там постоянно жили по три-четыре семьи бедняков.

Вид богадельни был ужасен. Нечто вроде старой развалины с покосившейся крышей. Окна с разбитыми стёклами, заткнутые чёрными грязными тряпками, со сломанной дверью. Часто там жили вместе с малютками. Описать это невозможно, и я до сих пор не могу без содрогания вспомнить отчаяние, тоску и страшную нищету находившихся там и взрослых, и маленьких. И почти никто из городской верхушки и хозяев, пользовавшихся большим авторитетом в городе, не заглядывал в богадельню, будто так и надо.

Раввин[62] был большим знатоком Талмуда и очень родовитым: он был зятем автора книги «Основы и корень служения»[63]. Отцом его был реб Ехезкель, зять Виленского гаона[64] и сыном реб Шмуэля, раввина Минского округа. Этот реб Ехезкель вместе со своей женой добровольно обрекли себя на скитание. Они ходили пешком по деревням, зимой – в летней одежде, а летом – в шубах, питались водой с хлебом и спали на голой земле. Жена реб Ехезкеля от таких страданий в конце концов умерла. Реб Ехезкель взял дочь реб Симхи, гродненского раввина. Реб Симха попросил графа Радзивилла заплатить ему сто тысяч дукатов, которые тот был ему должен. Из-за такого

требования Радзивилл его хотел арестовать. Реб Симха убежал и стал раввином в Гродно. У реб Ехезкеля было четверо сыновей, все – гаоны, раввины в других городах, а один из них стал каменецким раввином.

Жалованья он получал три рубля в неделю и сидел день и ночь над Торой. Детей у него было пятеро сыновей и одна дочь, и все очень трудно жили. Раввинша убеждала мужа просить прибавить ему хотя бы ещё рубль в неделю, но он ничего не хотел просить. Потом, так как она ему сильно докучала, он стал заговаривать о том, чтобы ему прибавили рубль жалованья в неделю. Просить ему пришлось долго. Наконец, созвали большое собрание в старом бет-ха-мидраше. И было решено, что каждый хозяин из богатых должен дать при каждом зажигании свечей копейку на расходы для раввина. Шамес ходил каждую пятницу и собирал копейки, из которых с трудом сколачивали рубль, а потом ещё меньше. Так трудно жил раввин всю жизнь. Чтобы сыграть свадьбу детям, ему приходилось ездить к богатой родне. Там ему давали на свадебные расходы.

В Каменце любили магидов[65], не пропускали ни одного. из тех, кто ездил по стране с нравоучительными речами перед миром. Так же и хазаны[66], разъезжавшие со своими подголосками по городам и местечкам для заработка, бывали и в Каменце.

Приехав в город, магид прежде всего представлялся раввину и объявлял, что он, например, хочет прочесть поминальную речь в честь одного, двух, трёх раввинов, умерших в тот год. Раввин обычно соглашался: надо ведь о человеке сказать несколько слов – и посылал к габаю большого бет-ха-мидраша, чтобы тот объявил о приезде магида. Шамес объявлял в бет-ха-мидраше, что назавтра, между послеобеденной и вечерней молитвами, выступит магид.

Бет-ха-мидраш уже бывал переполнен людьми, и на женской половине тоже стояли голова к голове. Обычно магид начинал поминальную речь громким стоном и плачем, чуть не растаяв: «Раввин скончался, господа, последняя по счёту жертва. Кто теперь искупит великие наши грехи (забыл он, что ещё двадцать раввинов могут умереть) Собравшиеся рыдали навзрыд.

И так как магид мог заставить так много людей плакать, считалось, что он хороший магид. Его приглашали назавтра, и назавтра плакали снова, снова собирали для него деньги, а дня через три после его отъезда являлся новый магид, с новой поминальной речью, который, естественно, был ещё способней вызывать слёзы, и так город плакал круглый год.

Помню, раз магид говорил поминальную речь в честь трёх

раввинов одновременно. Резким, слегка дрожащим голосом он кричал, что праведник умирает не за свои грехи, а за грехи всего Израиля, и так как Господь взял за наши грехи троих мудрецов и праведников, и совсем не осталось таких больших праведников, которых может взять Господь в качестве жертвы за наши грехи, потому Всевышний возьмёт малых детей, прямо от материнского лона.

Всё это он возглашал ужасным криком, и все в голос рыдали: и малых детей тоже возьмут!…. И женщины чуть не падали в обморок.

У меня тогда тоже была маленькая сестричка по имени Фейгеле, годовалое дитя с чудесными волосиками, которую я очень любил. И вот я слышу, что Господь возьмёт малых детишек, а значит, что и мою любимую сестричку… Я так разрыдался, что упал без чувств на землю.

Магид уехал, и с Божьей помощью случилась эпидемия кори, и много маленьких детей умерло, и среди них и моя сестричка. Город рассердился на магида, говорили, что он наслал на город проклятье. Его хотели поймать и доставить в Каменец, чтобы с ним рассчитаться, но ничего из этого не вышло и наши каменецкие евреи, бедняги, так и продолжали регулярно плакать.

Несколько раз в году приезжал на субботу знаменитый хазан со своим хором. От них в городе уже было веселье. Приезжали такие хазаны, как реб Изроэль Скудер, реб Борух Карлинер, Яша Пинскер и т.д. и т.п. Такой хазан мог взять двадцать пять рублей за субботу.

Дед регулярно приглашал хазанов на субботу к себе, а другие хазаны ели в домах у других больших хозяев. На исходе субботы дедушка устраивал пенье, сзывая самых больших хозяев города. Пили чай, провожали царицу-субботу ужином, и хазан со своим хором пели до утра. На следующий вечер то же – у Тринковского, на третий вечер – у Довид-Ицхока, и т.п. Каждый хозяин клал хазану в карман по серебряной монете, и тот уезжал из Каменца и сытый, и с деньгами.

Был в городе обычай – молодой человек, который женился и ехал к тестю на хлеба в другой город, прощался перед свадьбой со всеми важными хозяевами. Шамес из большого бет-ха-мидраша шёл с женихом во все дома, чтобы попрощаться.

Хупу[67] ставили возле большого бет-ха-мидраша, и раввин, который жил поблизости, справлял свадебную церемонию. Во время торжества, в момент закрытия лица невесты, жених читал проповедь, которую учил месяца за два до этого. Естественно, что способные молодые люди готовили большие, изощрённые проповеди. Даже и простоватые женихи тоже учили какую-нибудь

проповедь. Пусть маленькую, лёгкую, лишь бы была проповедь. Не абы как, лишь бы отделаться, а настоящую свадебную, «подарочную» проповедь.

Кладбище было довольно большое, если судить по ревизским сказкам. Но так как и не записанные в сказках тоже умирали, то не мешало бы иметь кладбище побольше. Огорожено оно было, конечно, деревянным забором, и памятники были почти все одинаковые: из простого камня, не очень большие, с выбитой надписью.

Перед Песах, во время больших дождей, вода текла, опрокидывая памятники, и могилы заливало водой – как раз могилы самых уважаемых граждан. Немного дальше была площадка повыше, докуда не достигала вода, но жители Каменца предпочитали это место для менее уважаемых, и именно там, где регулярно лилась вода, регулярно хоронили всех знатных. Как-то на это не смотрели. Предпочитали рыть могилы в низине, а почему – я до сих пор не понимаю.

Никаких похоронных организаций, как теперь, не было, кроме одной хевра-кадиша. Они брали деньги с богатых, и не было у них нехватки в хлебе с борщом. Цена с богатых была с трёх до десяти рублей. Помню, когда жена известного скупца умерла где-то перед Новым годом, город с него хотел взять пятьсот рублей, но он настаивал на десяти. Покойница лежала три дня, а скупец пришёл к моему деду, главе общины, и кричал:

«Хоть засолите её, я так много не дам!»

Сто пятьдесят он, однако, дал. Такой суммы денег, с тех пор, как Каменец стоит, ещё не бывало.

Всю пасхальную неделю похоронная кампания готовила пунш. Помню, как пили горячий мёд, что было совсем неплохо. Раз в три года во время Хануки задавали большой пир, на который собиралась масса народу. Ели большие порции рыбы и гусятины. Один из габаев хевра-кадиша имел большой живот и был большим едоком. Он знал, что тут – такое место, где можно поесть, сколько хочешь. Но что делать, если больше не лезет? Посреди пира он выходит из дому, суёт палец в горло и выбрасывает съеденное. Вернувшись, опять съедает пол гуся. Стоили такие пиры уйму денег.

Предрассудки в городе были очень сильны. Верили в чертей, бесов, во всяких злых духов. Меламеды вбивали в головы своих учеников разные байки про чертей. Также все знали, что происходит с людьми в будущем мире с момента смерти. Что сразу случается, и как он попадает на небо – точно, будто видел это своими глазами.

Как только человек умер, его кладут пол, но не на голый пол,

а на солому. Солома его колет, как иголками, и тут же являются рядом злые духи, сопровождают его во время похорон, а после опускания в могилу является злой демон и спрашивает:

«Как тебя звать?»

Но тот, на своё горе, забыл. Ангел смерти вскрывает ему живот, вынимает кишки и бросает в лицо. Потом переворачивает, бьёт железными прутьями, терзает и рвёт на куски, и т.д. Каждый в это верил, как верил в то, что живёт на свете.

У нас несли мёртвого до кладбища. Несли обычно по очереди. И обычно в таком городе, как наш, все уже всё знали, и так как провожать мертвеца - это мицва, то на похороны являлся весь город. Впереди шёл могильщик с большой жестяной кружкой, гремел большими николаевскими трёх - и четырёх-грошовыми монетами, которые бросали люди, и жалобно кричал:

«Милостыня спасёт от смерти!»

Помню, как страх проникал до костей. Каждый страшился злых демонов, которые крутятся вокруг покойника, каждый размышлял об ужасном положении покойника и при этом помнил, что и его собственный конец будет такой же.

Глава 2

Прадед реб Вельвель. – Мой дед Арон-Лейзер. – реб Йодл. – Юность Арон-Лейзера. – Свадьба. – Бабушка Бейле-Раше. – Перемена, которая произошла с Арон-Лейзером. – Смерть прадеда. – Исправник. – Его отношения с дедом. – Дед как помесячный староста. – Советы бабушки. – Дед – сборщик налогов. – Писарь. – Споры из-за писаря. – Влияние деда. – Дед и помещики. – Ревизор. – Новый сборщик налогов. – Споры в городе. – Новый исправник. – Мой дед – снова сборщик налогов.

Дед мой реб Арон-Лейзер был умным и удачливым евреем. Он имел огромное влияние в местечке. Родился он в 5559, т.е. в 1798 году. Его отец, реб Вельвель сын Арона, был в Каменце помесячным старостой. Раз в три года в те времена евреями в каждом городе выбирался глава общины, которого сначала утверждал исправник, а потом губернатор.

Помесячный староста был в городе полным хозяином, как в смысле собственно еврейских интересов, так и касающихся общегородских взаимоотношений с начальством.

Помесячный староста должен был распределять и собирать налоги и другие поборы, налагавшиеся на общину, и через него исправник проводил все свои требования. Из этого уже можно понять, какую большую роль помесячный староста играл в городе. Достаточно сказать, что он имел право арестовать на срок до трёх дней, а если требовалось на дольше – посылал за исправником в Бриск и при этом писал, что, по его мнению, человеку причитается месяц заключения. Исправник при этом выполнял приговор помесячного старосты, который мог даже выпороть и еврея, хотя, конечно, никакого формального права он на это не имел. Но каждый исправник в те времена значил больше у себя в уезде, чем сейчас губернатор, и постоянно давал помесячному старосте большую власть. То, что делал помесячный староста, исправник всё утверждал.

В Виленской губернии была история, когда помесячный староста миснагид выпорол хасидского ребе, приехавшего к хасидам, и не помогли хасидские мольбы и слёзы.

Хоть по закону помесячный староста должен каждые три года переизбираться, но исправник на это не смотрел и с самого начала велел выбрать того, кого хотел, а потом уже тот оставался на столько времени, на сколько хотел исправник.

Прадед реб Вельвель был всю жизнь в городе помесячным

старостой и богатым евреем: состояние его оценивали в три тысячи рублей. Жил он очень широко. У него был свой винокуренный завод. Тогда ещё не было никакого акцизного налога, и он выручал по двенадцать грошей за горшок водки, а в позднейшие годы – до восемнадцати. Но так как винокуренный завод производит брагу, то естественно, при нём была скотина - десять-двенадцать коров, питавшихся остатками от производства браги, и каждая скотина давала молока по четыре горшка в день. Молоко, творог и масло просто не знали, куда девать. Ещё он торговал лесом, лесничие приносили мёд из ульев. Он также держал в городе «коробку»[68], и у него воистину питались молоком и мёдом, а также и мясом. В доме бывала такая жрачка, какую редко встретишь.

Прадед был по натуре гораздо мягче деда, и к людям бедного класса, таким, как ремесленники и меламеды, был снисходителен и все налоги и выплату нагружал на больших хозяев, а на самых могущественных налагал самые тяжёлые поборы.

Власть его простиралась повсюду. Если кто-то не хотел идти в раввинский суд, он за таким посылал и при этом говорил: «Даю тебе три дня та то, чтобы явиться вместе с противной стороной в раввинский суд». И тому уже приходилось идти.

Был случай с неким Р.М., богачом и большим учёным, но только очень плохим человеком, который поступал нечестно с теми, кто с ним торговал. Он ни с кем не хотел идти в раввинский суд, и помесячному старосте, то есть моему прадеду, на него часто жаловались. Он позвал за жалобщиками и сказал им:

«Позовите его все в раввинский суд, и не только за этот год. Споры, которые вы с ним когда-либо вели, и он отказывался от раввинского суда, можете сейчас разрешить. Одним словом, сейчас вы сможете с него стребовать - уж он у меня явится в раввинский суд».

Прадед тут же его позвал, но тот сделал вид, что ничего не знает. Дед тогда прислал своих десятских, трёх евреев – Хацкеля, Мошку и Арон-Лейба, и прямо в его квартире ему связали верёвкой руки и ноги, и никто не посмел вмешаться. Знали, что в случае сопротивления в доме окажется вся полиция. Связанного Р.М. помесячный староста отправил к исправнику с письмом, что тот должен его посадить и держать до тех пор, пока он не попросит в письме к деду, чтобы его выпустили.

Можно себе представить, как такого уважаемого, богатого и учёного еврея из хорошей семьи везут связанного из Заставья через весь город по Брискской улице. Собралась вся его родня, и было много шума. Естественно, что всё это было довольно грубо,

но для тех времён вполне типично. Город, понятно, был возмущён, шумел и шумел, но силой его освободить никто не посмел. Его доставили в Бриск и прочно посадили.

Поднялись все евреи Заставья и написали исправнику жалобу на помесячного старосту, что он делает в городе, что хочет и что с ним невозможно жить. Но бумагой они не ограничились. Пятеро типов с хорошо подвешенными языками поехали к исправнику. Тот их принял холодно и сказал:

«Ничего вам не поможет, если даже вы обратитесь к губернатору. Он ведь спросит меня, а я скажу, что помесячный староста – храбрый еврей. А вас – за дерзость, за то, что пришли жаловаться – я проучу». И у них на глазах порвал бумагу.

Две недели сидел так Р.М., пока не попросил исправника, чтобы тот позволил ему написать помесячному старосте письмо с просьбой о прощенье. Он написал, что пойдёт со всеми в раввинский суд, даже за прошлые споры. И вообще – с сегодняшнего дня он со всеми будет ходить в раввинский суд. Тогда помесячный староста послал письмо исправнику, чтобы тот освободил Р.М. Освобождённый прямо из Бриска приехал к прадеду и обещал ему в присутствии десяти человек выполнить всё, что написано в письме.

И с пятью слишком смелыми жителями Заставья он тоже свёл счёты: положил каждому заплатить семьдесят пять рублей налога вместо рубля или двух. Такой большой суммы денег сразу в те времена никто не мог выложить, никто, кстати, и не захотел бы выкладывать.

И в течение часа были все их пожитки, вместе с домашней утварью в общинном доме. После долгих просьб и слёз каждый дал по двадцать пять рублей, и он на эти деньги купил книги Талмуда для большого бет-ха-мидраша.

Во всех спорах между мужем и женой, отцом и детьми, братьями и сёстрами обращались к нему. В этих случаях он всегда звал умных хозяев и пользовался их советом. А однажды, в особенно трудном случае, обратился к раввину. Решение прадеда было всё равно, что губернатора.

Особенно его заботила судьба сирот. Он следил, чтобы их не обижали мачехи, а особенно зловредных приказывал посадить, а после освобождения не пускать в бет-ха-мидраш. Это действовало: мачеха приходила с плачем, клялась быть добрее к детям, которые её прощали, и наступал мир.

Он был учёный еврей и каждый день прочитывал дома лист Гемары. Мидраш мог цитировать наизусть, а в начале каждого месяца постился и в полночь молился.

Он также оберегал всех евреев от помещиков, чтобы никто не

был обижен. В случае обиды со стороны помещика, еврей шёл к помесячному старосте и тот передавал его жалобу исправнику. И как бы это ни было, по понятным причинам, трудно, но делалось всё, чтобы у помещика чего-то добиться. Оттого, что прадеда ценило начальство, он и у помещиков имел определённое влияние. Сам он имел с ними мало контактов, никаких особых дел с ними не вёл, кроме случаев, когда приходилось о чём-то просить помещика за евреев. Тогда он ехал к помещику, и это обычно помогало.

В доме у него стоял шум от людей, по большей части бедняков. Водка тогда стоила восемнадцать грошей за горшок, а жареное и копчёное телячье мясо на закуску после шнапса всегда висело в кладовке, так что у него стоило посидеть. Люди эти были ему всецело преданы.

Зато большие хозяева его смертельно ненавидели – за его резкость и за то, что драл с них столько денег, сколько хотел.

Городской раввин был мудрый еврей, к тому же прадед ему достаточно давал на жизнь. И он советовался только с раввином, постоянно заходившим к нему на чай. И можно сказать, что в тот период был в Каменце порядок и евреи жили более или менее мирно. Помесячный староста реб Вельвель, сын Арона, был наверное самым лучшим и самым честным.

Детей у реб Вельвеля было два сына и две дочери. Старший сын, Арон-Лейзер, мой дед - фактически главное действующее лицо моих воспоминаний - проявил себя очень способным мальчиком. Учиться он не хотел и мог себе позволить этого не хотеть: отец его очень баловал, меламеды его боялись, и поскольку он не хотел учиться, они об этом тоже не очень беспокоились. Так и не стал дед Арон-Лейзер учёным евреем, хотя голову имел золотую. Совсем даже не знал Гемары – настолько не хотел учиться, и настолько ему подчинялись и так его баловали. Он любил учить Танах, хотя в те времена это считалось ересью, и заглядывал иной раз в Талмуд или в «Эйн-Яков».

В одиннадцать лет он женился на дочери реб Юдла из местечка Семятичи Гродненской губернии.

Реб Юдл был очень учёным, знал наизусть несколько сот листов Гемары из раздела «Ущербы», к тому же имел интерес к науке и хорошо, по тем временам, знал астрономию. По своей профессии он был лейпцигским торговцем и дважды в год ездил в Лейпциг в собственной коляске, запряжённой тройкой лошадей, и с кучером. Брал с собой большой ящик с серебряными деньгами и маленький – с золотыми монетами, а также книги Гемары и разные учёные книги, и по дороге читал. Была у него слабость к

музыкальному инструменту под названием кларнет, на котором он любил играть, что казалось странным.

Потом перестал торговать с Лейпцигом и стал военным подрядчиком. В тот период он часто бывал в Петербурге и постоянно рассказывал истории об этом месте, о царе и о царской семье. Мне было двенадцать лет, когда он умер. Помню, что у него в ящике нашли письмо от подрядчиков всего Виленского округа. В другом письме подрядчики излагали свои претензии к казне и поручали ему поехать в Петербург, чтобы там это вытребовать. Ещё были письма из разных городов, в которых его просили к ним переехать и обещали всяческое к нему почтение. Он уже был к тому времени старым человеком.

Молодой паре, то есть моим деду и бабушке, было по одиннадцати-двенадцати лет и жили они на хлебах у прадеда в Каменце.

Дед Арон-Лейзер, будучи большим шалуном, любил играть в строящихся домах, раскачиваясь на наваленных там досках. Бабушка его оберегала, беспокоилась за него и не позволяла ему раскачиваться. Он от неё прятался, уходил куда-нибудь подальше, где она не могла его найти. Однажды – рассказывала бабушка, – она его долго искала и с большим трудом нашла. Он в этот момент сидел высоко на доске и раскачивался. Увидев её, он испугался и спрыгнул. От прыжка упал и сильно ударился. «Жена» расплакалась, и он ей тогда поклялся, что больше не будет качаться.

Годам к двенадцати-тринадцати стал он очень распущенным и диким парнем. А бабушка была не по возрасту умной и постепенно и осторожно отучала его от множества шалостей и баловства. Когда после свадьбы они стали отцом и матерью, она ему сказала, что сейчас он должен начать вести себя серьёзно, как подобает отцу семейства, и поскольку к его отцу приходит масса народу, среди которых много уважаемых людей, и в доме обсуждают важные городские дела, то он должен, как взрослый, начать входить в отцовские дела. Он её послушался. И благодаря ей стал человеком, стал входить в отцовские дела и в городские дела, и соответственно начал всем нравиться.

Отец, конечно, был очень рад, что его сын Арон-Лейзер стал себя вести, как полагается, что есть, с кем разговаривать и с кем делить заботы о городе, что обычно требует очень много времени. У него были ещё собственные дела. И он понемногу стал передавать сыну городские дела. Он видел, что сын повзрослел и что к молодому хозяину относятся с уважением. Однажды он даже высказался публично:

«Я вижу, что могу передать ему город» (словно город вместе с

людьми был его имуществом).

Так начал дед Арон-Лейзер заниматься всеми городскими делами, стал человеком города, что легло в основу его будущей карьеры.

Бабушка Бейле-Раше была, как тогда говорили, мудрой, доброй и благородной. Она, молоденькая жена, следила за тем, как себя ведёт её муж, но не показывала вида при людях, если что не так, не делала замечаний, когда он, как мальчишка, собирался сделать какую-то большую глупость. Только оставшись с ним наедине в комнате, указывала на все ошибки, совершённые им за день. Но сначала перед ним извинялась, прося не обижаться на то, что она, простая еврейка, учит его, мужчину, что делать и как себя вести. «Ты ведь человек, - убеждала она его тихо, - к тому же молодой. Каждый может сделать глупость. Хорошо, что за твоим поведением слежу я, полными любви глазами. И больше не хочу говорить, что ты совершил хорошего, а что плохого». И дальше в таком роде, тихо и спокойно его убеждала.

Её добрая, умная речь так действовала на молодого хозяйчика, что он часто начинал плакать. Она тогда говорила: «Ну, ша, не плачь, мой дорогой муж. Я надеюсь, что ты ещё много совершишь хорошего. А я с тобой буду говорить, как добрая, преданная жена».

В результате получалось, что дед ничего не делал, не посоветовавшись с женой. Говорил всем, что должен до утра подумать. Ночью всё обговаривал с Бейле-Раше, и как с ней решалось, так он и поступал. В городе уже знали, что он советуется со своей мудрой Бейле-Раше, это ему добавляло уважения: муж ведь должен жить с женой в согласии.

Со временем, повзрослев и уже имея несколько детишек, Арон-Лейзер стал искать себе какого-то заработка. Заработать на городских делах, при тогдашних грошовых хозяевах, было трудно. Кстати, на городских делах, которые стали ему надоедать, он и не хотел зарабатывать. Также и отцовские дела с лесом, которые он вёл в небольшом масштабе, ему не нравились, а винокурня со скотиной – просто противны.

Видя, как широко живут помещики вокруг местечка, он подумал: почему бы с этими людьми не сделать гешефта? Помещикам сын помесячного старосты был знаком, относились к нему с уважением, что-то из этого могло получиться. Кругом так много евреев, живущих с помещиков и на этом богатеющих, чем он хуже?

В городе говорили, что и эта идея зародилась в голове Бейле-Раше.

Короче, молодой человек попросил у отца триста рублей и стал ездить к помещикам – сначала, конечно, к более известным и проживавшим близко от города. Принимали молодого человека вполне вежливо, он даже нравился, и постепенно, довольно быстро, он стал с ними делать дела. Но зарабатывал он мало – набрался терпения и не хотел, чтобы помещик, не дай Бог, сказал о нём, что он его обдурил. Другой на его месте, говорили, мог бы в золоте ходить. Как-то он на это ответил:

«Другого на моём месте помещики бы на порог не пустили. Ничего, я с ними познакомлюсь постепенно. Ещё много есть мест, где можно заработать. Пока мне многого не надо».

И постепенно он стал у помещиков популярен. Держался он с ними тактично, спокойно и серьёзно.

У деда Арон-Лейзера был брат, моложе его на шесть лет. Но того держали за шлимазла, в городские дела он совсем не вмешивался, сидел у отца и там питался, иногда ему помогая. Прадед его не любил, только один Арон-Лейзер был вся его жизнь, любил он также невестку, жену Арон-Лейзера, и часто называл её праведницей.

Имел он двух дочерей и взял им в мужья больших учёных. Учёные эти стоили ему много денег. В те времена он мог себе позволить дать дочерям по тысяче рублей приданого и взять в зятья илюев, которых он кормил, а они сидели день и ночь и учились.

Дед Арон-Лейзер уже тогда не хотел жить у отца и питаться со всеми сёстрами и зятьями. Всецело занявшись своими делами с помещиками, он зажил самостоятельно. По натуре он был очень широким человеком, и его единственным желанием было, чтобы у него из кармана сыпались деньги, а другие чтобы их подбирали.. Он уже имел несколько детей, и в городе хотели бы, чтобы он занимался городскими делами. Дед по своему внешнему виду и по своей широте очень подходил для того, чтобы быть городским деятелем.

Прадед реб Вельвель умер в шестьдесят лет. Когда он заболел, об этом узнал исправник и уже не уезжал из города. Он очень жалел больного, чьё состояние было опасным. Перед смертью реб Вельвель послал за исправником и попросил, чтобы тот взял помесячным старостой на его место умного и честного человека, который сможет вести город, и назвал при этом несколько умных хозяев. Исправник, который, как видно, уже обратил внимание на деда, сказал:

«Я бы хотел сделать помесячным старостой твоего сына, Арон-Лейзера, хоть он и очень молод. Он мне нравится».

«Оставьте в покое моего дорогого сына. Должность эта

трудная. Сколько человек ни старается, ничего не выходит. Все его ненавидят».

Исправник попрощался и уехал. Через несколько дней помесячный староста умер. Тогда асессор послал курьера к исправнику, сообщить о его смерти. Тот приехал со стряпчим, и они оба, вместе с асессором, проводили его на кладбище. Наутро исправник послал за дедом Арон-Лейзером, которому в то время было двадцать восемь лет, и предложил ему отцовское место. Дед отказался наотрез, объяснив исправнику, что он ещё слишком молод для такой ответственной должности.

«У меня есть свои дела, - сказал он исправнику, - я сплю спокойно, ем спокойно, и для меня это слишком большая работа».

Но исправник настаивал на своём:

«Послушай же, - объяснял он деду, - у меня нет никого другого, кроме М., вашего кровного врага. Если он станет помесячным старостой, семья ваша от этого пострадает», - исправник знал, как надо говорить с евреями. «И так как я любил твоего отца, - продолжал он, - и знаю, что ты – храбрый парень и хват, поэтому не отказывайся. Если помесячным старостой станет М., у тебя точно будут проблемы. – припугнул он по-дружески.

Это уже деду совсем не понравилось. М. был ужасным ненавистником прадеда и всей семьи. Был он тем самым М., которого реб Вельвель арестовал за нежелание идти в раввинский суд. Деда это совершенно лишило мужества и он обещал исправнику сегодня же дать ответ.

Он долго совещался со своей Бейле-Раше и не мог прийти ни к какому решению. Брать должность было смертельно горько, не брать – тоже плохо. Долго думали и обсуждали, наконец решили, что надо брать. Понятно, что если бы не кандидатура М., дед бы точно отказался. При этом было решено, что дед, беря должность, должен держаться в своих отношениях с городом спокойно, хладнокровно, честно и осторожно. И Арон-Лейзер заявил исправнику, что берёт должность. Исправник, с обычной для того времени сердечностью поцеловал его в голову и пожелал успеха в новой должности. Тут же приказал созвать совещание в городе и… выбрать Арон-Лейзера, сына бывшего помесячного старосты.

Город его «выбрал» и даже с большой радостью. Он нравился людям за ум и энергию.

Нового помесячного старосту Арон-Лейзера исправник взял к себе в карету и повёз в Бриск, где продержал несколько дней, передавая все касающиеся города дела. Причём суждения молодого человека его прямо воодушевили.

Арон-Лейзер вернулся в Каменец и стал управлять городом, как его отец. Был он, однако, умнее и энергичнее отца, и

представители городской верхушки, тратившие целые вечера на споры об общинных делах, теперь почувствовали себя лишними.

Городскую работу Арон-Лейзер вёл так великолепно, что в собраниях, в которых так нуждался бывший помесячный староста, вообще не было нужды. Постепенно он избавился от городской верхушки и перестал их совсем звать, даже для совета. Разве что должен был решать очень сложный вопрос. Тогда уже приходилось их звать.

«Нет ли у вас получше предложений, - спрашивал он их, - моё мнение такое и такое…»

Но главным его советчиком была его жена Бейле-Раше. По вечерам он с ней всё обговаривал с глазу на глаз – и странное дело – он был решительным, властным человеком и большим деспотом, но на удивление слушался своей жены, и всю жизнь для него было свято то, что говорила или советовала жена. Он был помесячным старостой два с половиной года, пока эту неограниченную власть не отменили[69] Помесячный староста не был уже ответственным за весь город лицом и получил новое имя – сборщик, который должен был собирать все налоги для казны, и за это тоже не он был ответственен, а город.

Арон-Лейзер не хотел быть никаким сборщиком. Опять его сильно просил исправник и даже пообещал, что власть его и дальше останется прежней. Городу должность сборщика была ещё незнакома, они ещё не знали, что с этим делать и как, например, себя должен сборщик вести, и горожане его с готовностью выбрали.

Арон-Лейзер стал сборщиком, но управлял всем городом, как прежде, ни на волос не меньше, и не знаю, имел ли ещё какой-нибудь сборщик в Литве такую власть, как он. Другие хозяева стали на него поглядывать сердито. Они знали, что власти, которую забрал себе Арон-Лейзер, нет ни у какого другого сборщика. Поэтому он стал приобретать врагов.

Арон-Лейзер на это не смотрел. Для него они не играли вовсе никакой роли. За него был исправник – и довольно! И всё-таки это его грызло, а кого-нибудь, кому он мог передать должность, он не находил. Чему, кстати, не рад был бы и исправник. Этот исправник тоже знал, что Арон-Лейзер – большой хват по части взимания налогов, на что другой на его месте, возможно, будет неспособен, и это было для него особенно важно.

Арон-Лейзер решил взять энергичного писаря, чтобы тот вёл городские дела. Тогда он, Арон-Лейзер, сможет освободиться и спокойно заняться своими делами с помещиками. Надо же иметь какой-то доход со стороны, ведь расходы большие.

Он поехал в Бриск к исправнику, поделился с ним своим

планом – что он ищет энергичного, умного человека. Может, у того есть кто-то в Бриске? Исправник дал ему одного молодого человека – Й.Х.П., – частного адвоката, который писал прошения и вёл дела. Деду он понравился и он его привёз в Каменец. Прежнего писаря, простого еврея, делавшего в слове «русский» семь ошибок[70], он уволил, купил ему дом за двести рублей, устроил шинок и сказал:

«В патентах ты не разбираешься, но дохода у тебя будет больше прежнего».

Новый писарь явился в Каменец как аристократ: в коротком пиджаке, с кольцом на пальце и в общественном месте сидел без шляпы. Город был взволнован. Рассердились, понятно, на деда. Сердились так сильно, что кое-кто говорил, что такого, как Арон-Лейзер позволительно убить даже в Йом-Киппур. Но что поделаешь с исправником?

Как обычно, дед делал вид, что ничего не знает, и передал команду Й.Х.П. Последний был умный малый и способный в Ученье – мог понять лист Гемары, но получив образование и став «адвокатом», превратился в «апикойреса».

Писарь приехал, и дед снова принялся за дела с помещиками. Три дня в неделю объезжал помещиков, а остальное время занимался с писарем. Врагам своим он попросил писца назначить налог в десять раз выше, чем они до сих пор платили. Это было нечто вроде мести, и тут уж поднялась настоящая буря. Пламя споров распространилось по всему городу, и стоял крик: «Это что же такое?! Арон-Лейзер взял секретарём гоя!»

Бейле-Раше, жена деда, приняла это близко к сердцу. Она ни за что не желала слушать эти обвинения с криками и проклятьями и с плачем требовала, чтобы он отказался от должности сборщика.

«Город – не за тебя, - плакала она, - и евреи города – тоже не за тебя. И ты – не за них. Не беспокойся, обойдутся они и без тебя. Не могу видеть, во что ты превратился. Какое несчастье!»

Арон-Лейзер поехал к исправнику и изложил ему, как обстоят дела, решительно заявив, что хочет освободиться от должности. Город недоволен, жена плачет, он больше не может. Не могут ему простить писаря.

Исправник согласился. «Только смотри, - сказал он, - как бы я снова не назначил тебя сборщиком. Нет никого другого на твоё место».

Исправник тут же поехал в Каменец, созвал городскую верхушку и приказал им к утру выбрать другого сборщика вместо Арон-Лейзера. Но писарь должен остаться тот же. И тут как раз была загвоздка.

«Что значит!? – вспылил город. – Не хотим писаря! Дадим ему двести рублей, и пусть уходит!»

Исправник послал за писарем и спокойно его спросил, что он хочет: остаться писарем или взять двести рублей и уйти. Писарь на это ответил, как и следовало ожидать:

«Даже если мне ничего не заплатят, не хочу быть писарем у таких скотов!» - что взять с апикойреса…

В городе начались радость и веселье: новый сборщик, новый писарь – и Каменец успокоился.

Дед стал чаще ездить к помещикам, делать с ними дела, и чем дальше, тем он становился среди них всё известнее – и настолько, что иногда они сами подбрасывали ему какой-нибудь заработок и советовали друг другу вести дела только с ним.

Со временем он стал у помещиков трёх уездов настоящим ребе: давал им советы, помогал дурить головы (помещики ведь тоже иногда дурят головы), и не будет преувеличением сказать, что иных из них – попавших в переплёт, проигравшихся в карты - именно он снова поставил на ноги. То, что появились у них в имениях винокуренные заводы, маслодавильни, лесопильни и водяные мельницы с цилиндрами– во всё это он влезал своей головой.

Был у деда один необъяснимый изъян: для себя он ничего не искал – как если бы единственным его желанием было – сделать из помещиков людей. Он объяснял это дико и непонятно: если помещики будут богаты, то будет заработок и у евреев. Потому что – куда идут их деньги? К евреям же и идут. И теперь понятно, что когда два помещика спорят, то им нужен Арон-Лейзер, чтобы их рассудить. И если помещик воюет с женой, то он, дед, служит миротворцем.

Ну, он, понятно, имел приличный доход, но он и проживал много. Но главное, что они с Бейле-Раше были очень довольны, что наконец-то избавились от городских дел. Не надо беспокоиться, идёт ли кто-то в раввинский суд или не идёт, платят ли богачи налоги или нет. И так прошло три года.

У помещиков он бывал каждый день. Приезжал на бричке, запряжённой парой лошадей, с кучером-евреем. Возвращался домой обычно ночью. Пили чай. В доме всегда было полно народу – приходили поговорить, спросить совета, что-то перехватить. И постепенно опять укрепились его связи с городом. Сделает помещик еврею какую-нибудь кривду – без Арон-Лейзера не обойдётся. Опять же – одна вещь, с которой никто в городе, кроме него, не мог справиться, это был ревизор, приезжавший проверить ревизские сказки – действительно ли в Каменце имеется не больше, чем четыреста пятьдесят душ, записанных в «сказках»?

«Говорить» с ревизором – на это уже дед был как никто мастер. Такой «разговор» всегда кончался двумястами рублей, которые ревизор опускал в карман. В день ревизии многие дома закрывались, народ уходил из города, куда глаза глядят, и город выглядел мёртвым, как кладбище. Почти не видно было живой души на улицах, ревизор шёл со всей городской полицией и считал души. Всегда находилось примерно четыреста. Пятидесяти не доставало. О них говорилось, что они уехали по делам. И каждый год ревизор уезжал, отметив в протоколе, что всё в порядке.

И этот традиционный «разговор» с ревизором проводился, как сказано, дедом, даже при другом сборщике. Были даже времена, когда он, сердясь на город, отказывался от этой работы, но в конце концов уступал. Не оставлять же город тонуть.

Новый сборщик с новым писарем взяли к себе все книги, бумаги и печать и начали работать. Сборщик созвал депутатов, то есть тех из городской знати, кто был выбран вести городские дела – и устроил заседание. Прежде всего взялись просматривать реестр налогов – только с богатых. С народа дед не брал ничего. Решено было начать брать с представителей среднего и бедного классов, а важным хозяевам сделать облегчение. Стали слать требования об уплате налога беднякам, ремесленникам, не пропустив ни одного бедняка. Снова в городе поднялся шум. Стали бегать ежедневно в общинный дом, кричать и скандалить; и женщины приходили с плачем и проклятьями: что это – у них нет хлеба, и разве мало здесь богачей, которые могут платить! Всё кипело.

Но ничего не помогало. Наоборот – стали вытаскивать добро бедных людей: сковородки, подсвечники, посуду и т.п. домашние вещи, и крик стоял до неба. Пока не приехал асессор и не арестовал нескольких нищих (у асессора было два сарая – один служил для лошадей, а второй был чем-то вроде арестной избы). Стало тихо. Бедняки покряхтели и скрипя зубами заплатили. Понятно, что богачи и хозяева были довольны новым сборщиком.

Но хорошая жизнь богачей со сборщиком продолжалась недолго. Они захотели совсем его оттеснить. Они ведь богатые и знатные, так почему бы ему не быть просто инструментом в их руках, чтобы он с ними во всём соглашался. Понятно, что сборщик, как бы он ни был слаб, не хотел, чтобы его совсем проглотили. И не было такого собрания, на котором бы не шла борьба. Все всегда рвали и метали. И асессор, который обо всём знал, написал исправнику о том, что происходит – что постоянно идёт война.

Кончилось тем, что городская верхушка разделилась на два

лагеря: на тех, кто считал, что не надо брать с бедных, и на тех, кто считал, что надо брать. Каждый старался своему лагерю помочь, и поэтому в городе разгорелся грандиозный спор, что-то вроде войны.

Спор этот разгорался всё сильнее, и тут явился исправник. Арестовали троих из городской знати и пятерых из низов, отправили в Бриск, где они просидели месяц. В городе стало спокойней – если не на самом деле, то хотя бы с виду.

Исправник сменился, уехал в Слонимский уезд, а тамошний приехал в Бриск. Понятно, что один другого предупредил, что собой представляют городские евреи, а также помещики. Брикский исправник, естественно, отзывался плохо о каменецких евреях, а про Арон-Лейзера сказал, что это еврей, который знает дело, и поэтому, когда новый исправник явился в первый раз в Каменец, он прежде всего велел позвать сборщика и городскую знать, прочёл им мораль и сказал, что предыдущий исправник отзывался о них плохо. Он также послал за Арон-Лейзером и предложил ему должность сборщика. Дед заупрямился и отказался. Исправник ему тогда заметил:

«Будешь в Бриске, зайди ко мне».

В то же время состоялись новые выборы нового сборщика с депутатами. Выбрали некоего А.Б. Новый сборщик, человек более энергичный, сначала вёл себя с городской верхушкой мирно. Но не прошло и полугода, как начались споры. Всё та же песня. И когда дошло до набора, когда надо было сдавать в солдаты, тут разгорелся настоящий пожар. Взяли одного портного с тремя маленькими детьми, а тогдашняя служба была двадцать пять лет. Понятно, какое это было несчастье для человека с детьми. Поднялся большой гвалт, в общинном доме выбили все стёкла, надавали оплеух сборщику и депутатам. Разразилась страшная драка, и асессор тут же послал письмо с нарочным исправнику, чтобы тот приехал. Исправник приехал, составил протокол на тридцать человек, самых богатых людей в городе, и их арестовал. Он их всех собирался отправить в Бриск и при этом угрожал, что если они откажутся назначит Арон-Лейзера сборщиком, то он передаст управление городом асессору и его помощнику.

Исправника просили подождать один день, чтобы устроить большое собрание и тогда решить. На собрании, после больших криков решили, что с тех пор, как Арон-Лейзер оставил должность, город стал, как лодка без вёсел и ни в чём нет толка. Бет-ха-мидраш и – не рядом будь помянута – баня совсем запущены. Люди живут и работают в постоянных баталиях, а Арон-Лейзер – хороший хозяин, при нём не будут враждующих друг с другом лагерей. Он, кстати, в хороших отношениях с

исправником, что, конечно, важно.

Исправник получил ответ, что они хотят Арон-Лейзера.

«Ну так идите и попросите его, велел им исправник, - потому что он не хочет».

Городская верхушка, важные хозяева во главе с раввином, явились просить Арон-Лейзера, чтобы он взял обратно вожжи в свои руки. Тот не соглашался. И лишь после того, как исправник пригрозил передать управление городом асессору и взять одного из членов семьи деда в солдаты, ему пришлось подчиниться. Посовещался ночью со своей Бейле-Рашей и между ними было решено, что он должен вернуться на должность сборщика.

«Но только я знаю, - посетовала она, - что это – Божье наказание».

Он велел бросить жребий, и был выбран единогласно. Так он снова стал сборщиком. Сразу же послал за тем же писарем в Бриск, где тот занимался частной адвокатурой. Жена его и дети жили в Каменце. Дед снова стал вести городские дела твёрдой рукой, как прежде, всё шло, как следует, и город успокоился.

Как привычный к власти человек, он продолжал управлять, как раньше, в бытность помесячным старостой, о чём город уже давно забыл. Лишь для вида он приглашал иногда верхушку города на собрания. Сидели и молчали, боялись рот открыть, сказать что-то против. Просто боялись его ума, его власти. Все, к тому же, знали, что никаких денег он с города не берёт, что достаточно зарабатывает своими делами, что для него никакой роли деньги не играют, что вообще на него можно положиться – если он что-то скажет, то так и сделает.

У деда уже были такие люди, которые докладывали ему обо всём, что говорят в городе. И если кто-то выражал о нём плохое мнение, то попадал в «чёрный список» и должен был платить вдесятеро больше налогов, чем прежде, а преданные ему люди, то есть его настоящие друзья, были почти свободны ото всех городских выплат и от военной службы.

Дел с помещиками он не забрасывал, а городские дела вёл писарь. Так прошло несколько лет почти без столкновений.

Я уже сказал, что Арон-Лейзер жил широко. Имея прибыль от коробочного сбора, он получал мясо даром. Готовясь справить свадьбу дочери, он послал во все окрестные города сообщить в синагогах, чтобы все бедняки пришли к нему в Каменец на пир в честь свадьбы дочери, и три дня продолжались пиры. Он закалывал быков, и бедняки съели целую гору мяса.

На двух горах – на Башенной горе и на Адолиной для бедняков кипели котлы, как будто для солдат, и их пришли толпы. Город был похож на лагерь нищих.

На свадьбе играли клейзмеры из Кобрина и от обедов в течение всех семи праздничных дней никто из городских хозяев не посмел уклониться.

Глава 3

«Паника». – Айзикл-мясник.

Свадьбу одной из дочерей он справлял во время «паники». Вдруг распространился слух о новом указе, запрещающем девушкам и юношам вступать в брак до 20-ти лет. И этот указ, вышедший в году 5592 (1842), вызвал знаменитую панику по всей Литве и Волыни. Где только имелись восьмилетнего возраста дочь или сын – устраивали свадьбы, а чтобы не узнала полиция, устраивали тихо, тайно, без лишних церемоний.

Родители встречались, приводили мальчика и девочку в дом одной из пар родителей, ставили в комнате хупу при участии миньяна евреев, выпивали вина, закусывали куском пирога – и довольно. Потом отец брал мальчика, покупал ему талес, и уже назавтра он молился в талесе[71], но без тфиллин[72]. Также и отец невесты – брал «жёнушку», брил ей волосы на голове, надевал чепчик с лентами, и «женушка» с «муженьком» и не знали, что они теперь муж и жена.

Родители часто сводили детей вместе, чтобы они получше познакомились друг с другом. И как они раньше играли и шалили, как свойственно детям, так продолжали и дальше. Часто в драке «муженёк» срывал с головы «жёнушки» чепчик с лентами и смеялся над тем, что она ходит с бритой головой и кричал, что у неё парша. И она возвращалась домой с плачем, и ей говорили, что она не должна ходить с непокрытой головой, снова надевали на неё чепчик с лентами, приговаривая, что если она ещё раз вернётся домой с непокрытой головой, её отшлёпают. В двенадцать лет им сообщали, что они муж и жена и желали произвести хорошее потомство. Жену обучали всяким женским законам, потом их оставляли вдвоём, научив, как себя вести.

В год паники всем маленьким детям в Каменце справили свадьбы. Несколько хозяев собирались вечером, договаривались в ту же ночь породниться, и в 10 часов вечера детей уже будили:

«Вставай и иди к хупе», - говорили сонному ребёнку. Помню рассказ Айзика-мясника о том, как он женился:

«Мне было восемь лет, я лежал в кровати одетый и спал. Мама меня будит:

«Айзикл, Айзикл, вставай, иди к хупе!».

Что хупа, где хупа, – я ничего знать не знаю и не хочу вставать. Мать зовёт отца, чтобы он меня поднял. Он по-отцовски кричит:

«Вставай, Айзик, пойдёшь к хупе!»

Я говорю: «Никуда не хочу идти, хочу спать».

Отец говорит: «Вставай, тебе говорю».

«Не хочу». Отец даёт мне оплеуху, приговаривая: «Вставай!».

Я плачу, отёц берёт плётку и меня хлещет. Тут я, понятно, совсем проснулся, встал с заплаканными и сонными глазами и спрашиваю:

«Куда идти?» Он говорит:

«К хупе».

«Где хупа?»

«Идём к свату, там будет хупа».

Я ещё ничего не понял из того, о чём со мной говорит папа: какие сваты, какая хупа? И опять говорю:

«Не пойду».

Но отец снова берёт в руку плеть, и я замолкаю. Мама меня моет, надевает пальто, застёгивает штаны и велит надеть шапку. Шапки не было, я её куда-то дел, когда играл перед сном. Началась история с шапкой, и отец сказал:

«Если бы тебе не идти к хупе, задал бы я тебе за шапку».

Тем временем уже пришли от свата спросить, отчего задержка. Все искали и не находили шапку, и был переполох. Что делать? Было уже около двенадцати. Папа с мамой очень боялись, что сват тем временем передумает, и у них стало плохо с сердцем. Стали думать, кого бы разбудить, чтобы достать мальчику шапку до утра. Думали, думали и ничего не придумали. Тем временем стало поздно.

Плохо дело, нет шапки. Папа с мамой просто не могли вынести такой неприятности. Но делать нечего – не пойдёшь к хупе без шапки. Папа пошёл к свату и попросил отложить свадьбу до утра, так как жена нездорова. Папа там задержался, и мама не могла сидеть спокойно. Слава Богу – папа вернулся и сказал, что хупа состоится завтра, в десять часов вечера.

Назавтра мне купили шапку. Утром я был в хедере в отцовской ермолке и рассказал мальчикам, что папа меня хотел взять к хупе, но у меня не было шапки, и я не пошёл. Сегодня мне папа купит шапку, и я пойду к хупе.

Бейниш, сын жестянщика, сказал, что вечером он таки стоял под хупой с Двойрой, дочкой Баруха-столяра. Вокруг них покрутились, что-то сказали, дали кольцо, которое он надел Двойре на палец. Отец сказал вместе с ним молитву, а потом плясали, ели коврижки и лепёшки с селёдкой, и это было очень вкусно.

Я пришёл из хедера, и мама мне надела новую шапочку с каёмкой. Я спросил:

«Ну, когда я пойду к хупе?» Мама сказала:

«Не надо так крепко сегодня спать. Тебя с трудом подняли». Я сказал:

«Сегодня уже не пойду спать до хупы».

Но в девять часов я снова уснул, и меня с трудом подняли. Я пошёл с папой и мамой к хупе. Пришёл и увидел Зисль, девочку, с которой в прошлую субботу в доме её дяди мы подрались. Она плохая, мы с ней не водимся.

Потом поставили хупу, подвели меня под неё и примерно через минуту привели Зисль и поставили рядом. Я отбежал и крикнул:

«Не хочу стоять с Зисль под хупой, я с ней не вожусь». Мама говорит:

«Айзикл, это ж твоя невеста». Я говорю:

«Не хочу Зисль в невесты, дайте другую невесту!» И не желал стоять вместе с Зисль под хупой.

Отец уже начал, как обычно, говорить со мной сердито, но я не соглашался, и он сказал:

«Вот пошлю кого-нибудь домой за плетью и хорошенько тебе всыплю – только попробуй не встать под хупу. А ну дайте сюда пару розог, и я тут же этого жениха проучу». Зисль говорит:

«Очень хорошо – это за то, что он меня в субботу таскал за волосы. Я с ним тоже не стану под хупу». Та же история началась с невестой – сначала – просьбы матери, потом угрозы отца плетью.

Короче, проходит два часа, а «жених и невеста» не хотят стоять под хупой. Приглашённые для миньяна гости уже хотят уйти. Уже взяли веник и начали выдёргивать прутья для нас с Зисль. Мы разревелись и так, плача, стояли под хупой.

Мне велели взять её палец и надеть на него кольцо. Я не хотел брать её палец. Отец мне дал оплеуху и пригрозил плетью. Я взял её палец, сердясь, что меня принуждают брать её палец. Я её ущипнул. Она заплакала. Отец Зисль дал ей два злотых, а мой дал мне два злотых, чтобы мы помирились. Я уже взял её палец и произнёс благословение вслед за дедом, сказал «мазл-тов» и стал танцевать. Потом меня посадили за стол вместе с Зисль и кормили печеньем и вареньем. Зисль вдруг заплакала. Её мать спросила:

«Что ты плачешь, Зиселе?»

«Хочу пи…»

Её вывели.

Я сказал:

«Я тоже хочу».

Меня вывели тоже, а потом мы сидели рядом. Потом мы

задремали, и моя сестра Хая повела меня домой, и Зисль тоже уложили спать.

Если была мне какая-то радость, то оттого, что я две недели не ходил в хедер со вторника до воскресенья. Назавтра к нам пришёл на обед сват, сватья и Зисль с бритой головой и в чепце до самых глаз. Мама сварила на обед курицу. В будние дни мяса не ели, разве что был какой-то праздник. Тогда тот, кто празднует, давал деньги мяснику за корову или телёнка и договаривался с ним, сколько будет стоить фунт мяса. Был один мясник, закалывавший на всю неделю телёнка. Он доставлял мясо таким господам, как асессор, писарь, нескольким богатым горожанам. А что оставалось от этого заказанного телёнка, продавал помещичьим экономам.

После еды Зисль осталась у нас. Но она мне со своим чепчиком не нравилась. Только мы начали играть, как я с неё сдёрнул чепчик, увидел белую бритую голову и закричал:

«Фэ, парх, парх!»

Ей стало стыдно и она заплакала. Отец на меня рассердился и выпорол на глазах у Зисль (он меня порол часто), перечисляя во время порки мои прегрешения:

«Не срывай чепчик Зисль, не дразнись «парх»!».

А я кричал и плакал под розгой:

«Я больше не буду, папочка!».

Меня пороли, а Зисль в этот момент перестала плакать и начала смеяться. Потом её отвели домой и мы снова поссорились: она – от позора, который я ей причинил, а я – из-за порки, которая мне из-за неё досталась.

Назавтра папа с мамой пошли к свату на обед, а я отказался. Только сваты друг с другом праздновали, а мы с Зисль не встречались. В субботу сват собрал у себя миньян и отец взял меня на молитву. Меня позвали к Торе шестым, как подобает молодожёну после свадьбы. Поставили скамеечку у пюпитра для чтения, и отец со мной вместе произнёс благословение. Ещё раньше он мне заказал маленький талес через Довида-балагулу, чтобы тот привёз из Бриска, а после молитвы подавали лекех с вином. Меня усадили за стол, но Зисль со мной сидеть отказалась.

Так месяца два мы были в ссоре. Пришёл Песах, и мама пригласила Зисль в гости на праздник. Все хотели, чтобы мы уже помирились. Мама нам дала орехов и тёща тоже дала орехов, чтобы мы играли. Я был единственным сыном и задавал четыре вопроса[73], и Зисль как видно понравилось, как я задаю вопросы. Потом мы играли в орехи оба праздничных дня. На другие дни пасхальной недели меня звали в дом тестя, куда меня отводила

мама. Целый день я проводил у тестя, играл с Зисль, а вечером приходила мама, забирала меня домой, а наутро снова отводила к тестю.

Последний день Песах я целиком провёл с Зисль, играл в орехи. Она так хорошо научилась, что играла чуть ли не лучше меня. Я рассердился, опять сорвал у неё с головы чепчик и у меня невольно вырвалось:

«Парх!»

Этим я себе произнёс приговор. Зисль с громким плачем кинулась к своей матери, и та с большой злостью мне отвесила оплеуху, а отец сказал, что позаботится о том, чтобы раби меня в хедере выпорол. Я убежал домой, и тут же появился тесть с жалобой на меня: такой распущенный мальчик, надо его выпороть, чтобы он раз навсегда запомнил.

Сообщили раби, чтобы за сдирание чепчика с головы Зисль и крики: «парх» меня как следует высекли. Раби с большой строгостью исполнил приговор, и больше я ни разу не сорвал с неё чепчик и не обозвал нехорошим словом. В ссоре мы были целый год, до следующего Песаха.

На Песах тёща снова привела к нам Зисль, и обе мамы буквально выложились, чтобы помирить «молодую пару».

Мы помирились и больше не воевали. Волосы у неё тем временем отросли, чепчик она постоянно снимала и мы им пользовались для игры в орехи, как прежде пользовались для этой цели моей ермолкой.

Когда нам исполнилось по двенадцати лет, мой отец мне открыл тайну, что мы есть муж и жена. То же Зисль сказала её мама, и тогда нас свели вместе.

Мама научила Зисль, как себя вести с мужем, а меня научил отец, как должен себя вести я. Мы стали мужем и женой, и так и живём, слава Богу, до сегодняшнего дня.

Иногда она даже ругается, но я уже привык и не отвечаю. Сейчас, слава Богу, мы выдаём замуж дочь, пусть она будет счастлива».

Эта правдивая история, которую я специально передал подробно, очень характерна для того времени.

Так себя вели все молодые пары. Мальчика забирали домой его родители, а девочку – её. И часто сводили вместе, чтобы они играли, и если они были соседями, то продолжали играть, как прежде. Они часто дрались, он срывал с неё чепчик, и отец его наказывал розгами, как и до этого.

Бить детей было обычным делом. Из-за малейшей провинности сразу били. Били мальчиков, молодых хозяев – то есть 14-15-тилетних, уже имеющих своих детей, и били матерей,

имеющих своих детей.

Но надо отметить, что, как это ни странно, большинство таким образом женившихся, повзрослев, жили потом хорошо. Муж с женой друг друга уважали и любили. Лишь малая часть продолжали скандалить и должны были разойтись.

Паника, как сказано, продолжалась не больше года.

Когда слух об указе дошёл до Каменца, городская верхушка обратилась к деду за разъяснениями. Поскольку дело это было по тем временам очень важное, Арон-Лейзер поехал в Бриск и расспросил исправника. Тот ответил, что нечто подобное действительно поступило от министра. Из Петербурга, например, пришла к губернатору бумага с запросом: сообщить, в каком возрасте женятся евреи, поскольку известно, что солдаты-евреи почти все имеют по несколько детей, и исправник предположил, что министр наверное издаст указ, чтобы до двадцати лет молодым людям не жениться, а также и девушкам. И по возвращении Арон-Лейзера в Каменец началась паника.

В Бриске паника началась раньше, и каменецкие жители пока ничего не предпринимали. Они смотрели на Арон-Лейзера. А он не хотел отличаться ото всех евреев и выдал дочь замуж в одиннадцать лет.

Глава 4

Мой отец Мойше. – Его влечение к хасидизму. – Шидух[74]. – Раввин реб Лейзер из Гродно. – Моя мать. – Мой отец как пламенный хасид. – Его побеги к ребе. – Его борьба с дедом. – Аренда. – Ревизор. – Каменецкие хасиды.

У Арон-Лейзера был сын Мойше, способный юноша. К двенадцати годам дед стал рассылать сватов, которым заявил, что хочет для своего сына Мойше дочь раввина – и большого раввина.

Шадхан[75], реб Берл-Михель, ему сообщил, что у местного раввина есть брат, гродненский раввин, реб Лейзер, зять реб Гилеля. А реб Гилель – зять реб Хаима Воложинера. То есть – полный ихус. И у этого реб Лейзера есть дочь на выданье, но сват сомневается, есть ли смысл говорить о шидухе с сыном сборщика.

«Попробуй это устроить через нашего раввина, - посоветовал шадхан. – Если он согласится, это поможет шидуху».

Арон-Лейзеру идея понравилась, он послал шадхана к раввину, но тот его прогнал.

«Довольно нахально, - сказал раввин сердито, - предлагать моему брату-гаону шидух с каменецким сборщиком».

Арон-Лейзер, долго не думая, сам поехал к раввину и сказал ему так:

«Вы знаете, раби, у меня есть очень хороший юноша двенадцати лет. Вы о нём, конечно, слышали …»

«Я слышал, что у вашего мальчика хорошая головка», - учтиво ответил раввин.

«А я слышал, что у вашего брата реб Лейзера, гродненского раввина, есть девушка на выданье, и я хотел бы с ним породниться. Денег, сколько понадобится, я дам. А вас попрошу быть шадханом: я знаю, что если вы посоветуете своему брату, он вас послушает. Шадхан Берл-Михл меня даже предупредил, что вы сильно на него рассердились, - продолжал дед, - как это он пришёл предлагать вашему брату-гаону сборщика? Но я вам, ребе, скажу кратко: предлагаю два варианта – или вы берётесь за этот шидух, или ищите другой город. Время даю до после субботы. Откажете мне в шидухе – в тот же день покинете Каменец».

Понятно, что тут проявился весь деспотизм и дикий нрав деда.

Раввин смертельно побледнел. Он знал, что как Арон-Лейзер скажет, так и сделает. Да и кто ему помешает? Раввин попросил

подождать с ответом две недели. Арон-Лейзер согласился.

Раввин позвал несколько важных хозяев, рассказал всю историю и спросил совета. Хозяева поразились жестокости деда, поскольку это было убийственно – принуждать породниться со сборщиком такого гаона, всесторонне связанного с величайшими гаонами: великий гаон реб Лейб-Иче – брат раввинши, реб Гилель – её отец, реб Хаим из Воложина – дед, реб Ицеле из Воложина – дядя. Великий гаон реб Ехезкель, зять Виленского гаона - отец реб Лейзера; реб Шмуэль, уездный раввин в Минске – его дед; реб Симха, бывший гродненский раввин – второй дед, и ещё трое братьев – гаоны и раввины в больших городах.

Но если Арон-Лейзер сказал – дело пропащее, он своего добьётся. Чего он только ни добивался! И они ничего не могли посоветовать.

Решено было, что он напишет брату, реб Лейзеру из Гродно, и как тот ответит, так он и сделает. Послал письмо и получил совсем неожиданный ответ, такого, примерно, содержания:

«Я вижу, брат, что это так суждено Богом. Таково, видно, его желание и приходится радоваться его приговору. Хотя бы жених – хороший мальчик? Если из него может получиться настоящий знаток – пусть сватается».

Раввин отнёс письмо Арон-Лейзеру и показал ему. Тот, конечно, очень обрадовался.

«Вы, раби, теперь получите от меня в придачу ещё рубль жалованья в неделю, - потирал он руки в восторге. – Надо съездить в Гродно, взглянуть на девочку. Вдруг она, не дай Бог, калека или безобразная? Я своего Мойшика очень люблю и хочу для него подходящую жену, кроме ихуса».

В Гродно он поехал вместе с раввином, и девушка ему понравилась. Составили условия и оговорили приданое в тысячу рублей. Он им предоставлял три года содержания у себя в Каменце, брал сыну меламеда, потом посылал их в Гродно, где зять будет учиться у тестя, а он будет слать деньги на содержание.

Жениху Мойше было в момент составления условий тринадцать лет, а невесте Саре – восемнадцать или девятнадцать лет. Неудивительно, что отец её так быстро согласился.

На свадьбу съехались раввины всей семьи, и свадьба действительно была большая, восемь дней кутил город, вино доставляли бочками, и народ пил на чём свет стоит.

Родители с раввинами уехали довольные: свадьбы такого размаха, чтобы веселился весь город – они не видели. Правда, они не знали, что большинство, кто пришёл угощаться, это сделали не от любви, а от страха.

Для Мойше Арон-Лейзер искал какого-нибудь большого знатока на роль меламеда. Он хотел, чтобы его сын тоже стал раввином. Шутка ли – он ведь теперь среди раввинов и гаонов! Он привёз из Бриска некоего реб Ореле, редкостного знатока, собрал вокруг сына ещё трёх мальчиков из богатых и учёных семей, реб Ореле дали сто рублей за один срок для обучения всех четверых мальчиков, бывших уже женихами. А в те времена двадцать пять рублей за срок – считалось хорошим жалованьем.

Арон-Лейзер, однако, полностью просчитался. Не знал он, что реб Ореле – большой хасид, который внушит своим ученикам хасидизм, сделает из них пламенных хасидов, а не раввинов, и что после свадьбы они тут же сбегут к Мойше Кобринеру, который был для реб Ореле ребе.

Понятно, что Арон-Лейзер был рьяным миснагидом, а раввин - тем более, и когда к нему пришла как-то раз еврейка из Заставья и пожаловалась, что сын её стал хасидом, он ей велел «порвать одежду» и сидеть шиву[76]. А брат его, реб Лейзерке, гродненский раввин, уж конечно был горячим миснагидом – как-никак – из детей реб Хаима Воложинера!

И таки сразу после свадьбы Мойше ускользнул из дому и уехал в Кобрин к ребе. Мойше понимал, какая война ему предстоит с отцом, он его хорошо знал. Он также знал, что разрушает семью тестя, гаонов из мигнагидов, что он буквально наносит удар своему праведнику-тестю, желавшему, чтобы зять его стал раввином, что абсолютно невозможно для хасида.

Он, однако, ни на что не смотрел и делал по-своему. Он не был похож на отца, скорее был его противоположностью – идеальным ребёнком, тихим и очень благочестивым. Но даже и зная, что причиняет близким большое горе своей приверженностью хасидизму, он на это не посмотрел. Так его влекло сердце, и он должен был ему следовать.

Нечего говорить, какой это был удар для Арон-Лейзера. Тут ему сын смешал все его планы. Он так добивался, чтобы получить сватом гаона, а сыном – раввина: что может быть лучше? И вот – на тебе!

Он и представить себе не мог, что с его сыном такое случится. Для него это было ужасной неожиданностью. Реб Ореле-меламед знал, что как только Мойше уедет к ребе, Арон-Лейзер разорвёт его на части, и тут же удрал. О побеге его Арон-Лейзер не знал, он послал за ним двух десятских, но услышав о побеге, послал к асессору, прося шестерых десятских, которым что он скажет, то те бы и сделали. Асессор такого делать был не должен, но учитывая хорошие отношения деда с исправником, просьбу выполнил.

Арон-Лейзер послал десятских сорвать крышу с дома реб Ореле, купленного вскоре по приезде в Каменец. Но брат Арон-Лейзера Мордхе-Лейб этого не допустил: так евреи не поступают. Ясно, что опоздай Мордхе-Лейб на час, дом Ореле уже был бы разрушен.

После этого Арон-Лейзер послал курьера, одного из видных хозяев, в Кобрин, сказать ребе, что если тот хочет сидеть в Кобрине спокойно и вести там своё учительство, чтоб сию минуту прислал сына и поклялся его больше к себе не заманивать.

Но ребе, бедняга, ничем не мог в этом помочь. Юный четырнадцатилетний Мойше стал пламенным хасидом и заявил:

«Ребе, душа моя связана с твоей, я тебя не покину до смерти».

Курьеру ничего не оставалось, как передать Мойше от имени отца, что если он тут же не вернётся домой и не поклянётся, что не будет хасидом, то нога его больше не переступит отцовского порога.

Прожив несколько недель у ребе, Мойше стал ещё более рьяным хасидом. Он знал, что не может вернуться домой и стал писать отцовскому свату, реб Зелигу Андаркесу[77], спрашивая, не может ли он, Мойше, к ним приехать и не возьмётся ли тот его защитить от отцовского гнева. Зелиг написал, что берёт на себя эту миссию – он может приехать к нему в Каменец. Мойше прожил несколько месяцев у Зелига и у кобринского ребе. Тесть его, р. Лейзер из Гродно, при этом ничего не знал: его не хотели огорчать.

Тем временем Сара, жена Мойше, родила мальчика, и об этом сообщили р. Лейзеру. Он приехал на обрезание и остановился у брата-раввина. Там он узнал всю историю, что стоило ему много здоровья. Надо же – какая неудача с дочерью: сват сборщик, а зять хасид, что хуже всего на свете. И ясно, как день, что раз кто-то хасид, то его дети, внуки и т.д. тоже будут хасиды. И так поколения уйдут к хасидам. Он решил, что если дочь этого захочет, развести её, и отправился к Арон-Лейзеру, чтобы с ней повидаться. Тот его принял с большим почётом. Гродненский раввин попытался поговорить с дочерью и выяснить её мнение, но тут же понял, что дочь Сара страшно любит своего мужа. Она сожалеет, что он пребывает в чужом месте и что тесть его не пускает на порог и не пустил даже сейчас, на обрезание сына.

Тут р. Лейзер ясно увидел, что всё пропало, и считая, что это – Божья кара, а что Бог делает, так тому и быть – и он, большой миснагид, взялся примирить своего свата с сыном. И после больших трудов ему удалось убедить того просить сына.

И тогда раввин с р.Лейзером пришли вместе с Мойше к Арон-Лейзеру. Мойше бросился к тому как бывало, с плачем, прося

остаться для него отцом. Что касается хасидизма, то ничего не поделаешь: это такая вещь, от которой не избавиться даже ценой смерти. Отец себя дал уговорить, и настал мир.

Понятно, что обрезание Арон-Лейзер устроил с исключительной щедростью, по-царски, но когда дошло до того, чтобы дать мальчику имя, то р. Лейзер захотел, чтобы его назвали по имени его отца, р. Ехезкеля, зятя Виленского гаона, а Арон-Лейзер хотел, чтобы ему дали имя его отца, помесячного старосты, реб Вельвеля. Под конец сошлись на двойном имени – Ехезкель-Зэев. Мальчик, из-за которого шла борьба, был я, а мой отец был меня старше на четырнадцать с половиной лет.

Дед снова полюбил отца, а отец открыто и свободно предался своему хасидизму. Каждый день, даже зимой, он ходил, спускаясь по восьми ступенькам, покрытым толстым слоем льда, в микву, с шершавыми, в больших дырах, стенами. И даже съездил к ребе в Кобрин, прося его специально поехать к отцу в Каменец, чтобы тот позволил реб Ореле вернуться в город и учить там детей. Реб Мойшеле, ребе, так и сделал: отправился в Каменец и приехал прямо к Арон-Лейзеру и его сыну. Ребе учтиво приняли и даже приняли его просьбу. Кобринский ребе, реб Мойшеле, играл очень большую роль среди хасидских цадиков. Написали реб Ореле, что он может вернуться, и тот не заставил себя долго просить. Приехал и снова стал учить хозяйских детей, из которых медленно, но верно «сделал» двенадцать хасидов, среди них – Ехезкеля – очень способного, выдающегося сына каменецкого раввина, выдающегося, прямо таки мудрую голову.

Новоиспечённые молодые хасиды сняли тогда для молитвы отдельный штибль[78]. Отец мой постарался у своего отца, чтобы тот позволил хасидам молиться в отдельном штибле. Он уже кончил учить Гемару, больше занялся Зогаром и мидрашем и постигал хасидизм с помощью погружений в микву и песнопений. Так он проводил дни и ночи, а о том, чтобы стать раввином, уже не было речи.

Дед хотел, чтобы он начал ездить с ним к помещикам. Но сын не хотел разговаривать с помещиками, тем более, с помещицами. Деду пришлось подыскать ему какое-нибудь небольшое дело.

Дед тем временем женил второго сына, Йоселе. Тут уж он выбрал себе сватом аристократа из Белостока. Прозвали его реб Шимон Дейч, поскольку он уже тогда вёл жизнь аристократа. Он имел красивых дочерей. Старшая его дочь Йохевед была знаменитой красавицей, и в то время, как первая невестка моего деда, дочь раввина, которую он не любил, совсем не была красивой, ему посоветовали посвататься к семье совсем другого рода, где носят на руках бриллианты и нитку хорошего жемчуга

на шее.

Йосл тоже стал хасидом, для обоих должны были найти какое-то дело, и дед замыслил на этот счёт обширный план.

В Каменце нельзя было купить спиртного иначе, как у Осеревского, местного помещика. Ему также полагалась, как описано выше, пошлина за соль, табак, свечи и т.п., по пять копеек с каждой лошади, въехавшей в город во время воскресной ярмарки, а также за пользование трёмя водяными мельницами. Всё это принадлежало Осеревскому, а надо всем стоял управляющий. Но управляющий так всем управлял, что до помещика мало что доходило: обманывая по обычаю Осеревского, управляющий большую часть оставлял у себя в кармане.

Как-то при посещении Осеревским его поместья Пруски дед к нему обратился и предложил, чтобы тот передал ему аренду на все те вещи. За аренду он ему даёт двенадцать сотен рублей в год, в то время, как сейчас он за них имеет шиш. Осеревскому это понравилось, и был заключён на три года контракт.

Дед получил аренду, что для города было новшеством. Все поэтому удивились его смелости. Кто может ссориться со всем городом? А что если таки ввезут контрабандой вино и не захотят платить? У кого есть силы для такого тяжёлого дела - сторожить целый город, чтобы точно платили, чтобы не воровали, когда воруют всегда?

Получив контракт, дед поручил шамесу старого бет-хамидраша созвать всех в понедельник вечером на собрание. Конечно явился весь город. Когда Арон-Лейзер устраивает собрание, нужно приходить, иначе заплатишь дороже. Он позвал писаря, Й.Х., чтобы тот объявил с подмостков, что отныне никто не должен покупать вино, иначе, как у реб Арон-Лейзера, платя пошлину с каждого горшка - 27 грошей шинкари и 18 – прочие. То же – и в отношении пива и всего того, за что до сих пор платили управляющему. Аренда теперь переходит к нему. Одновременно он жертвует в пользу города триста рублей – сумму, которую он готов выплачивать ежегодно.

Поднялся шум. Но в глазах появился страх и люди понемногу разошлись. Потом он велел позвать к себе всех шинкарей и сказал им, что продажу спиртного следует организовать по-другому. До сих пор каждый, у кого только был дом, мог продавать спиртное крестьянам. Это вредило торговле – за рюмку брали гроша четыре. Но теперь, когда он взял аренду, спиртное будут брать у него, и он будет насчитывать грошей двадцать семь за горшок. Они должны остерегаться торговать контрабандным вином, и тогда эти двадцать семь грошей получить будет нетрудно.

И ещё предупредил:

«Прежде, когда управляющий Почеша вас ловил, он вас бил. Я вас, Боже сохрани, бить не велю, но тот, кто будет заниматься контрабандой, лишится своего шинка. Выручать вы должны по три копейки за рюмку. Я вам привёз из Бриска рюмки, которые кажутся большими, но в каждую вмещается совсем мало. Вы должны держать только эти рюмки, и никаких других. Рюмки все одинаковые, и будет вам прибыль. Особенно важно как можно меньше конкурировать друг с другом в смысле прибыли».

Шинкари собрались у деда и определили количество занятых этим делом на следующие три года, которое не следовало превышать. Каждый шинкарь должен был взять патент, чтобы покупать открыто и свободно. При этом дед обязался одолжить деньги тем шинкарям, кто не мог оплатить патент. Он знал, как организовать дело.

Когда всё было устроено, дед передал аренду отцу и дал ему в компаньоны своего брата, Мордхе-Лейба. С помещиком было обговорено о доставке тому того количества спиртного, какое ему требовалось.

Акциз за водку осуществлялся так. У владельца винокуренного завода сидел представитель акциза (смотритель), который должен был следить, сколько продаётся спиртного. Поскольку покупать приходили бочками, смотритель измерял, сколько вёдер вмещает бочка, запечатывал акцизной печатью и выдавал хозяину свидетельство о том, что его бочка вмещает столько-то и столько-то вёдер. Потом отмечал, что продано столько-то вёдер. Акцизную пошлину хозяин винокуренного завода должен был доставлять ежемесячно в Бриск, в акцизную палату.

В городе тоже был такой смотритель, следивший за тем, чтобы шинкари правильно продавали водку из запечатанной бочки. Бочка без акцизной печати означала контрабандную водку.

В Каменце дед открыл шинок, и туда привозили до пятидесяти вёдер спиртного, то есть, до двухсот горшков. Помещик при таком большом сбыте не хотел возиться с налоговым учётом, и дед это взял на себя. Каждый месяц слал в Бриск акцизные деньги, и у амбара стояли мешки с медными и серебряными монетами, для перевозки которых требовалось несколько лошадей.

В пятницу весь город приходил за вином для субботы. В этот день помогала в торговле вся семья, наливая из бочек в бутылки.

Теперь, когда акцизные счета стал вести дед, у нас сидел смотритель и запечатывал купленное акцизной печатью. И когда приходили шинкари, каждый со своим бочонком, смотритель запечатывал бочонки, следя за тем, чтобы шинкари не избегали

акцизного учёта. Отец ставил свою печать, чтобы шинкари торговали водкой не иначе, как в рамках его аренды. Итак, на каждом бочонке было две печати на длинном шпунте, с указанием, сколько вёдер вмещает бочонок.

Отец со смотрителем раза два в неделю, по желанию, устраивали проверку по всему городу. Заходили к шинкарям, срывали с бочек печати и проверяли шпунтом, сколько осталось вина.

Так делали регулярно. Иной раз устраивали внезапную проверку, посылая человека, Хацкеля, с несколькими - сколько было нужно - гоями от урядника. В десятских никогда не было недостатка: через исправника дед получал столько десятских, сколько нужно – ему никогда не отказывали. Но во-первых, шинкари были осторожны, во-вторых, они часто сиживали у нас в конторе, стараясь вести себя, как свои люди, как добрые друзья, что мешало проводить ревизию.

Шинкари сидели у нас, спиртное имелось, подавали также жареных гусей, и всегда было веселье. Надо отметить, что всем шинкарям при деде было хорошо, а иные и разбогатели.

Что касается других налогов – на соль, свечи, табак и др. – это его мало интересовало. Но всё шло гладко.

Как-то раз дед был в Бриске у исправника. Тот ему рассказал, что от губернатора послан специальный ревизор с особыми полномочиями для проверки ревизских сказок по всей губернии, поскольку получено много сообщений о том, что больше двух третей населения умышленно не записано. И он, исправник, боится, что у него в уезде ревизор обнаружит особенно крупное жульничество, из-за чего он может потерять должность.

Дед спросил, знает ли он этого человека. Исправник ответил, что знает хорошо. Это большой гордец, совсем не умён, обижается от каждого пустяка, но человек честный и прямой.

«Ну, если так, - сказал дед, то вы должны постараться, чтобы первую ревизию в Брисксом уезде он провёл в Каменце, и всё будет в порядке».

Настал день, ревизор начал объезд губернии, уже были слухи, что во многих городах обнаружены фальшивые сказки, и было похоже, что главам общин в городах грозит Сибирь.

Понятно, что на губернию напал страх и ужас: говорили, что ревизор чинит форменный разгром. Исправник, хотя и надеялся на деда, был сильно напуган: шутка ли, можно лишиться должности, если сказки окажутся неверными. Он написал каменецкому асессору, что когда ревизор приедет в Каменец, тот должен устроить жильё у Йони Тринковского, а не у себя, как делалось всегда. Асессор пусть держится в сторонке, не ставит у

дверей ревизора десятских – короче, не показывает виду, что ему что-то известно. Всё это – по совету деда.

Ревизор, наконец, приехал. Асессор его тут же принял и доставил на квартиру к Тринковскому, в приличные меблированные комнаты, с серебряными столовыми приборами для помещиков. Дед о его приезде знал за два дня. Созвал руководителей общины, предложив, чтобы все не записанные в сказках покинули за день до того город, даже и матери с малыми детьми. Ни одного не записанного в сказках быть не должно, и в отличие от двухсот рублей, которые обычно дают ревизору, он, дед, даст ему на этот раз триста и надеется, что всё кончится хорошо.

Совет был принят, и руководство общины отправило из города всех не числящихся в сказках. Ревизор приехал в своей запряжённой тройкой карете в десять часов утра. В двенадцать дед уже послал лакея-еврея к нему в кабинет сообщить, что явился сборщик и хочет с ним поговорить. Ревизор предложил войти.

Дед, который заранее попросил Тринковского, хозяина гостиницы, позаботиться, чтобы во время его разговора с ревизором в соседних комнатах никого не было, вошёл в номер и закрыл за собой дверь.

Начал дед, по своему обыкновению, очень смело и оригинально:

«Барин, сказки у евреев действительно неверные, и это знает даже царь, что есть лучшее доказательство, что ничего тут не поделаешь. Так было всегда. Только все ревизоры, приезжавшие для проверки сказок все годы, брали двести рублей, расписывались, что всё в порядке и с миром уезжали, а ты – немного упрям. Я тебе даю триста, и оставь нас в покое, потому что – ясно, как то, что я есть еврей – ничего ты тут не добьёшься. И, если угодно, будет-таки несправедливо, если ты здесь учинишь разгром и пошлёшь кого-то в тюрьму».

Ревизор вскипел:

«Я вас всех, мошенников, в Сибирь сошлю, - закричал он, - а тебя – первым!». Дед не долго думая отпустил ему две горячих оплеухи и, как бы между прочим, ехидно и спокойно заметил:

«Знай – у двери стоят наготове мои люди, тебя унесут на простыне, прямо-таки пришёл тебе конец… Но если хочешь спастись – мне от тебя нужно одно: поклянись, что сейчас же уедешь и навсегда откажешься от такой бандитской должности». И чтоб сильней того напугать, закричал:

«Кивке, Хацкель, Берке – скорей сюда!»

Ревизор, вконец потрясённый полученной оплеухой, встал на

дрожащих ногах и сгорбившись, смертельно бледный, обещал чуть слышно деду немедленно уехать. Слегка приведя себя в порядок, он вышел вместе с дедом из номера и велел запрягать лошадей. Примерно через полчаса его уже не было в Каменце.

Через пару дней исправник прислал деду благодарственное письмо со множеством комплиментов и с приглашением приехать в Бриск. Там он рассказал, что ревизор к нему пришёл и сообщил о своих впечатлениях от поездки. Об оплеухе не рассказывал. Его мнение было, что сказки везде фальшивы, и чтобы привести их в порядок, нужны совсем другие средства: изменить в корне порядок записи в них. Приехать раз в год – ничего не даёт. И даже один еврей – сборщик из Каменца - определённо утверждал, что сказки спокон веку фальшивы…

Тут уже ему дед рассказал всю историю, с оплеухой и угрозами, от чего исправник пришёл в такой восторг, что тут же, трясясь от смеха, влепил деду в голову несколько поцелуев.

«До чего умён! – Продолжал он восхищаться. – Бесподобен! Но скажи мне всё-таки – как это ты решился на такой опасный поступок?»

На это ему дед ответил, что полагался на слова исправника, который сказал, что ревизор не очень умён, но гордец, и такого малого хорошо бывает побить и попугать. И легче всего – дать с глазу на глаз оплеуху – такой постесняется в этом признаться.

Исправник был восхищён.

Через несколько месяцев приехал другой ревизор. Дед ему дал двести рублей, и тот с миром уехал. Дед подкрепил аренду на водку, а остальные выплаты, причитающиеся за мельницы и т.п. вещи – сдал за девятьсот рублей. Так у него осталось всего на триста рублей аренды.

Сам дед держал шинок, и брат его держал шинок, и оба не имели патентов… Торговали свободно и открыто. За эту свободу и за помощь, в случае надобности, дед платил асессору пять рублей в месяц.

Покупка большого количества спиртного требует больших сумм акцизных денег, и часто это бывает трудно. Дед закупал много спиртного в Польше, где не было акциза. Наливали по ночам в бочку спиртное, а печати брали у смотрителей, якобы, чтобы тех не утруждать. Готовили много печатей на листках, которые прикреплялись на шпунтах. Таким образом запечатывались бочки акцизной печатью. Иной раз смотритель, перед отъездом домой, оставлял печать на ночь: зачем её тащить домой! За что получал от деда пятнадцать рублей, кроме обычного жалованья.

Так привозили из Польши спирт и продавали вместе с

водкой, за которую платили налог.

У польского спирта был лучше запах, что было даже недостатком, выдавая её присутствие. Чтобы себя обезопасить, распространяли слух, что в спирт добавляют такие душистые капли, от чего его ещё больше хотели пить.

Каждые две недели являлся другой ревизор, но они были такими большими взяточниками, что получив на лапу, писали, что всё в порядке.

К аренде дед подключил всех детей. Жили действительно хорошо. Главой всего дела и бухгалтером был мой отец Мойше. Дед больше участвовал в охране дела, чем в руководстве.

В тот период он больше занимался городскими проблемами. Даже забросил свои дела с помещиками. Остались лишь отдельные помещики, которые держались только за него.

Вечера он теперь проводил дома. Дом был полон людьми, приходившими за советом. У одного – личное дело, у другого – связанное с делами города, у третьего – жалоба, четвёртый нуждался в совете. И в доме стоял шум и гам.

Отец играл в городе совсем другую роль. Был он тихим, мягким, на редкость честным человеком. Говорил мало – просто считанные слова. Но то, что сказал, всегда стоило выслушать. А в случае важного разбирательства, отца всегда приглашали быть третейским судьёй. С его спокойствием, рассудительностью и мягкой речью он всегда выяснял, кто виноват и всегда добивался, чтобы довольны остались оба: и виноватый, и обвинитель. Из-за этой способности он так стал знаменит, что к нему приезжал для разбора дел из Бриска и даже из Белостока, отстоящего от Каменца за 13 вёрст.

У отца на лице всегда была какая-то милая улыбка, и все его невольно любили. Когда он что-то говорил, все прислушивались, взвешивали каждое его слово.

Порядок, который он завёл в доме, был хасидский. Он молился в хасидском штибле, и в пятницу по ночам к столу его приходили по нескольку миньянов человек – и все хасиды. Пели, ели и танцевали до после полуночи. В субботу снова приходили к обеду, ели всякие кугели, пили водку, пели и танцевали до сумерек. Потом шли в штибль на послеобеденную молитву, а после молитвы, уже в штибле, ели ужин. Из дома отца приносили большую халу с селёдкой, несколько бутылок водки, и после этого ещё пели в штибле, до вечерней молитвы. После молитвы все хасиды снова были у отца, готовили крупник с мясом, питья было, хоть залейся, от этого снова пели и танцевали всю ночь, а на рассвете, расходясь по домам, будили по дороге жителей ото сна.

Вспоминаю, как мальчиком я за ними бегал. Мне очень нравилось, как именно будят ото сна: было известно, какой помещик с каким хозяином ведёт дела. Представительного и богатого еврея реб Лейзера, например, будили так:

«Реб Лейзер, тебя просит Диманский», - и стучали ему в ставень.

Понятно, что реб Лейзер вскакивал ни жив ни мёртв и открывал дверь. Раздавался громкий смех хасидов, рекомендовавших реб Лейзеру сделать нечто, что не принято называть вслух.

Так будили самых уважаемых жителей, и никто обычно не жаловался. Все смеялись, в том числе и разбуженные.

В пятницу вечером у отца горела масса свечей; веселье и радость, царившие у него всю субботу, трудно описать. Не представляю, чтобы где-то ещё бывало так весело, как у нас по субботам.

В Каменец приезжали в гости хасиды из самых знаменитых, по шесть-восемь человек в год и все, конечно, останавливались у отца. Каждый – на неделю, и в доме тогда бывало, как во время праздника. Один уезжал, и через несколько недель являлся второй. Опять то же самое. А раз в год приезжал сам ребе. К приезду его готовились за три недели, так как хасиды съезжались из Бриска и окружающих местечек. Приезд его нагонял страху, словно это был сам царь. Несколько сот человек бежали навстречу фургону, в котором ехал ребе, в самом городе он разъезжал с большой помпой, и каждый хасид трепетал перед ним, как перед монархом. Останавливался он у отца, которому это стоило нескольких сот рублей. Закалывали быков, гусей, индюков и устраивали пир на целых триста персон. Ели, хватали куски, оставленные ребе, и пели.

Все дни, проведённые ребе в городе, никто из хасидов не занимался своим делом. Отец, обычно такой благоразумный человек, в этих случаях бывал возбуждён обществом дорогого гостя, и вообще – радость и энтузиазм хасидов трудно описать. Каждый из них воображал, что вокруг ребе кружатся ангелы и серафимы. Руки и ноги дрожали от любви к нему, и смотрели на него, как на Бога.

Когда ребе уезжал, с ним вместе уезжали все хасиды, а отец умирал от усталости. Шуточное ли дело – отработал восемь суток, днём и ночью. Число хасидов в Каменце росло, понемногу собралось три миньяна хасидов, в основном, слонимских, трое – из Коцка, четверо – из Карлина и несколько суховольских [см. на с.114 текста, пер. с.180].

Всегда у них что-то случалось, что надо было отметить - то

годовщина смерти одного ребе, то другого, то Моше рабейну[79], то Ханука, то начало месяца, то десятое число месяца тевета, Ту-бишват, Пурим, Шушан-Пурим, Песах, Лаг-ба-Омер, Шавуес. 9-го ава[80] лили вёдрами воду под ноги, готовили колючки, которые, если застрянут в бороде, будет трудно вынуть. Катаясь со смеху, бросали друг другу в бороду такие колючки. Потом шли на кладбище, где росли колючки, и снова бросали их в бороду. Так девятое аба превращалось в день смеха и шалости; пятнадцатое ава – снова трапезы[81] и к первым слихот[82] готовили особую трапезу – крупник.

В Рош-ха-Шана те, кто ехали к ребе, весь день пили вино – с концом молитвы и до полуночи. В Йом-Киппур ночью пели, в Суккот пили и пели. И всё это бывало в доме отца.

Отец курил трубку, не выпуская её изо рта целыми днями. На лице его была разлита и никогда не исчезала улыбка – ни в радости, ни в большом горе. Плачущим его не видели никогда. Понятно, что сожалея о чём-то, он был печален, и даже очень, но никогда этого не показывал. Он был настоящим, глубоко убеждённым хасидом. За один час в обществе ребе был готов отказаться ото всего на свете. Сердитым его не видели никогда. Со своей трубкой во рту он ходил и улыбался, добрый и сердечный. Он не был ханжой – с женщинами, одинокими и замужними, был любезен, награждал комплиментами и умел с ними посмеяться.

О заработке он не беспокоился, то есть – не позволял себя одолеть заботам, так как в глубине души считал, что мир – это прихожая[83], а беды, которые случаются с человеком в этом мире, так же, как и удачи - всё это лишь суета сует. Даже и в делах он этого не забывал и никогда себя не вёл, как делец.

Глава 5

Реб Исроэль. – Его пение. – Его композиции. – Его положение среди хасидов. – Реб Исроэль как математик. – Пари. – Его польский патриотизм. – Его марш в честь победы поляков. – Договор с хасидом. – Выигрыш. – Смерть реб Исроэля.

Один из самых интересных хасидов в Каменце был реб Исроэль. Он жил с женой и дочерью у деда. Реб Исроэль имел мудрую голову, считаясь смолоду илюем. Он получил когда-то две тысячи рублей приданого и содержания на пять лет от тестя, большого богача, которому хотелось иметь зятем раввина. Исроэль – так решил тесть – будет раввином в большом городе, и он от своей единственной дочери будет иметь утешение.

Но Исроэль стал-таки коцким хасидом[84], он забросил ученье, поехал к ребе и провёл рядом с ним целый год. Благодаря его большим достоинствам и учёности, ясному уму и необыкновенным способностям, он при ребе стал хасидским вождём. Одной из его способностей было пение, музыка, композиция. Он умел сам сочинять мелодию. По просьбе ребе он готовил на субботу три мелодии, и каждая из них была цельной, самостоятельной и единственной в своём роде. Никаких нот он не знал, и всё же каждая мелодия была законченной и чарующей.

Пока р. Элиэзер, его тесть, был жив, реб Исроэль больше сидел у ребе, чем дома, но после смерти р. Элиэзера его жена Сара-Бейле получила в наследство шесть тысяч рублей. Два её брата получили больше – до пятнадцати тысяч. В Литве тогда никто не оставлял наследства дочерям, но её отец не обделил.

Получив наследство, она поехала к ребе, прося, чтобы тот велел Исроэлю вернуться домой и заняться каким-то делом. Они-таки организовали какое-то мануфактурное дело, но так как реб Исроэль проводил всю неделю в хасидском штибле, а субботу – у моего отца, и о деле ничего не хотел знать, то они скоро остались без денег. Им пришлось туго, и частично они оказались на содержании у родни.

К ребе он теперь ездил только дважды в год – на Рош-ха-Шана и на Шавуот. Хасидизмом занимался дома.

Сара-Бейле была очень набожной, соблюдала все посты с перерывами, т.е. постилась в понедельник и в четверг каждую неделю, когда читали из Торы отрывки: «И вот имена…», «И пошёл один человек…», «А Моше пас скот…», «И ответил Моше…», «А затем пришли Моше с Аароном …», «И сказал

Господь, обращаясь к Моше»[85]. Кроме того, молилась вечером и ночью в бет-ха-мидраше, и вела отсчёт, с благословениями после вечерней молитвы, дням от второго дня Песах до праздника Шавуот, читала слихот, не пропуская ни одной послеобеденной и вечерней молитвы[86] и часто плакала над псалмами, тайч-Торой[87] и над книгой «Цеэна у реэна»[88]. А он, реб Исроэль, молился в штибле. В неполные десять минут успевал помолиться, и все ждали, а когда он кончал, начинали пить «ле-хаим» – во здравие, и реб Исроэль веселил всех хасидов: пел свои напевы - пальчики оближешь. Умел он также красиво говорить – и на житейские темы, и о Торе. И хасиды толпились вокруг и слушали, как он красиво, на хасидский манер, излагает Тору.

Среди городских знатоков Торы он играл особую роль. Встречалось ли трудное место у Махарша, в Талмуде или в галахических решениях, приходили к реб Исроэлю. Со своей мудрой головой, он объяснял на свой манер, с искусными толкованьицами и заостреньицами, забирая так высоко, что с трудом можно было понять его высокие мысли и допущения. И в каждом суждении видна была большая мудрость и эрудиция.

Знатоки получали много удовольствия от его толкований, но не знали, что с этим делать. Их проблема оставалась проблемой, ещё сложнее, чем прежде, и как ни объясняй и ни крутись с гениальными допущениями, результат никогда ничего не давал, и знатоки уходили от него с чувством унижения: у них-то нет объяснений.

Реб Исроэль был из города Седльце, то есть, еврей из Польши, он хорошо читал по-польски и регулярно получал варшавские польские газеты. Но оказавшись в Литве, вскоре стал хорошо понимать русский и читать русскую газету. В политике он был большим специалистом и действительно знал, что творится в мировой дипломатии. Кроме того, он знал, сколько каждое правительство имеет войск и каких именно: сколько артиллерии, гвардии и пехоты, и всех генералов, отличившихся в войне, и т.п.

У него была карта, и он разбирался в географии. Когда его спрашивали, где находится тот или иной город, он тут же показывал пальцем место. К тому же, он был гениальным математиком. Сложнейшие расчёты, труднейшие задачи и измерения он решал в уме и в одну секунду. Брать в руку перо было для него излишне.

Особенно он любил сидеть в доме у деда, когда там собиралось много народа. Дед ему оказывал большое внимание и любил обсуждать с ним политические вопросы: два умных человека интересовали друг друга.

Он прислушивался к тому, о чём говорилось в доме, и по

лицу его блуждала улыбка. Арон-Лейзер понимал, что означала эта улыбка. Она означала: как ничтожны люди, и как ничтожны их дела и речи.

Помню однажды, у деда был полный дом народу, в том числе – вся городская знать и каменецкие умные головы. Зашла речь о расчетах. Реб Исроэль заметил, что готов держать пари, что тут же, на месте, сделает в одну минуту самый сложный расчёт.

Помню, как его спросили, сколько процентов получит в месяц Ротшильд, дав миллион и шестьдесят тысяч рублей под два с половиной процента годовых?

Исроэль на минуту задумался и назвал цифру. Взяли ручки, потели, решали, морщили лбы и пришли к выводу, что ответ верен. Задали ещё задачу:

Имеется тысяча пудов шафрана по четыреста двадцать рублей за пуд. Выручили за пол-унции по тридцать семь с половиной, тридцать восемь с половиной и тридцать девять с половиной. Сколько всего было выручено?[89]

Реб Исроэль подумал, может, минуту и сразу ответил.

У отца он бывал почти каждый вечер, занимаясь с ним хасидизмом до после полуночи. С пятницы ночью до утра воскресенья он почти всё время был у отца. Пел он только собственные напевы, которые пело всё общество. Чужих, не своих хасидских мелодий он, как принято у людей искусства, не придерживался.

Распевая свои мелодии с хасидами, он, внимательно прислушиваясь, рукой давал знать певцам, и если кто-то брал фальшивую ноту, сердито топал ногой. Мелодии его были сложные, летели вверх и вниз и проникали во все суставы.

Когда отец его просил сочинить мелодию к субботней ночи или к празднику, он это делал, а иногда случалось, что отец его просил, когда вместе сидело много хасидов, сочинить экспромтом какую-нибудь красивую мелодию, чтобы спеть той же ночью. Он начинал расхаживать взад-вперёд по комнате, крутя пальцами, и раскручивал в полчаса прекрасную мелодию, которой всех буквально зачаровывал.

Во время польского восстания шестьдесят третьего года реб Исроэль был весь захвачен бунтом, превратившись в пламенного поляка, ужасного польского патриота. Во всём, что касалось Польши, он был настроен в высшей степени оптимистично. Уверен был, что Польша станет ещё больше, чем была прежде. Все надежды он возлагал на Наполеона III. Если, как он надеялся, поляки измотают русских, то придёт со своими войсками Наполеон и поможет им вернуть свою землю. И Россия при этом потеряет изрядный кусок и своей земли…

У поляков, считал реб Исроэль, есть денег миллиарды. Они уже дали Наполеону триста миллионов франков, и они своего добьются. Он знал, где стоит русское войско и где – польское и сколько имеется на каждой стороне. Русское войско – примитивное, неспособное ни к каким военным уловкам, и Наполеон уже послал своих офицеров к полякам, и поляки своего добьются. В своём мнении он сильно утвердился, прочтя в газете об успехе поляков в отдельных сражениях, и так радовался, словно освободили Иерусалим, а прочтя о том, что поляки где-то потерпели поражение – скорбел, но не терял надежды. Он всё твердил, что для него ясно как дважды два, что Польша победит в войне. И уже приготовил три марша в честь победы поляков. Первый – посвящённый тому, как царь подпишет, что отказывается от Польши, а польская армия войдёт с победой в Варшаву; второй – для сопровождения французского войска при возвращении из Варшавы во Францию, а третий марш – по случаю празднования польским королём новой конституции.

И он уже всех уверил, что в Польше будет очень либеральная конституция, а поляки – первыми конституционалистами в мире.

В десяти верстах от Каменца, в Чемеринском лесу, произошло небольшое сражение между русскими и поляками, и помню, что ружейные выстрелы слышались у нас в местечке.

В Литве выделялся польский руководитель восстания Огинский[90] – большой военный специалист, наводивший страх на русскую армию.

В лесу стояло два русских полка с артиллерией, которые столкнулись с этим самым Огинским. Он, как видно, имел всего три тысячи солдат без артиллерии. Он был разбит и бежал верхом на коне. За ним погнались три казака. Сидя на коне, он обернулся и застрелил всех троих. Бежал он в Пинск.

Русские взяли в плен всех больших графов, сражавшихся вместе с Огинским. Солдат всех перебили, а пленных польских офицеров привезли в Каменец. Помню, что привезли их в прекрасный субботний день, и они сидели на земле посреди рынка, человек семьдесят, со связанными руками, а вокруг стояли русские солдаты.

Когда два полка русских вместе с артиллерией вошли в Каменец, город переполнился. И реб Исроэль, видя своими глазами разгром поляков, плакал, как ребёнок.

Помню, как в ночь на субботу у деда было много людей, и реб Исроэль за столом подсчитывал мелом количество русских и польских войск в местах восстания.

«Это - только начало. Чемеринский нынешний разгром – это ничто, помещики Муравьёва-таки повесят, но не в этом дело.

Против большей силы и правоты поляков, - говорил он, перечёркивая жестом руки русские войска, ранее обозначенные мелом, - русские войска – ничто.

В этот момент явились солдаты и постучали в дверь. Они хотели выпить, а тут – шинок. Двери были закрыты на засов, а открыть их боялись: шутка ли – солдаты! Реб Исроэль стал у дверей и не давал их открыть, чтобы впустить русских солдат. Солдаты тут же взломали дверь и понятно, что первый, с кем они столкнулись, был реб Исроэль. Поэтому он получил от них две затрещины, так что из зубов потекла кровь.

После ухода солдат кто-то спросил реб Исроэля:

«Ну, реб Исроэль, вы только что посчитали, что русские – ничто, что их нет. Ну так что – русских солдат не существует?»

«Разве это солдаты? Это разбойники!» – С гневом и горечью возразил реб Исроэль.

Изо всех сочинений реб Исроэля, сохранившихся у меня в памяти, привожу здесь ноты двух его маршей, посвящённых Польше. По какому поводу были написаны марши – ответ на этот вопрос читатель найдёт выше. Считаем своим долгом поблагодарить г-на Песаха Каплана, не пожалевшего усилий и написавшего ноты к этим маршам, которые я ему напел по памяти[91].

Когда поляки начали терпеть одно поражение за другим и стало ясно, что нет никакой надежды, реб Исроэль это принял очень близко к сердцу. Он сильно запил, спасаясь таким образом от меланхолии. Это вредило его здоровью, и он поехал к ребе, от которого вернулся радостный, получив совет - пить водку с постным маслом, что будет лекарством и для души, поскольку почувствует радость, и для тела, поскольку постное масло лечит сердце. Реб Исроэль стал часто приносить с собой к отцу бутылку постного масла и восклицая вместе с хасидами: «Ле-хаим!», подливал себе в стакан порцию масла. Отчего пил ещё больше и сочинял новые мелодии.

Однажды, будучи в Коцке у ребе, он разговорился за стаканом вина со своим добрым приятелем из одного местечка по имени Барух. Как принято у евреев, реб Исроэль рассказал, что у него есть девочка, единственная дочь трёх лет. И так как от Господа ему не суждено иметь сына, который бы прочёл над ним кадиш, он бы хотел, чтобы дочь, когда подрастёт, была просватана с подходящим, честным евреем. Тот ответил, что у него есть трёхлетний мальчик с очень хорошей головкой Они уже могут договориться о сватовстве, а из мальчика сделают настоящего хасида.

Реб Исроэлю идея понравилась. Они ударили по рукам, сын

одного и дочь другого стали женихом и невестой, а условия должны быть подписаны, когда детям исполнится по двенадцати лет. А когда жених Довид войдёт в возраст бар-мицвы[92], сыграют свадьбу. Об этом было договорено и запито несколькими рюмками доброго вина. Потом отправились к ребе, получить благословение на сватовство. Реб Исроэль с Барухом были из первых хасидов коцкого раби и регулярно сидели у него за столом. Сам ребе налил три стакана вина, выпили «ле-хаим», чтобы свадьба удалась и чтобы мальчик Довид стал честным евреем и чтобы от них пошло поколение настоящих хасидов и цадиков.

Реб Исроэль вернулся в Каменец от ребе и поздравил свою жену с шидухом, который благословил рабе. Сара-Бейле, его жена, трезвая женщина, рассердилась и от большого волнения стала его поносить:

«Мрачный сон на твою безумную голову! Берёшь трёхлетних детей, не болевших ни корью, ни ветрянкой, и сватаешь!» Реб Исроэль тоже потерял терпение и в первый раз в жизни ей сказал:

«Бесстыдница! Где твоя вера: сам ребе нас благословил!»

Они поссорились, реб Исроэль повернулся и пошёл к моему отцу и рассказал всю историю. Понятно, что отец тоже осудил Сару-Бейлу за недостаток доверия к ребе. Он хотел, чтобы наступил мир, но это ему ни в коей мере не удалось, и реб Исроэль сказал, что поедет к ребе и останется у него, пока дети не вырастут. Тогда он помирится с женой и поженит детей.

Отец, питавший к нему удивительную любовь, понимал, что если реб Исроэль поедет к ребе, то назад он уже не вернётся. Потому что там ему будет хорошо - он будет сидеть за столом у ребе, есть и пить, сочинять мелодии, и танцевать и ни в чём не будет нуждаться.

Отец ему предложил пожить у него: он ему даст комнату, и они будут по-прежнему вместе. Реб Исроэлю эта мысль понравилась, он отца тоже любил, к тому же водки у нас было хоть залейся, и в хасидах тоже недостатка не было, так что он остался у отца.

Отец также не оставлял надежды хоть со временем их помирить, поскольку Сара-Бейле, жена реб Исроэля, была редкая еврейка, умная и набожная, и раньше очень хорошо жила с мужем, хоть в молодости и надеялась как дочь богача стать раввиншей, что ей бедняге, было трагически не суждено.

Но Всевышний помог, и перед Новым годом, в месяце тевет, сват Барух выиграл в польской лотерее пятьдесят тысяч, о чём он им тут же сообщил. Сара-Бейле обо всё забыла и радостно прибежала к мужу, в дом моего отца, и помирившись с реб

Исроэлем, сообщила новость и прибавила:

«Вот теперь я верю в твоего ребе…» Тут уж настал полный мир.

Сват прислал невесте золотую цепочку, колечко, жемчуг и шёлковую ткань на платье. И трёхлетняя девочка Зисль была наряжена, как принцесса.

Реб Исроэль отправился в Межирич к Баруху, а оттуда оба поехали к раби в Коцк. Там они подновили свой договор у ребе, которому Барух подарил двенадцать тысяч.

Реб Исроэль вернулся домой радостный, и Сара-Бейле, понятно, тоже была рада.

Когда Зисль исполнилось двенадцать лет, реб Исроэль с Сарой-Бейле и невестой поехали подписывать «условия», но сват к тому Реб Исроэль вернулся домой радостный, и Сара-Бейле, понятно, тоже была рада.

Когда Зисль исполнилось двенадцать лет, реб Исроэль с Сарой-Бейле и невестой поехали подписывать «условия», но сват к тому времени уже не был богат; приданого он дал тысячу рублей. А когда им исполнилось по тринадцать, в Межириче состоялась свадьба, и Зиселе осталась у свёкра на хлебах. Реб Исроэль с Сарой-Бейле вернулись домой в Каменец. Теперь он стал совсем свободен и проводил дни и ночи у моего отца с хасидами, пил водку с постным маслом и сочинял мелодии.

После смерти Сары-Бейле реб Исроэль забросил хасидов с водкой и мелодиями и стал писать книгу «Толкования на трактат «Песахим»[93]. С книгой он поехал к большим раввинам, чтобы те дали письменные рекомендации для будущих читателей. Рекомендации он, однако, не получил, так как на девяносто страниц пришлось шесть толкований. Ни один раввин не имел терпения прочитать толкования с высокими, глубокими и замысловатыми рассуждениями. Реб Айзик, слонимский ребе, самый остроумный из всех, сказал реб Исроэлю, что книга его – для ангелов, а не для людей. Он это принял близко к сердцу и от большого умственного напряжения заболел, находясь в Варшаве, и вскоре умер. Ребе из Коцка приехал по случаю его смерти с большим количеством хасидов, также и варшавских хасидов на похоронах хватало.

Глава 6

Наша семья. – Бабушка. – Её любовь к мужу. – Её спокойное и набожное отношение к людям. – Реб Юдл. – Городские дела. – Реб Липе. – Договор.

Дед любил поговорку: «Земля должна извергнуть кости того, кто оттолкнёт от себя ребёнка». Он замечательно жил с братом, и брат со своим единственным сыном и детьми единственного сына – все как один жили вместе с детьми и внуками деда, и если кто-то из семьи заболевал, все собирались возле больного. От него просто не отходили. В нашей семье царило удивительное единство, которое с большой деликатностью проводилось любимой и незабвенной бабушкой Бейле-Раше. За всеми больными членами семьи она смотрела, не отходя. Собиралась ли родить невестка - тут же вставала свекровь; если дочь – это была мать; для больных сыновей и внуков – это была бабушка. С доктором или фельдшером она одна должна была говорить, и если нужно было что-то с больным делать – она была должна быть рядом.

В доме у неё всегда была готова еда для всех детей и внуков, и когда кто-то приходил, она тут же ему давала поесть. Одна она не ела и всё ждала, не придёт ли кто-нибудь из детей или внуков или невестка – всем ведь надо дать. И одним тем, что ели другие, она уже была сыта. Редко видели, чтобы она ела. Готовя что-нибудь вкусное, она от него только пробовала, а остальное делила, и хоть имела двух прислуг, но обычно сама пекла и жарила и была исключительной поварихой.

Ещё она имела привычку посылать ежедневно в богадельню кастрюлю с едой, не забывая и просто бедных людей, кто не мог заработать себе на жизнь. Им она посылала потихоньку и была им поддержкой.

Сама она была худенькой, маленькой еврейкой – в чём только душа держится – но энергии в ней было, может, как у иного мужчины.

Мужа своего Арона-Лейзера она отличала, как говорят женщины, «как субботу отличают от буднего дня». Дед был большой баловень и любил хорошо поесть. Она для него каждый день готовила особые блюда, и самым большим огорчением для неё было, если он, не дай Бог, нашёл в тарелке муху. Тогда он уже ничего не ел, и она летела к своей свекрови: не найдётся ли там какой-то хорошей еды для него. Если там ничего не было, она

настаивала, чтобы он только подождал минуту, она уже ему сделает чудное блюдо. Но он, как назло, не хотел ждать, что её очень огорчало.

Он любил хороший чай, и она уже следила, чтобы его стакан чая был крепким и хорошим. И когда он ехал к помещику, то должен был ей сказать, когда, примерно, вернётся. И если можно, даже час, и она к тому времени готовила самовар. А когда он должен был, например, прийти в понедельник вечером, в двенадцать часов, она забирала самовар к себе наверх, где была их спальня. Прислуга уже спала, и бабушка сидела у самовара наверху, подбрасывая уголь, чтобы самовар не остыл, чтобы, когда Арон-Лейзер придёт, у него был горячий чай. Так себя у евреев вела когда-то жена.

И так она следила всю ночь за самоваром, чтобы он был таким, как надо, горячим, чтобы когда Арон-Лейзер придёт, у него уже был чай. И если случалось, что он задерживался у помещиков несколько ночей подряд, она всё время дремала, не раздеваясь и иногда схватывалась, подкладывала угли в самовар, чтобы он был горячий, и снова дремала. Днём уже прислуга следила за самоваром.

Арон-Лейзер был большим упрямцем и когда говорил «да», это было «да», а когда «нет» - никаких аргументов не существовало. И когда он сидел среди людей и как раз был ей нужен, она к нему подходила очень вежливо и прежде всего извинялась, что подходит в тот момент, когда он говорит с людьми. В таких случаях он обычно делал рукой нетерпеливый жест. Это значило, что она должна уйти. Она, понятно, уходила и никогда не обижалась.

Также часто случалось, что люди приходили спросить совета у Арон-Лейзера и выражали желанье, чтобы и она при этом присутствовала. Она была известна в городе своими советами, и он её подзывал:

«Евреи хотят твоего совета», - говорил он ей. Объясняли в чём дело, и она давала совет. Но перед этим делала небольшое вступление:

«Я ведь всего лишь глупая еврейка, но мне кажется, что надо сделать так и так».

И по её совету обычно поступали.

Она никогда не садилась с ним рядом: стояла перед ним почтительно, хотя очень и очень ему помогала в его хозяйственной карьере и в его отношениях с помещиками. Она всегда старалась, чтобы он не прогадал в своих делах, а сама себя умышленно ставила перед ним в невыгодное положение. Как говорилось, он её во многих отношениях слушался. Но она не

показывала вида, что знает, что он её слушается…

Отец её реб Юдл на старости лет овдовел и возле него не осталось детей. Три его сына были учёными людьми, а не богачами, и жили в разных городах. Бабушка Бейле-Раше была единственной дочерью и пригласила его к себе в гости. Он был очень умным евреем, в городе его все уважали, и Арон-Лейзер предложил ему остаться у него насовсем и никак его не отпускал. Старик продал в Семятичах свой дом со всей домашней утварью и приехал к зятю в Каменец, и дед Арон-Лейзер берёг тестя, как зеницу ока.

Прадед реб Юдл присмотрелся к делам своего зятя и обнаружил - что было совсем нетрудно - что городские дела закрутили ему голову. Целыми днями и ночами его дом набит людьми, и всё из-за городских дел. Ему, старику, было жаль способностей Арон-Лейзера, которые тратились на ничтожные дела маленького города - какое замороченье головы приходится от них иметь – больше, чем от дел большого города.

Поэтому для него было ясно, что тот должен отбросить совершенно городские дела и больше заниматься помещиками, на чём можно что-то заработать, или он должен совсем переехать в Бриск, где при его ловкости и уме он себе сразу сделает имя, и лучше там руководить, чем здесь, в Каменце. Там он, по крайней мере, будет иметь дело с таким городом, с такими богачами, мудрецами, учёными, образованными людьми.

Старик, реб Юдл, научил свою дочь Бейле-Раше чтобы она это объяснила своему мужу. Но дед, Арон-Лейзер, ответил на это, что он ни за что не бросит Каменец, где покоятся его родители и деды, где и сам он состарился, куда он вложил и энергию свою и свою молодость, и если ему даже дадут миллионы, он из Кменца не уедет. Но что касается городских дел, то он сам согласен, что этим заниматься не надо. Слишком это трудно, он тратит слишком много сил, а толку мало.

Тогда было снова решено, что он должен отказаться ото всех городских дел - только выбрать подходящий момент. Но услышав, что Арон-Лейзер собирается отказаться от городских дел, стали к нему приходить городские старейшины и все важные хозяева и просить, чтобы он оставался и дальше. Более того, если ему слишком трудно, пусть поделится с ними работой и они ему помогут.

Хозяева долго просили и убеждали, и он согласился остаться на пробу, посмотреть, будет ли теперь легче. Прошло какое-то время, и он сам стал себя вести по-другому: собирать совещания, приглашать городских старейшин и распределять между ними работу, и они делали то, что он им поручал.

Арон-Лейзер также был освобождён от многих трудных дел, которые его тесть реб Юдл, который не имел, чем заняться, взялся делать вместе с другими людьми, из тех, что обычно толпились в квартире деда. Реб Юдл давал уже им советы, выслушивал их жалобы и т.п.

Бабушка Бейле-Раше, которая раньше из вежливости по отношению к мужу никогда не вмешивалась в его разговоры, если он её не спрашивал, теперь, когда евреями занялся её отец, также помогала советом больше, чем раньше, так что деда совсем освободили от этих дел.

Он стал больше заниматься помещиками, а бабушка совсем не раздевалась по ночам, сидя в полудрёме, ей приходилось чаще вставать с постели и подбрасывать свежие угли в самовар, чтобы когда Арон-Лейзер придёт, у него тут же был горячий чай.

У деда был зять, учёный человек, реб Липе. Этот реб Липе был большой бедняк и однажды он послал деду, своему шурину, письмо, прося, чтобы тот помог ему с заработком. Дед его позвал и предложил сделать вместе дело, от которого у того будет заработок и ни в чём не будет недостатка. Также и ему, деду, от этого что-то перепадёт. Реб Липе посмотрел на деда с удивлением: что это значит – что и Арон-Лейзеру что-то перепадёт, и он ничего не потеряет?

Дед ему сказал:

«Давай сделаем такое дело: я тебе дам для твоей жены и детей приличную сумму, и ты будешь сидеть и заниматься. Но дашь мне справку, что половину доли в будущей жизни, которая причитается тебе за твою ученость, ты завещаешь мне. Всю жизнь я, с Божьей помощью, живу простым от мира-сегойником и даже в этом мире не могу добиться всего, чего хочу. Так пусть хотя бы будущий мир будет обеспечен! Боюсь, что по прибытии в будущий мир будет мне горько и темно - там ведь нет ни исправника, ни асессора…»

Реб Липе ничего не мог сказать в ответ. Наверное, ему показалось неправильным, чтобы Арон-Лейзер, который так много имел в этом мире, имел бы и в будущем. Он сказал, что должен посоветоваться с Пурией, своей женой, сестрой Арон-Лейзера.

Прошло несколько месяцев, и ни реб Липе, ни его жена, не соглашались отдать Арон-Лейзеру половину будущего мира, причитающегося за учёность. Имея маленьких детей, которым надо делать платьица, ботиночки, платить за ученье и тому подобное, что нужно для жизни, они сильно страдали от нужды. На еду им Арон-Лейзер более или менее давал - но только на еду. Мучились, но ни на какие сделки с будущей жизнью не шли.

Арон-Лейзер уже снизил требования. Сейчас он хотел половину только за учёность реб Липе, а за все его благочестивые поступки – ничего.

Понятно, что Арон-Лейзеру было досадно. Во-первых, ему очень хотелось доли в будущем мире, а во-вторых, он совершенно не привык, чтобы ему отказывали. И он всего лишь прекратил посылать им на жизнь.

Реб Липе с женой и детьми остались, бедняги, совсем без хлеба. В доме не было ни кусочка хлеба, не было даже картофеля, просто хоть ложись да помирай с голоду.

Мучились, мучились, туда-сюда кидались, но когда больше не могли выдержать, жена реб Липе Пурия согласилась:

«Иди уже, отдай этому злодею половину твоей доли в будущем мире. Не умирать же с детьми с голоду».

Он пришёл, подавленный, к Арон-Лейзеру и сообщил, что так и быть - на его предложение он согласен.

Но тут уже Арон-Лейзер заупрямился и сказал:

«Ты мне не хотел отдать половину своей доли в будущей жизни? А теперь пропало. Теперь иди и сам обеспечивай свою жену».

Арон-Лейзер, конечно, очень хотел доли в будущей жизни. Но он понимал, что все козни против сделки плетёт его сестра, и ему хотелось, чтобы именно сестра пришла к нему и попросила, чтобы расписалась сама, что согласна на сделку.

Реб Липе не понял намерений Арон-Лейзера. Можно себе представить, с каким сердцем он вернулся. В доме поднялся плач. Дети хотят есть, а дать им нечего. Они пришли оба к Арон-Лейзеру с таким удовольствием, с каким идут на смерть, плакали и просили, чтобы согласился на партнёрство.

«Ладно, - сказал спокойно Арон-Лейзер, - идём к раввину и подпишемся на всю жизнь. Я должен вас обеспечить, точно, как своих детей, а Липе отдаст мне свою долю в будущем мире, которая причитается ему за учёность».

Реб Липе, однако, хотел подписаться на три года, а не на всю жизнь. Сошлись на пяти годах.

Пошли к раввину и записали то, о чём договорились, реб Липе с Пурией подписались, раввин с судьёй засвидетельствовали, стороны обменялись рукопожатием и под присягой обязались: Арон-Лейзер должен реб Липе со всей семьёй полностью содержать, а за это получит половину доли в будущем мире, причитающуюся ему за учёность. Реб Липе при этом должен учиться целыми днями, не делая ничего другого, и всё законно и в силе.

Арон-Лейзер вернулся от раввина с радостью, какую трудно

представить. Нешуточное везение для Арон-Лейзера! Предложи ему за половину доли в будущем мире любые сокровища, он бы наверное не взял.

Реб Липе с Пурией вернулись домой не такие весёлые, зато – со сверкающим у реб Липе в руке четвертным.

С тех пор Арон-Лейзер начал им слать всякого добра, молока и мёда. И когда реб Липе в первый раз в жизни вместе со своими домашними поимел приличный обед – тут уж вся сделка получила в его глазах совсем другой вид.

Глава 7

Акциз. – Барон Гинцбург. – Единственный сын. – Скандал с асессором. – Исправник держит сторону деда. – Реб Липе разрывает контракт.

В те времена акциз перешёл от правительства к барону Еже Гинцбургу[94]. Он получил акциз за известную сумму денег, ежегодно выплачиваемых им правительству. Служащими в акцизных канцеляриях он назначал только евреев: с самых высоких должностей до незначительной должности в деревне.

Дед тогда уже перестал завозить контрабандой спиртное из Польши. Он был страшно рад, что правительство передало еврею такой подряд, и поскольку не стремился увеличить доходы, не хотел ввозить контрабандой спиртное, чтобы, не дай Бог, не последовало от этого для барона банкротства!… Отчего может для всех евреев произойти зло, так как ненавистники Израиля скажут, что все евреи – воры.

Опять же, барон себя вёл красиво: назначил на все должности евреев, чем дал тысячам евреев заработок. И вообще – очень хорошо, что евреи служат в казне. Дед стал обычно покупать спиртное на заводах, отчего доходы стали слабыми. На польской водке он зарабатывал тысячи рублей в год!

И так как все дети деда и его братьев жили только с аренды, а сейчас с доходами стало более туго, дед начал уменьшать расходы.

Уменьшая расходы, дед нашёл, что пять рублей, которые он платит каждый месяц асессору - это слишком. Потому что, во-первых, управляющий помещика даёт в его распоряжение своих крестьян, и к асессору приходится обращаться очень редко. Во-вторых, асессора он совершенно не боялся - ведь с ним заодно был исправник, против которого асессор не пойдёт.

Асессор, конечно, был недоволен, и помню, как я ещё был маленьким мальчиком и прибыл волостной старшина с тремя десятскими и попросили бутылку водки. Был исход субботы. Как обычно у деда, в доме было полно народа и бабушка подавала всем чай. Это было её обязанностью, несмотря на наличие слуг, которые могли подавать вместо неё. Но ей не трудно было подать и второй стакан чая, и третий…

Племянник деда, единственный сын, очень уважал дядю, то есть моего деда, и был готов ради него в огонь и в воду. Дед его любил, и он имел в семье большой авторитет. Когда кто-то из

семьи должен был о чём-то деда попросить, обращались к единственному сыну, Арье-Лейбу и Арье-Лейб был посредником.

Он был высокий, здоровый юноша, был даже способен учиться, только не очень хотел – но в общем, хороший парень. Если Арье-Лейб говорил, что добьётся чего-то у дяди, было ясно, что так оно и будет. А когда деду что-то было нужно у асессора, он посылал Арье-Лейба, так же, как и к исправнику; язык он имел острый, за что его особенно все ценили.

Волостной старшина потребовал бутылку водки, и Арье-Лейб спросил у дяди, надо ли давать. Дед разрешил. Получив бутылку, старшина быстро сунул бутылку в карман и вышел вместе со своими крестьянами. Это был тяжёлый случай, и Арье-Лейб спросил деда:

«Побежать и отобрать?»

«Догони и отбери бутылку силой», - приказал дед.

Служили у нас тогда пара здоровых «людей»: Хацкель и Кивка. Последний был известен как большой герой. Арье-Лейб взял обоих и побежал ловить старшину с десятскими. Примерно через четверть часа Арье-Лейб вернулся с большой радостью, с бутылкой водки в руках и с уликой – фуражкой старшины. Он рассказал, что дружков накрыли аж на террасе у асессора. Ещё минута – и они были бы в доме. Им как следует переломали кости и взяли фуражку старшины как улику.

«Правильно ли я поступил, дядя?» – Спросил Арье-Лейб.

«Правильно», - ответил дед.

В воскресенье утром дед уехал к помещикам, а днём пришёл асессор с восемнадцатью десятскими в дом к дяде – составить протокол о том, что он торгует в шинке без патента. Арье-Лейб стал ругаться с асессором и прямо сказал, что если тот составит протокол, то схватит оплеуху, и уже поднял руку…

Что обычно делает в таких случаях асессор, когда при нём восемнадцать десятских? Берут такого парня, связывают, арестовывают и отсылают в Бриск Но асессор этого не сделал. Очевидно он вспомнил об исправнике с Арон-Лейзером. Они сильнее. Он ушёл и написал исправнику письмо обо всей истории.

Вместо ответа исправник написал асессору нравоучительное письмо: надо не иметь никакого соображения, чтобы воевать с таким умным евреем. Поэтому он ему советует извиниться перед дедом и заключить с ним мир. А если не послушается, то пусть знает, что с сегодняшнего дня он, исправник, будет останавливаться в Каменце только у деда, а не у него, как обычно принято у всех исправников, что асессору будет очень неприятно.

Деду исправник написал, чтобы тот приготовил квартиру по

случаю его приезда в Каменец. Дед тут же приготовил квартиру с отдельным входом у брата Мордхе-Лейба. И когда дед сообщил, что всё уже готово, исправник приехал в карете, запряжённой четвёркой лошадей с колокольчиком и отправился прямо к дяде. Там останавливался и позже – то на один день, то на два, как получалось.

Униженному асессору пришлось к нему явиться, и исправник нарочно позвал к себе деда – пусть асессор увидит, как дед к нему приближён. Так прошло полтора года, пока асессор не смирился и не извинился перед дедом в присутствии исправника. И исправник стал как прежде останавливаться у асессора.

В то время дед установил, что не он один, а также и городские старейшины, должны вести городские дела. Он попросил исправника, чтобы тот передал печать и все книги другому сборщику, а он будет помогать, когда потребуется. Конечно, он постарается, чтобы всё велось, как надо. Дед уже не был сборщиком, он остался только советником сборщика и городских старейшин. И когда встречался трудный случай, к нему приходили старейшины, чтобы посоветоваться, и во всех отношениях воцарился мир и покой.

Когда приезжал исправник, то сборщик, перед тем, как к нему идти, шёл посоветоваться к деду или, если происходило что-то серьёзное, дед вместе со сборщиком шёл к исправнику и всё улаживал.

Дед вёл свои дела с помещиками, а половина доли реб Липе в будущем мире всё увеличивалась. Деду это придавало ещё больше энергии работать, он стал спокойнее, будущий мир поддерживал его в жизни. Но радость его продолжалась недолго: в конце четвёртого года его зять реб Липе прислал письмо с отказом от партнёрства. Заключённый на пять лет договор он разрывает, так как стал тем временем в городе судьёй взамен умершего судьи и будет теперь иметь доход и без их партнёрства, и больше не должен отдавать половину своей доли в будущем мире.

Письмо произвело на деда очень тяжёлое впечатление, почти полгода, до самого Йом-Киппура, этот умный еврей был в тяжёлой депрессии. В Йом-Киппур хорошо поплакал и опять успокоился. Но с сестрой он поссорился на всю жизнь, Считая, что во всём виновата она.

Глава 8

Мой первый меламед. – Вопросы, которые я задавал. – Второй меламед. – Мой дядя Исроэль. – Вундеркинд Исроэль. – Как вундеркинд Исроэль нас выпорол в поле. – У меламеда Мотэ. – Ад. – Зимний вечер. – Рассказы о чудесах. – Моя набожность. – Дибук. – Реб Липе Цукерман.

В два с половиной года мать отдала меня Якову-Беру, детскому меламеду. У неё не было времени ждать до лета, когда мне исполнится три года, и после Суккот она отдала меня в хедер. Я с детства имел желание учиться и не отходил от Якова-Бера ни на шаг, не хотел даже уходить домой. Я сидел рядом с ним на печке, было тепло, приятно. У него училось около сотни мальчиков, и богатые дети, когда им больше не хотелось учиться, сидели на большой печке и играли.

Мне так было хорошо на печке, что я не хотел оттуда слезать, только когда снимали всех детей и нельзя было оставаться одному, я шёл с помощником меламеда домой.

Но меламед Яков-Бер не был мною доволен. Я с детства имел недостаток – был спорщиком и любил задавать трудные вопросы. И Яков-Бер, бедняга, не знал, что ответить. Например, начав учить со мной алфавит, он меня учил: комец-алеф – о; комец-бет (с точкой внутри буквы) – бо, а комец-бет (без точки внутри буквы) – во.[95] Я у него спрашиваю: «Но если комец-бет (без точки внутри буквы) – во, зачем тогда нужно, чтобы было ещё и комец-вав-вав – тоже во?)[96] .«Станешь старше, - недовольно отвечает ребе, - тогда узнаешь».

Есть дети, которые только и знают всё время задавать вопросы: «Мама-папа, зачем надо то, зачем надо сё?» Так и я всё время спрашивал раби:

«Кто сделал стол?»

«Столяр».

«А кто сделал столяра?»

«Бог».

«А кто сделал Бога?»

«Бог! – кричал он сердито. – Бог вечен, его никто не делал».

«Бог сам себя сделал?» – спрашивал я, глядя раби прямо в глаза.

«Ты ещё мал и глуп!» – кричал он в ярости.

Раби рассказал папе, что я всё время задаю вопросы. Папа ему посоветовал отругать меня, когда я что-то спрошу.

«Скажи ему, - посоветовал папа, - что мальчик не должен ничего спрашивать, он должен только учиться и молчать".

Однако вопросы, которые мальчик задавал, сильно обеспокоили его отца. И он стал задумываться – не вырастет ли из такого ребёнка, не дай Бог, апикойрес? Может, будет лучше ребёнка поменьше учить и вовремя отдать хасидским меламедам, которые его научат только быть хасидом и честным евреем?

У Якова-Бера я учился три срока. Я уже мог довольно быстро молиться, как большой. И тогда папа меня действительно отдал хасидскому меламеду, Шае-Бецалелю, у которого учили Тору и начало Гемары.

Я начал учить у меламеда Тору, и папа устроил пир для всех хасидов. Пели и пили много водки и ели целый день, но без деда, который никогда с хасидами не праздновал. Я хорошо учился, и раби со мной начал Раши. Я всё быстро схватывал и к шести годам уже хотел учить Гемару. Но раби считал, что ещё слишком рано:

«Достаточно, если ты начнёшь Гемару к семи годам».

Я, бывало, стоял у стола, за которым дети учат Гемару, прислушивался и не хотел толкаться с ребятами, учившими Тору. Так я всё хорошо улавливал, что когда наступал четверг, я говорил раби, что могу ему пересказать весь урок Гемары за неделю наизусть. Я говорил, и слова лились потоком, кусок из «Леках тов»: « Если Реувен украл деньги у Шимона…». Раби изумлялся и вечером приходил к отцу и рассказывал ему, какой у него замечательный сын – без того, чтобы учить, только со слуха, читает наизусть урок.

Но отца это мало радовало. Он стал таким фанатичным хасидом, что для него ученье не имело никакого значения. Он хотел, чтобы я знал только Тору и немного Мидраш. большего не надо, я должен быть только честным евреем, то есть хасидом.

Шая-Бецалель уже начал учить со мной Гемару, и я хорошо успевал. Я всё быстро схватывал и каждый четверг быстро отвечал из «Леках тов», и слова лились потоком.

Со временем Шаи-Бецалеля с его «Леках тов» стало для меня недостаточно. Мне нужен был меламед покрупнее, который уже учит с мальчиками страницу или целый лист Гемары.

Но отец не торопился. Он держал меня у Шаи-Бецалеля девять сроков, и я учил одно и то же, вместе с маленькими детьми. Отец видел, что учиться я способен, но человеку многого не надо, главное, чтобы я стал хасидом.

Я плакался отцу, что уже хочу учить Гемару, а не какой-то «Леках тов», что хочу учиться вместе с большими детьми, но он по известной причине не соглашался.

У отца был брат Исроэль, одного со мной возраста. Дед отдал маленького Исроэля под присмотр отцу и тот отправил нас обоих в один хедер, одинаково одевал и укладывал вместе спать.

У Изроэля была ещё лучше голова, чем у меня. Но он не хотел учиться, и его совсем не волновало, что нашим раби был Шая-Бецалель. Ему было всё равно: он не хотел себя утруждать. При своей хорошей голове он даже отрывка «Леках тов» к четвергу не знал, предпочитая проводить время в шалостях.

В семье нашей был ещё один мальчик по имени Исроэль, на два года старше меня, с гениальной головой. Отец его был Йозл Вишняк, большой учёный, просто совершенство, и дедова брата Юдла сын. Он занимал должность в Люблине, а его жена Баше-Фейге жила с детьми у своего отца, реб Зелига.

Их мальчик Исроэль к восьми годам измучил лучших меламедов. На каждый отрывок из Гемары он задавал кучу вопросов, и учёные не могли ему ответить. Поэтому понятно, что вся наша семья его очень любила и что он часто у нас бывал, ел, пил и играл с нами, и из-за него нас с Исроэлем не замечали. Все цацкались только с ним одним.

Но мы с моим другом Исроэлем, который одновременно был и моим дядей, от души его ненавидели - когда бы не он, мы считались бы вполне способными мальчиками: я, возможно, был бы лучшим мальчиком в городе, и в семье меня бы ещё больше ценили.

Но несмотря на нашу ненависть, мы к нему чувствовали также и почтение и бывали польщены, когда он с нами разговаривал. Характер у него был плохой, и все мальчики в городе страшно перед ним трепетали. Когда он нас бил, мы это ему позволяли, как ученики позволяют себя бить учителю.

Помню, однажды в пятницу, когда мы были свободны от хедера, ему захотелось выбрать лучших мальчиков в городе и послушать, как они читают отрывок из Гемары. Он взял, помнится, «Бава Меция»[97] и с двенадцатью мальчиками пошёл через луг к реб Симхе-Лейзеру[98]).

Был прекрасный солнечный день. Исроэль срезал перочинным ножиком хорошие, мягкие прутья на лугу и держал в руке Гемару. Каждому из мальчиков он дал отдельный отрывок из Гемары, и если тот не знал, то должен был лечь, и Исроэль сёк его мягкими прутьями столько раз, сколько считал нужным. Плакать никто не плакал – сдерживались: принимали всё это с любовью и в самом деле считали, что заслужили порки – мы форменные гои, что не знаем Гемару, а он, Исроэль, такой учёный. Но кое-кто уже не в силах был больше выдержать порки и начал плакать, а Исроэль не слушал и продолжал сечь, приговаривая:

«На тебе, эдакий гой, на тебе!…» - и оставляя на теле голубые полосы с запекшейся кровью.

Мне он дал пересказать отрывок «Сдающий на хранение»[99]. Но я тогда ещё не учил Гемару, а только «Леках тов», и совсем не знал отрывка «Сдающий на хранение». Он мне выдал восемнадцать розог, и таких крепких, что я помню их поныне.

Потом мы все, выпоротые, отправились вместе с тем, кто нас порол, домой, с заплаканными глазами, опозоренные, подавленные, но без претензий: мы это заслужили! Мальчики уже стали больше бояться розог Исроэля, чем учительских, потому что раби бьёт всё-таки милосердно и не такими мягкими, свежими и длинными прутьями, какие Исроэль нарезал на лугу.

Всевышний помог, и вскоре реб Евзель Вишняк забрал своего сына к себе в Люблин, поскольку в Каменце для него не нашлось меламеда.

Мы были рады: избавились от Исроэля!

Когда мне исполнилось восемь лет, отец меня передал наконец меламеду Моте, у которого я должен был учиться ещё два года назад. Это был хороший меламед. К тому же он не так бил мальчиков, и они у него хорошо учились. Он учил с детьми Гемару и добивался замечательных результатов. Час в день он также рассказывал детям истории о мудрецах и обо всём, что творится в ином мире, а именно: как мучаются грешники после смерти сто лет подряд. Ещё он рассказывал подробно маршрут мёртвых, например, как грешник встречает ангелов-мучителей по пути в ад, о свойствах ада, как жгут грешников и т.п.

По его рассказам, каждый праведник должен страдать после смерти от побоев ангела-мучителя (и о чём я уже писал)[100]. Получив свою порцию побоев, он должен идти в ад, и каждый праведник, даже самый великий, должен находиться двенадцать месяцев в аду. По дороге в ад его встречают ангелы-мучители, которые стегают его железными прутьями и швыряют на груду огня. С груды огня его швыряют на груду льда. Так его перебрасывают с груды огня на груду льда и обратно. Потом, если он большой злодей, ангелы-мучители бросают его от одного к другому все двенадцать сотен лет ожидания, то есть двенадцать сотен лет проходит, пока он упадёт на ту груду огня. И словно этого мало, по пути он встречает шестьдесят раз по десять тысяч ангелов-мучителей, и каждый бьёт его железными и раскалёнными прутьями. Потом ему велят идти в ад. И там он должен очищаться двенадцать месяцев. Больше времени никто в аду не бывал. Попасть в ад – это уже хорошо. Но перед этим мучится человек сотни лет в огне и в воде, во льду и в страхе…

Для пущего реализма наш раби даже обозначал краской и

пером на бумаге размеры ада. Он считал что размеры ада – двенадцать сотен лет в длину и четыреста в ширину.

С адом ещё беда, что человек не знает, где находится его дверь. Если бы знать, если бы сразу войти в дверь, можно было бы избавиться от ударов со стороны ангелов-мучителей. Он крутится туда и сюда, ищет двери и при этом схватывает удары.

И раби нам показывает пальцем, как человек стоит, кажется, у самой двери и идёт как раз назад. Он уже прошёл четыреста лет в ширину в одну сторону и двенадцать сотен лет в длину; и дальше четыреста лет в ширину, и дальше двенадцать сотен девяносто девять лет и тысяча месяцев. Дверь – узкая и запрятанная, и вот он ходит и ходит, бедняга, по аду среди ангелов-мучителей три тысячи сто девяносто девять лет.

Но праведник обычно сразу находит дверь в ад и не должен ходить вокруг да около так много лет.

Ещё раби любил рассказывать чудесные истории о Виленском гаоне, как он постиг все семь отраслей знаний, как рассматривал звёзды, а когда захотел узнать, как велика звезда и что на ней происходит, то пригласил все звёзды к своему столу и их как следует рассмотрел и изучил.

Однажды, рассказывал ребе, Виленский гаон был на свадьбе большого богача, и сват попросил его повеселить жениха и невесту.

«Я сяду возле музыкантов», - сказал Виленский гаон, сел возле музыкантов и прислушался, как они играют. Потом сказал, что если сделать в кларнете, на котором играет музыкант, там-то и там-то дырочки, он будет хорошо звучать и гости получат удовольствие. Сделали дырочки там, где он указал. И кларнет так зазвучал, что от сладостной музыки все попадали в обморок. Пришлось заткнуть эти дырочки. Такие истории рассказывал нам каждый день Мотке-меламед, и мы сидели, как зачарованные…

В зимние вечера мы приходили из хедера в восемь-девять часов. Поужинав, я шёл в комнату к бабушке Бейле-Раше, где она и вся семья большей частью сидели. Там обычно бывали женщины с Лейбке-шамесом, жившим у бабушки на кухне со своей кухаркой-женой. И Лейбке этот тоже рассказывал много историй о чертях и дьяволах, о колдунах и о водяных и т.п.

Он рассказывал, как ехал однажды извозчик с группой евреев. Видят – стоит на дороге большой хороший гусь; извозчик, конечно, взял гуся и привёз домой. И ночью, когда все уснули, гусь начал кидаться и бросаться; извозчик зажёг свечу и увидел, что гусь, который наполовину был похож на человека и наполовину – на гуся, всё кругом разбросал. Извозчик, не жив, не мёртв, помчался к раввину. Тот послал десять человек, и те стали

читать громким голосом псалмы. И когда прочли все псалмы, гусь взмахнул крыльями и улетел.

«Черти, - рассказывал он, - любят скакать на лошади, и не на помещичьей, а как раз на еврейской. Приходят раз евреи-извозчики утром в конюшню и видят, что лошади мокрые, в поту, хрипят – словом, такие измученные, будто только что вернулись после долгой поездки. А другой раз извозчик обнаружил утром в конюшне мёртвую лошадь, колёса телеги поломаны, вожжи – порваны…

Рассказов о чудесах он имел целую кучу. Однажды, он рассказывал, была в Каменце еврейка, муж которой, портной, уехал в Одессу. Сначала он слал письма и деньги. Но потом перестал – ни писем, ни денег. Она поехала в Шерешево, местечко возле Каменца, к колдуну, и тот ей велел дать ему десять рублей, и муж к ней вернётся верхом на кочерге. Так и случилось. На следующую ночь муж стучит в окно, плачет и просит пустить его поскорее в дом – он сильно устал от поездки, вот-вот потеряет сознание. Она ему тут же открыла, он влетел в дом на кочерге и упал без сознания. Она подняла шум, сбежались люди и прочли псалмы. Он встал на ноги и рассказал, что ночью ему в Одессу явилась большая железная рука, стащила с кровати, посадила на кочергу и сказала:

«Поезжай домой, за ночь доберёшься до своей жены и попросишь у неё прощенья».

Он заплакал: как он сможет за одну ночь проехать такое большое расстояние? Здесь езды недель на шесть!

Но ему было сказано:

«Езжай!» - И он поехал.

Да не поехал – полетел, над горами и долинами, над крышами и над реками, и вот он здесь - в чём душа держится…

Помню одну любопытную историю. Раз умер один и после того, как промучился сотни лет за все свои грехи, привели его в высший суд, чтоб выяснить, нет ли уже возможности допустить его в рай. Верховный судья собрался уже вынести решение, что можно ему идти в рай, как вдруг является сатана и заявляет: есть на нём ещё один большой грех, а именно – он съел два пуда животного жира[101]. Человек заплакал:

«Что значит: два пуда жира? Когда, что – да это пустой навет!»

Но сатана доказал, что когда тот курил трубку, то всегда зажигал её с помощью свечи, а со свечи при закуривании всегда капал жир. И так за всю жизнь собралось два пуда жира. Тут же его отдали ангелу-мучителю и снова стали мучить – за два пуда жира, поглощённых им при курении.

Такие-то зловещие истории я слушал у своей умной бабушки от Лейбке-шамеса. Можно себе представить, каким страхом это наполняло мою детскую жизнь. Какой страх вызывали черти, злые духи и загробный мир, где величайшие праведники должны страдать от ударов ангелов-мучителей и двенадцати месяцев ада, где жгут, жарят и подвешивают мужчин за язык, а женщин за грудь и за волосы и где жарятся на самом большом на земле огне по четыреста лет подряд.

Помню, однажды случился у меня дефект в цицес[102], и днём я заигрался и забыл приделать другую. И ночью, перед сном, я увидел, что у меня всё ещё дефектная цицес. Это было незадолго до «Грозных дней»[103] и в Йом-Киппур, будучи очень благочестивым мальчиком, я горько плакал из-за своего большого греха – дефектной цицес. И на исходе Йом-Киппура, вернувшись из хасидской молельни и поужинав после поста, хотя мне было только 8 лет[104], я всё ещё был под впечатлением греха дефектной цицес. После ужина я пошёл к деду. Дома стояли близко друг к другу, залитые светом - была лунная ночь - и придя к дому деда и собираясь подняться на террасу, увидел соседа Гершля Меерчева, стоящего у маленькой террасы своего дома. Я обрадовался, увидев рядом Гершля, но только я хотел ступить на террасу, как увидел, что этот Гершль вдруг поднялся, поднялся, выше, выше, пока не оказался аж над крышей и стал белый, как снег. Я испугался и понял, что это чёрт, а не Гершль Меерчев. Из последних сил я бросился на террасу и немного не добежав, упал без сознания. В доме деда слышали, как я упал, выбежали из дома и нашли меня лежащим без сознания. Конечно, поднялся шум – сбежались люди, привели меня в чувство, положили в постель, и я заснул. Позвали знаменитого доктора с Йоселе-фельдшером, который остался со мной ночевать вместе с бабушкой. На утро мне стало лучше, и я рассказал бабушке всю историю с чёртом, бывшим прежде Гершлем Меерчевым. Я также прибавил, что знаю, почему ко мне пришёл чёрт: я ходил с дефектной цицес…

В те времена был знаменитый Аародский[105] дибук[106], который поселился в девушке. Ездили с ней ко всем цадикам и большим раввинам, чтобы они изгнали дибука. Всю Литву взбудоражил дибук, и много историй крутилось вокруг него: тут он читал псалмы, там учил талмудические трактаты, а там - Гемару и толкования, и таких историй тогда ходило множество. Возили её из города в город и наконец прибыли к раввину в Каменец. Раввин послал на кладбище, и там собрался весь город: мужчины, женщины и дети. Раввин послал шамеса, реб Бейнуша, чтобы он там, на кладбище, прочёл такие и такие отрывки и приказал дибуку выйти по велению раввина и от имени всех

раввинов.

Я тоже хотел пойти на кладбище посмотреть, как изгонят дибука, но отец меня не пустил, потому что вокруг дибука бывает много злых духов.

Шамес, реб Бейнуш, пришёл на кладбище и прочёл отрывки со всеми приказаниями, и тут дибук закричал:

«Не хочу выходить. Мне и здесь хорошо».

Поехали с девушкой в Бриск, к раввину, реб Якову-Меиру. Он был большой мудрец и праведник. Реб Яков-Меир тоже велел отвезти дибука на кладбище. И конечно, как везде, все брискские евреи, мужчины, женщины и дети, пришли посмотреть на удивительного дибука, который держится так долго в девушке и ни за что не хочет выходить.

Реб Яков-Меир послал к дибуку шамеса раввинского суда, реб Лейба, чтобы тот от имени городского раввина повелел тому сейчас же выйти. Раввин сказал реб Лейбу, чтобы тот приказал дибуку выйти через мизинец руки. Так сообщалось в Кабале, что для дибука самый лёгкий путь – выйти через мизинец.

Реб Лейб так и повелел дибуку. Дибук стал плакать, что выходить он не хочет. Реб Лейб ему объяснил, что если он не послушается, то раввин вкупе с другими раввинами объявит ему херем[107], и он попадёт навечно туда, где душу швыряют из конца в конец того света, и вовек не будет иметь спасенья.

Дибук ответил, горько рыдая:

«Я выйду уже, но пусть раби скажет, куда мне деваться…»

Реб Лейб не знал, что ответить дибуку и решил пойти к раввину и спросить, куда тому деваться.

Рядом стоял реб Липе Цукерман, большой богач, учёный еврей и немного апикойрес, которого тогда очень ценил губернатор, и особенно знаменитый тем, что знал почти наизусть несколько сот страниц Гемары. Этот Цукерман, также большой любитель шутки, нарочно пришёл на кладбище, чтобы посмеяться. И услышав, как плачет дибук и спрашивает, куда ему деваться, а реб Лейб собрался бежать и спрашивать раввина, Цукерман вдруг заявил:

«Стой, стой, я ему скажу, куда деваться. У меня для него есть хорошее место…»

Он подошёл, широко раскрыл рот и сказал:

«Иди ко мне в рот».

Рот он держал прямо перед лицом девушки.

Реб Лейб испугался, что дибук захочет войти в апикойреса, но дибук ничего не ответил. Похоже было, что он «не хочет». Но стоявшие там люди были поражены и напуганы тем, что еврей мог выступить и сказать дибуку, чтобы тот в него вошёл, и

подставить ему свой открытый рот!

И если бы это был не Цукерман, его бы убили и закопали на месте. Но Цукермана в городе боялись. А раввин сожалел, что дибук таки не вошёл в апикойреса – знал бы, как глумиться над такими вещами. Раввину было также немного стыдно. Он велел ехать с дибуком к ляховицкому раввину[108], и чем кончилось дело с дибуком, я уже не помню.

Глава 9

«Хаперы». – Арон-Лейбеле, Хацкель и Мошка. – Йоселе. – Служба в старое время.

Как раз к моему восьмилетию вышел знаменитый указ о том, чтобы брать в солдаты евреев с восьми лет, чтобы их можно было крестить[109]. Таких цыплят брали только один год. Позже поняли, что это было большой ошибкой. Может, один процент всех детей крестились, и даже это происходило под большим давлением. Их очень мучили, пока добивались, чтобы, может, один из сотни крестился.

А до этого матери всячески убеждали своих детей, чтобы те не крестились, и давали с собой каждому кантонистику пару тфиллинчиков. В сердце у них оставался материнский запрет вместе с её слезами, и они ни в коем случае не хотели изменять еврейской вере.

В Каменеце то время было в три «хапера», и один их них, Арон-Лейбеле, был настоящим злодеем, не имел в сердце ни искры жалости. Кроме него, было ещё двое – Хацкель и Мошка; и эти хаперы должны были хватать маленьких восьмилетних мальчиков и сдавать в солдаты.

В нашем хедере, у Моте-меламеда, учился среди хозяйских детей постарше, сирота Йоселе, сын богатого извозчика. Поскольку он был очень хорошим, способным мальчиком, а мать-вдова была богатой, она платила за своего сына большие деньги, чтобы он только учился у хорошего меламеда, с детьми из знатных семей.

Как-то днём в хедер пришли два хапера. Открыли дверь, стали на пороге и оглядели детей. Мы с моим дядей Исроэлем сразу поняли, что они пришли взять Йоселе в солдаты, схватили свечки раввинши, собираясь швырнуть им в голову. Потом мы на них закричали, что если они будут ходить к нам в хедер, мы им разобьём голову. Они попугали детей, но убежали.

В другой раз Арон-Лейбл воспользовался тем, что мы, дети, пошли из хедера на обед, чтобы попытаться схватить Йоселе. Тот его заметил и в меня вцепился. Арон-Лейбл отступил. Я, однако, успел швырнуть в него камень, попал в плечо, и он долго от этого страдал.

Я взял Йоселе за руку, отвёл к себе домой и попросил маму, чтобы пока пройдёт набор, она его у нас подержала, кормила бы его, а спал бы он со мной. Все мы, мальчики, очень любили

Йоселе за его ум и мягкость. Был он, кстати, очень красивый - прямо кровь с молоком.

Но городские старейшины твёрдо приказали хаперам схватить именно Йоселе. Никого другого хаперы не имели права взять и всё время его подстерегали. Один сидел в конюшне против нашего дома и день и ночь следил, не выйдет ли Йоселе из дома Арон-Лейзера, чтобы его схватить.

Три недели жил у нас Йоселе. Но, к сожалению, он соскучился по матери и выбежал из дому. Никем не замеченный, он быстро прибежал к матери. Но тут его схватил Мошка. И ничего не помогло. Мать, конечно, горько плакала. Можно себе представить: ребёнок уходит с солдатами, взрослыми гоями, до двадцати лет будет где-то пасти свиней, а потом двадцать пять лет служить![110]

Несколько недель Йоселе сидел в избе с зарешёченным окном и с железной дверью, возле большой синагоги. Там каждый год сидели новобранцы перед отправкой в Бриск к исправнику.

Йоселе в избе горько плакал, а рядом у матери чуть не разорвалось от плача сердце.

Потом асессор взял трёх десятских с телегой и посадил туда мальчика. Тот не хотел выходить из избы, вырывался, его связали, не жалея при этом ударов. Мать тут же лишилась чувств. Она оплакивала сына и умоляла его, чтобы он, Боже сохрани, не крестился, даже если его будут жечь, поджаривать, пороть и рвать тело на куски клещами: он должен всё выдержать, зато его святая душа вознесётся на небо.

Плач матери с сыном слышался на весь город, и там царил траур. Все женщины и мужчины послабее присоединились к плачу. Мальчики из нашего хедера все как один пришли (из других меламеды прийти не позволили), когда его забирали из камеры в большую телегу, запряжённую парой лошадей, чтобы увезти.

Мать поехала в Бриск на другой телеге и весь путь была в обмороке. Гоям приходилось приводить её в сознание, а у ребёнка не осталось сил плакать и он лежал полумёртвый в телеге. О том, что он уже несколько дней не видел никакой еды, нечего и говорить.

По приезде в Бриск волостной старшина рассказал исправнику, что они с помощником выдержали от матери с её рыданиями и обмороками. Поэтому исправник приказал десятскому вернуть её тут же в Каменец. Вернувшись домой, она пролежала два дня и умерла.

Исправнику было приказано никому не сообщать, куда он отправляет кантонистов. Их посылали далеко вглубь России.

Мне рассказывал крещёный кантонист, как в Саратове обратили в христианство за один раз шесть кантонистов из тридцати. Это случилось так: после того, как никакая порка не помогла, полковнику пришла в голову новая идея, как заставить креститься: посадили тридцать кантонистов в баню и поддавали больше и больше пару, пока не стало совсем невыносимо. Шестеро не выдержали и крестились. Остальные потеряли сознание. После попыток привести их в чувство, трое оказались мёртвыми.

Мой кантонист очень сердился на Бога. По его мнению, не может быть никакого Бога, если он способен видеть такие страдания и боль. А если он всё-таки есть, то это Бог зла…

Как сказано, восьмилетних мальчиков брали только в 1855 г. Вскоре увидели, что это непрактично с одной стороны, а с другой – трудно крестить еврейских мальчиков, даже и восьмилетних. И это отменили.

Йоселе пропал, как в воду канул, но примерно через год, на Хануку, прибыла в Каменец рота солдат, которая должна была там простоять, как это обычно бывало, несколько месяцев,. Каждые два-три месяца являлась новая рота, останавливалась на несколько месяцев и уходила. На её место являлась другая.

И как же мы были поражены, узнав, что вместе с ротой явился также сирота Йоселе. Арье-Лейб[111] тут же попросил офицера, чтобы тот разрешил Йоселе к нам приехать. Несколько солдат пришли с Йоселе в дом деда. Йоселе был босиком, в большой, грубой, гойской рубашке, длинной, до щиколоток, без штанов, в кожухе. Лицо опухшее, бледный, как смерть. Увидев его, мы заплакали, и больше всех я, так как я его любил, он был моим другом.

Я подошёл к нему и сказал:

«Йоселе, Йоселе..»

Бесполезно. Он не отвечал, он превратился в идиота, и что я ему ни говорил, как ни просил и ни плакал: «Йоселе! Йоселе! Йоселе!» - ответа не было. Ему дали чай с булкой, он не хотел ни есть, ни пить. Говорить было не с кем.

Можно представить, какой плач стоял во всём городе. Немногие его смогли повидать, поскольку офицер приказал, чтобы помногу не приходили. А я был совсем разбит и плакал по нему недели и месяцы.

Спросили офицера, откуда явился сюда кантонист, и тот рассказал, что когда всех кантонистов послали вглубь России, Йоселе заболел: ничего не хотел есть и только плакал, лёжа в лазарете в крепости. Лежал он долго и от недоедания и плача впал в идиотизм.

Но можно считать, что больше всего на него повлиял страх перед хаперами. Шутка ли – чтобы восьмилетний ребёнок чувствовал, что должен скрываться, чтобы его не схватили, как хватает кошка мышь. Это больше, чем страшно. За что его хотят схватить, он не понимал. Он только чувствовал, что его вот-вот схватят, схватят, схватят.

Впав в слабоумие, он начал есть и встал на ноги. Его выписали из лазарета и отдали солдатам. Его таскали за собой, но капитан его послал назад в крепость. Зачем ему возиться с идиотом? Солдаты ещё загубят ему «жидочка».

На следующий (5616) год указ уже отменили, но пришла другая беда к евреям: было приказано, что город вместо своих может сдавать в солдаты евреев другого города.

Тут пошло у евреев настоящее хватание. Игра в хватание. Грандиозная кровавая игра. Чтобы схватить солдата, хаперы приходили из дальних городов,. Приходили ночью и забирали самых богатых и красивых молодых людей, у которых уже было по несколько детей.

Сцены были – из самых ужаснейших, какие бывали в еврейской среде. Хаперы приходили в город в тишине - никто не должен был об их приходе знать, являлись в полицию, с бумагой от местных сборщика и асессора. В бумаге говорилось, что они – хаперы. Полиция давала в их распоряжение десятских и солдат, сколько им требовалось, и посреди ночи они стучали в двери. И если двери открывались не сразу, у них на этот случай были инструменты для взлома дверей вместе с замком. Врывались в дом, попросту хватали с большой жестокостью молодого человека и убирались прочь.

Стоило в доме услышать, как полиция стучится в дверь, на всю семью нападал смертельный страх. Иной раз хаперам и полиции оказывали сопротивление. Брали топор, ножи, железные прутья, молотки или готовились заранее. И когда те являлись, домашние на них нападали и били вусмерть.

Но хаперы, со своей стороны, тоже не терялись. Они брали с собой ломы и железные палки, и в доме начиналась настоящая война. Кровь лилась рекой, дрались из последних сил, и на чьей стороне было больше силы, та и побеждала. Естественно, что чаще побеждали хаперы.

Если молодого человека хватали, ничто уже не могло помочь. Это могло дорого стоить. Хаперы ставили на карту свою жизнь – либо они брали, либо убирались покалеченные.

Матери рекрутов в большинстве умирали от горя, отцы и жёны оставались калеками после домашней битвы. Крики и вопли семьи достигали неба. И главное, ты имел уголовное дело за

сопротивление полиции, за убийство, за драку железными прутьями и т.п.

Людей сажали в тюрьмы, судили, они беднели. Прежде богатые семьи вконец разорялись. Но никого не удивляло, что семья готова жертвовать жизнью и имуществом, чтобы спасти сына от солдатчины. Все тогда хорошо знали, какие жестокие испытания приходилось вынести солдату за двадцать пять лет службы.

Помню, как у нас стояло полроты солдат, и я мог видеть, как идёт николаевская служба.

Солдат муштровали на базарной площади, и если солдат не так хорошо обращался с ружьём или не так хорошо стоял, то унтер-офицер крутил ему ухо или нос, лупил без жалости, и мне казалось, что ухо и нос остались у унтер-офицера в руке. Или он так жестоко бил солдата железным прикладом, что тот сгибался вчетверо и аж становился синим.

Пороли жестоко, у всех на глазах, за малейшую провинность. Розги были каждый день свежие, только что нарезанные в лесу и принесённые в город. И каждый удар такой розги вырывал полосу из тела.

У Мошки в корчме, помню, остановился офицер, настоящий убийца. Это был красивый дом с большим овином, куда могли въехать несколько телег

У Мошки всё было сдано офицерам. В овине пороли солдат. Хорошо помню розги, каждый день слышались их удары. Иногда пороли одного солдата, иногда – троих за раз. А после порки, когда мы, дети, пробирались в овин, земля была пропитана кровью.

Раз офицер запорол трёх солдат до смерти. Он приказал дать по пятьсот ударов, и на восьмидесятом-девяностом ударе они умерли. Сам офицер стоял и кричал: «Покрепче, покрепче!» А если офицер сказал «пятьсот», то и должно быть пятьсот. Двое секли, а один считал удары.

Солдатский хлеб был грубый, чёрный, без соли, без вкуса, невозможно было его взять в рот. Офицеры хорошо жили, вовсю воровали у солдат, которым не давали мяса, а если уже давали, то это была костлявая падаль. Офицеры всё продавали: выдавали подрядчикам квитанции, что получено от них столько-то муки и столько-то мяса, но на самом деле не получали и трети продуктов. Солдаты регулярно были смертельно голодны и потому большинство воровали, и никакие розги не помогали, так как они были голодны, измучены недостаточной и плохой едой, битьём и розгами. Видя эту тяжкую, горькую жизнь николаевских солдат, с долгими, трудными годами службы, неудивительно, что

члены семьи готовы были жизнью пожертвовать, лишь бы не отдать своё дитя чуть не навсегда в такие жестокие руки.

Система «хватания» с помощью посторонних хаперов тоже продержалась не больше двух лет, пока не увидели, что она бесполезна и не отменили её. Каждый город стал отдавать солдат только из своих жителей, а не со стороны. Но так как многие жители проживали не в своём городе, а в чужом, то от каждого города посылались хаперы, чтобы хватать своих жителей. При этом на деле происходило жульничество. Города давали имена тех, кто у них не был записан, кто не был записан нигде, и их хватали как записанных и сдавали в солдаты. Города также вписывали в реестры много лишних имён. Тут тоже было жульничество, и очень простое. У каждого еврея бывало тогда, по большей части, по два-три имени. Например, кого-то звали Яков-Йосл-Лейб. И один получал паспорт как Яков Минц, второй – как Йосл Минц, третий – как Лейб Минц, а четвёртому просто выдумывали имя. Так жил еврейский мир в России до 1874 года.

Если в солдаты сдавали тех, кто не уехал, таких ещё надо было поймать. Сам человек был не обязан являться. Но если уже схватили, то всё пропало. Можно понять доходящие до драк жестокости, происходившие между семьёй рекрута и хаперами. И трудно представить, какие железные сердца надо было иметь хаперам. Они были отвратительнее нынешних палачей. Постоянно приходилось бить, забивать – и плач отцов с матерями, сестёр и братьев и всей семьи, все те душераздирающие сцены – их ни на волос не трогали.

Хапер Арон-Лейбл в глазах людей был чем-то вроде зверя. На лице было написано: убийца. Его страшно ненавидели. Им пугали детей, он служил для всех примером всего самого безобразного. Желая кого-то покрепче обругать, говорили:

«Вылитый Арон-Лейбеле».

Такое оскорбление было трудно простить.

Я уже рассказывал, как по-детски воевал с «хаперами» – по своему почину - от отвращения, от того, что не мог на это смотреть. Вот ещё один случай:

Помню, что однажды я и ещё несколько мальчиков стояли у дома магида. Вдруг видим – мимо со странной поспешностью бежит столяр Довид. Я тут же понял, что за ним охотится Арон-Лейбеле, чтобы схватить и отправить в солдаты. Так оно и было: тут же за ним следом мчался Арон-Лейбеле. Совершенно инстинктивно, лишь по внутреннему побуждению, я ринулся вперёд и подставил ему подножку. Он упал и раскровянил себе, как свинья, нос. Мальчики разбежались, а я стоял и кричал:

«Арон-Лейбеле, чтоб ты умер насильственной смертью!»…

Он встал и вытер текущую из носа кровь своим большим, грязным платком. Мне он не посмел сказать ни слова, но доложил обо всём отцу. Отец мне отпустил оплеуху, приговаривая:

«Он-таки Арон-Лейбеле, но ты ему подножку ставить не должен».

Дед постепенно совсем отошёл от городских дел, только если требовалось вмешательство исправника, то кто-то из городских старейшин приходил и просил его тому написать. И исправник делал всё, о чём дед просил.

А во время набора семьи попавшихся рекрутов всегда приходили к бабушке Бейле-Раше и плакались перед ней, прося её повлиять на мужа, чтобы освободить рекрута. Они не шли ни к сборщику, и ни к кому из старейшин и не плакались перед ними - только перед бабушкой. Потому что знали, что хотя Арон-Лейзер не вмешивался в дела набора и даже не знал, кого назначили взять в рекруты, но если он скажет, что того рекрута, которого уже взяли, надо освободить, его тут же освободят без разговоров; и вместо него пойдёт другой. Такое уже бывало, поэтому к ней и шли плакаться, и она просто не имела сил жить.

Глава 10

Заставье. – Большие споры. – Клятва. – Надувательство. – Борьба деда. – Мир. – Помещики и крестьяне. – Порка крестьян.

Молодое поколение жителей Заставья выделялось как большие интриганы. Им хорошо жилось, были они богатые, грубые и ни в чём не знали нужды. Заводить в городе интриги стало для них чем-то вроде спорта.

Они не могли не завидовать тому, что Арон-Лейзер со всеми детьми так широко живёт с аренды, не могли допустить, чтобы Арон-Лейзеру было так хорошо, и за аренду он почти не платит; и незадолго до приезда помещика Осеревского задумали настоящую компанию - явиться к Осеревскому и пообещать ему три тысячи рублей в год вместо тысячи двухсот, которые платит Арон-Лейзер. Для подкрепления - ведь знали, с кем предстоит бороться – к компании примкнули все наглецы, все буйные, заключив между собой союз, и так усилились, что приготовились отобрать аренду насильно: рискнуть всем своим состоянием и даже пролить кровь, лишь бы отобрать у Арон-Лейзера аренду.

Узнав об этом, дед поехал к исправнику и сказал, что хочет быть сборщиком. Исправник тут же поехал в Каменец, забрал печать и книги у сборщика Б. и передал деду. И дед принялся за дело. Во-первых, он послал десятского забрать у «оппозиции» из Заставья кастрюли, подсвечники и часы – всё, что у них только найдётся, и даже постели – то, чего отбирать не было права. Но кого дед слушал? Исправник-то был на его стороне. Потом он нашёл старые долги, которые оставались за городом и потребовал заплатить всю сумму зараз. Он также обложил каждого такими большими выплатами, что многие не смогли справиться. В городе поднялся большой шум и люди убедились, что с Арон-Лейзером бороться очень трудно. Кстати, и они себя с ним вели не совсем честно: хотели ни за что ни про что отобрать аренду.

Послали к Арон-Лейзеру раввина – просить ради мира в городе отказаться от должности сборщика, а они, со своей стороны, поклялись всеми возможными клятвами не перекупать аренду. Дед вовсе даже не желал мира, но мой отец и дядя Мордхе-Лейб, а также и дед Юдл с бабушкой Бейле-Раше – все настаивали, что надо идти на мировую.

Было решено, что вся та публика, что считала, что надо перекупить аренду - всего, как подсчитал дед по записке, человек семьдесят, должны поклясться в большом бет-мидраше, при

талесах и китлях[112], каждый с книгой Торы в руке, при звуках шофара и при горящих свечах - что они больше не будут причинять деду неприятности. Это была одна из самых торжественных клятв.

Помню, как весь город пришёл в старый бет-мидраш. Людей на улице вокруг было – как градом насыпано. Дед явился, когда «оппозиция» уже была в сборе. Поклялись, как постановил дед. В той же клятве было сказано, что не только они, но никто вообще не должен обращаться к Осеревскому, чтобы перекупить аренду. Наутро дед послал письмо исправнику, что отказывается от должности сборщика. Исправник, который прекрасно знал обо всём, согласился.

Но деда всё-таки обманули. Когда пришло время и приехал Осеревский, жители Заставья привели двух евреев из Белостока, которые к нему пришли и дали за аренду ровно тысячу восемьсот рублей.

Явившегося к нему деда Осеревский спросил:

«Дашь тысячу восемьсот?»

«Дам», - сказал дед.

Евреи тут же подняли цену:

«Две тысячи четыреста рублей!»

Но Осеревский на это ответил:

«Для меня не играют никакой роли несколько сот рублей. Пусть аренда останется у прежнего арендатора. Он уже так давно её держит, и пусть держит, пока я жив»…

Так аренда осталась у деда и дальше, но уже не на три года, а навсегда, то есть, пока Осеревский жив, только на шестьсот рублей больше из-за тех евреев, что вызывало у деда большое раздражение и досаду - ведь они нарушили клятву! Дед снова вскипел и стал выискивать в контракте с помещиком все те выплаты, которые город ему должен. И нашёл пошлину за кожу, которая не была получена, что развязало ему руки. Он вызвал мясников и заявил, что перед тем, как заколоть скотину, им следует прийти к нему за справкой и заплатить девяносто копеек за взрослое животное и тридцать за телёнка. Мясники уже знали, что если Арон-Лейзер что-то прикажет, то по-другому не будет. Они повысили цены на мясо, что вызвало в городе такое волнение, какого не было с тех пор, как существует Каменец.

«Оппозиция» в Заставье взбунтовала весь город. Не столько волновало, что подорожало мясо, как важно было поднять шум и крики. Не в состоянии победить в вопросе об аренде, в чём они вели себя недобросовестно, здесь они могли делать, что хотели. Здесь они как будто противились кривде, совершённой против всего города. Борьба стала такой острой, что выглядела, как

настоящая война. У нас перестали покупать водку. Банда в пятьдесят человек выехала из города, привезла бочку водки, поставила на базаре, продавая свободно всем желающим.

Вокруг бочки с водкой собралось несколько сот человек. Приготовились драться не на жизнь, а на смерть с полицией Арон-Лейзера, Дед взял у управляющего имением тридцать гоев, у асессора десять десятских и своих двух человек – Хацкеля и Кивку, и с их помощью отобрал бочку с водкой. Понятно, что произошла драка, выглядевшая неслыханно безобразно с обеих сторон.

Дед привёз одного писаря, некоего Тверского, чтобы писал целый день протоколы и отсылал исправнику. Бочку много раз ломали и выливали водку, но через два часа уже стояла новая бочка водки под охраной сотни людей, и целый день шла драка.

По просьбе исправника дед ему послал все протоколы. А они послали доносы губернатору о том, что Арон-Лейзер уже много лет грабит город, беря деньги за такие вещи, которые помещик не записал в контракте и т.п. Губернатор запросил исправника, а тот, конечно, ответил, что арендатор прав, а те – бунтовщики. Стали писать доносы на обоих – на Арон-Лейзера и на исправника, будто они делятся награбленными деньгами.

Война в таком роде тянулась полгода; целыми днями шла драка. Вся наша семья ходила по улице и в бет-мидраш и никто не смел нам сказать дурного слова – так велик был страх перед Арон-Лейзером.

От губернатора таки приехала комиссия из шести человек во главе с исправником, чтобы расследовать, кто прав, а кто виноват. Естественно, что за несколько недель до комиссии исправник дал знать деду, чтобы тот хорошо подготовился и освободил у себя место для проживания двух членов комиссии - для него и ещё для кого-то. Четверо будут жить у асессора.

В борьбе дед использовал все средства. Прежде всего обратился к широкой массе, которая всегда держала его сторону и была готова за него в огонь и в воду. Им выдали в большом количестве водку. На закуску было вдоволь гусиной «пульки». Условились, кто что скажет, и дали с собой по бутылке.

Наш «единственный сын» целый день их обрабатывал, обучая, что им говорить, а тех, кто совсем не знал русского языка, обучили нескольким необходимым словам – для этого у него были специальные помощники, а он стал начальником.

Дед составил список всех свидетелей со своей стороны и послал исправнику. Противники его также составили список своих свидетелей, придерживая его до приезда комиссии, которой они этот список предъявят.

Комиссия приехала в Бриск и представилась исправнику. Исправник подержал почтенных гостей несколько дней у себя. Как обычно, ели и пили. Под конец, он с ними как нужно договорился.

И вот комиссия прибыла. Исправник и ещё один член комиссии остановились у дяди Мордхе-Лейба, а остальные четверо – у асессора. В первый день асессор устроил для комиссии торжественный обед, а на завтра то же повторилось у исправника, в доме Мордхе-Лейба. Деньги на обед у исправника, понятно, были дедовы, и это ему таки обошлось достаточно, так как он не скупился на самые дорогие блюда, вина и коньяки.

На третий день комиссия начала следствие, на которое пришли все жители. Волостной старшина вызвал всех свидетелей по данному дедом списку. Эти свидетели заполнили у асессора все комнаты и коридор – всё было забито свидетелями деда. Их по одному вызывали в комнату, где заседала комиссия и где с ними обращались вежливо и деликатно: это ж свидетели деда!..

Свидетели же со стороны города стояли на улице, возле дома асессора. Три дня они стояли на ногах под дождём и на ветру – время было осеннее.

У асессора во дворе уже готовилась для нуждающихся свидетелей водка с доброй закуской. Городские этого, конечно, не имели и были голодны и измучены ожиданием. Это плохо влияло на свидетелей, а кроме того, с городскими свидетелями, после долгого ожидания, обращались во время допроса грубо и плохо – ругались и кричали, так что было ясно, что у тех, кто на стороне города, положение плохое.

Город охватил мрак, и виновным посчитали исправника. Свидетельство со стороны города совсем не было выслушано.

Ненависть к исправнику усилилась. И однажды, когда он шёл от асессора к себе в контору, его у самой террасы забросали камнями и грязью. Исправник вместе с другим чиновником быстро проникли через террасу в помещение, а все стены осталась измазаны грязью.

Естественно, что тут же пришёл асессор с десятскими и солдатами. Исправник вышел на террасу и велел всех, кто стоял на рынке у дома, связать и послать в Бриск. Первым схватили меламеда Шломо, нищего шлимазла. Когда его стали вязать, он притворился, что ему плохо. Поднялся крик, что Шломо меламед умирает, что десятские его убили; исправник тут же велел отвести меламеда по соседству к доктору Хацкелю. Но поскольку у врача его не смогли привести в чувство, исправник приказал вернуть его на рынок, где Хацкель ему сделает клистир… Меламед тут же очнулся…

Исправник собрался уезжать. Занят он был уже не следствием, а только «мятежниками», а это совсем другое дело.

Домовладельцы все бросились к деду, умоляя помочь замять дело, прося прощения и обещая, что деньги, затраченные им на всю эту историю, как и другие траты, будут ему возвращены.

Дед не хотел с ними вступать ни в какие мирные переговоры. Тогда обратились к моему отцу, к дяде, к деду реб Юдлу и особенно к бабушке Бейле-Раше. Так долго старались и просили семью, пока не добились мира. В этот мир были замешаны также посторонние люди. И первой стояла за мир дорогая сердечная бабушка Бейле-Раше.

После заключения мира деду принесли все деньги по счёту, который он представил, и подписали бумагу о том, что прощают друг другу. Подписалось шестьдесят человек под бумагой, где было сказано, что они ему никогда не будут ни в чём перечить и всегда помогать, когда он попросит. На этом свара закончилась, и после заключения мира налог на кожу тоже был отменён.

Деду пришлось очень постараться у исправника, чтобы тот считал всё дело законченным. Все бумаги ещё были в Бриске, комиссия за изучение следственных материалов не принималась, поэтому хлопотать у исправника пришлось долго.

Мир с тех пор больше не нарушался. Дед вёл свои дела, а в случае, если город должен был что-то для себя устроить, через него всего добивались. Вмешиваться в городские дела он абсолютно отказывался.

Мы держали аренду до самого польского восстания 1863 г., когда аренду у помещиков совсем отменили. Как я уже говорил, дед меня любил за то, что я был мальчиком, который имел привычку прислушиваться к тому, о чём говорили взрослые, о чём говорит дед с людьми, и всё запоминать. Всем нравилось, что я стою и смотрю человеку в рот - что он говорит, и знаю все подробности споров.

Дед любил меня брать с собой к жившему поблизости помещику, также любил со мной говорить и рассказывать о том, что может понять мальчик. Помню, как однажды мы приехали в Рименич в поместье одного помещика (забыл его имя). Приехали мы в час дня, и дед спросил у стоящего возле террасы комиссара:

«Где помещик?»

Тот говорит с насмешкой:

«Сечёт гоя перед обедом».

Бывало, что помещику не хотелось есть, но выпоров крестьянина, он ел с большим аппетитом.

Нас попросили в комнату; где мы ждали целый час. Помещик пришёл, разгорячённый и красный, с горящими глазами, но

увидев деда, обрадовался и протянул ему руку:

«Jak sie ma, pan Kotik, moj kochany[113], кто этот мальчик?

«Это мой внук», - отвечал дед.

Помещик погладил меня по щеке и сказал:

«Ещё молодой, а уже имеете такого хорошенького внука».

Они тут же ушли в другую комнату обсуждать свои дела. Потом мы ехали назад.

Я не понял, что сказал комиссар деду насчёт порки и по дороге спросил деда:

«Почему он вышел такой красный и возбуждённый? Что с ним было?»

Дед мне рассказал длинную историю про помещиков и крестьян, я узнал про крепостных, про все несчастья и про то, что крестьян секут безо всякой жалости и о других подобных вещах. Я спросил деда:

«Просто так сечь людей – как это он не имеет никакого страха перед Богом, и как это у него такое каменное сердце? Я бы с таким помещиком не имел никаких дел».

Дед ответил:

«Если бы так, то ни с кем из помещиков нельзя иметь дело. Но жить-то, дитя моё, надо, что поделаешь?»

Однажды я был с дедом в Пруске, у Вилевинского. Когда мы собрались уезжать, помещик с дедом пошли на винокурню, где делали вино, и я пошёл следом. У винокурни в тот момент гой рубил дерево. Но увидев помещика, тут же отшвырнул топор и стоял, бледный как смерть, дрожа всем телом, будто увидел волка. Это была такая страшная сцена, которую я никогда не забуду. Я в тот раз ясно увидел, что такое помещик и что такое крестьянин, крепостной.

И ещё я помню страшный случай, который произвёл на меня ещё большее впечатление, так что до сих пор мороз подирает по коже при воспоминании о нём.

В том же году Почёша, помещичий комиссар, высокий и толстый гой (в нём было наверное двенадцать пудов), чинил между Каменцем и Заставьем плотину с тремя мостами. Он приказал вывезти пятьсот возов с землёй и прутьями, чтобы насыпать на плотину, повреждённую на Песах во время наводненья. Помню, что в субботу, в десять часов, я пошёл посмотреть, как чинят плотину и как доставляют на возах нужные материалы. Почёша стоял и наблюдал. Один крестьянин опоздал на час. Тут же Почёша приказал ему лечь и, взяв у него же кнут для лошади, хороший, крепкий кнут, сам его выпорол. На пятидесятом ударе крестьянин остался лежать мёртвым. Но Почешу это вовсе не тронуло, он хладнокровно велел сыну этого

самого крестьянина с женой увезти на той же телеге мёртвого… Никто не посмел ни плакать, ни стонать…

Однажды я был с дедом в поместье, в нескольких верстах от Каменца. Поместье было небольшое. Небольшие поля с лугами, но земля была «золотой жилой» - сто десятин больших садов, маленький чистый пруд с рыбой и помещичий дом – маленький, но красивый.

Уезжая со двора, я сказал, что мне очень нравится - и так недалеко от города. Дед рассказал, что девять лет назад здесь жил другой помещик, у которого не было детей. Перед смертью он просил позвать священника и деда, чтобы написать в их присутствии завещание. Этот помещик имел, кроме того, и другие имения. Поместье Старшев он хотел подарить деду. Но дед отказался. Тогда помещик ему отписал три тысячи рублей.

«Сейчас я хочу взять поместье в аренду – оно рядом с городом и будет приносить тысячу рублей в год…»

На мой вопрос, почему он не хотел иметь такое красивое поместье бесплатно, дед ответил, что жить в деревне, а не в городе, считалось тогда чем-то неприличным. Лет через двадцать, после освобождения крестьян и после польского восстания, дед таки взял поместье в аренду и платил тысячу пятьсот рублей в год.

Глава 11

Моя мать. – Раввин Лейзер. – Страдания моей матери. – Каменецкий раввин. – Бабушкин совет.

Мать моя в доме деда была, словно Божье наказание. Она не подходила к дому. Воспитана она была таким отцом, как раввин Лейзер из Гродно, который с восьми лет не смотрел на женщин, и когда после своего тестя, р. Хилеля Фрида, зятя р. Хаима Воложинского, был в Гродно учителем меламедов, то перед ним по улице шёл шамес и сгонял всех женщин с тротуара.

Приходя по пятницам в баню, р. Лейзер раздевался вместе с бедными людьми. И увидев у бедняка рваные сапоги, с ним менялся, то же и с рваной рубахой и штанами: он отдавал бедным собственное и надевал бедняцкое. А когда приходил домой – в рваной, паршивой одежде под капотом со штреймлом, бабушка его не узнавала. Этого, говорил он о штреймле и капоте, уже нельзя поменять. Бабушка, конечно, от таких действий подымала крик: для неё это было таким расходом, с каким не было сил сладить, город в те времена платил раввину мало, так что им с трудом хватало на жизнь, а готовить мужу каждую пятницу новую одежду – на это головы не станет. Но он её утешал тем, что бедняку важнее иметь хорошие сапоги, так как он, несчастный, должен ходить, чтобы заработать деньги; а в рваной одежде и рваных штанах он ещё может, во-первых, простудиться, а во-вторых, долго в такой одежде в поисках работы не походишь.

Бабушка не хотела его огорчать, шла к себе в комнату и плакала. Но об этом деле стало известно в городе. Нашёлся богач, который себя держал за родственника, и стал посылать бабушке в пятницу вечером одежду, чтобы раввин мог свою раздавать.

У него было много книг, которые стоили тысячи рублей. Эти книги он унаследовал от отца, р. Ехезкеля, и от тестя, р. Хилеля, и ими был полон весь дом.

Он обычно сидел в комнате с закрытой на цепочку дверью и занимался. В комнате была маленькая дверца, которую он открывал, когда стучалась его жена раввинша. Когда приходили женщины с вопросами, раввинша выслушивала вопрос и передавала мужу через дверцу, и он решал. Когда возникал вопрос о трефном или по поводу кур[114], раввинша протягивала ему через дверь объект вопроса, а он осматривал и решал. Раввинша поэтому стала большим специалистом в этих вопросах и в большинстве случаев решала сама. Муж выслушивал её

мнение и проверял, а позже уполномочил её выносить решения по самым лёгким вопросам. Она также вполне была способна выучить лист Гемары и даже считалась за учёного.

Р. Лейзер читал вместе со всеми только «крият-шма»[115] и «Шмона-эсре»[116] И даже это было для людей трудно. Приходилось долго ждать, не меньше часу. Прочие молитвы он всегда читал «для себя», и это продолжалось по два часа. Благословения продолжались у него по часу. При каждом слове он ревностно возносился взглядом к Всевышнему, вникая в смысл молитвы. Он стал большим знатоком в Вопросах и ответах[117] - и к нему обращались раввины со всего Виленского округа. У него также имелись книги с вопросами и ответами, которые нигде не купишь.

Дом его всегда был полон раввинами и учёными. Гродненские учёные любили даже поговорить о Торе с раввиншей - к нему самому было трудно подступиться. К учёным вопросам она подходила со свойственным ей здравым смыслом, а если в чём-то затруднялась, то спрашивала у него, когда никого не было.

Мою мать начали сватать с двенадцатилетнего возраста; но только дед, который понимал в людях, не мог сделать выбора. Он, наверное, искал такого жениха, чтобы отличался и в учении, и в родственных связях. А когда такой нашёлся, то не понравился бабушке. Она не хотела, чтобы у её дочери был муж шлимазл, говоря, что шлимазлник-раввин – это тоже плохо для жены и детей.

У него она имела большой авторитет: была из хорошей семьи, очень умная, и как раз благодаря ей он смог стать таким честным евреем, как ему хотелось. Она много страдала от его набожности и доброты, и если во время еды приходили в дом бедняки, он приглашал всех к столу и предлагал лучшие куски. Он говорил, что бедняк так голоден, с такой жадностью ест свой кусок хлеба, что трудно смотреть… И таким образом он мог позвать к столу десять-двенадцать бедняков. Все домашние выходили из-за стола голодными, но если ещё для нескольких бедняков не хватало, он посылал купить хлеба и булок, и из них никто не уходил голодный.

Раввинша часто плакала и жаловалась, что не может выдержать расходов, хотя и получала большую поддержку от своей раввинской семьи, где знали об их положении. Также и богачи были, которые хорошо помогали. Но всего этого было мало р. Лейзеру для его бедняков, которых он хотел поддерживать. Она с детьми почти терпели голод.

К моменту, когда посватался мой отец, дочь уже была, как тогда считалось, «старой девой»: восемнадцати лет, а может, и

девятнадцати… Мать плакала, как было тогда принято, что дочь – такая взрослая, и это – в семье таких учёных. Сватовство приняли с радостью, поскольку жених понравился обеим сторонам – и раввину, и раввинше. С одним лишь недостатком: сват был простым человеком – крепким хозяином, помесячным старостой. Для них это был большой удар, ужасное пятно на семейной репутации.

Но благодаря двум обстоятельствам – дочь уже «старая дева», и брат теряет место раввина[118]– пришлось согласиться с тем, чтобы взять жениха на пробу. Р. Лейзер видел, что у жениха хорошая голова, и он может ещё стать большим учёным. Отец мой был умным мальчиком, а его отец, Арон-Лейзер, его научил, как ему держаться, приехав в Гродно к свату, и отец себя вёл, как наивный святой, не умеющий считать до двух, весь интерес которого – Тора и молитвы.

Перед поездкой в Бриск на обсуждение условий к тому времени двенадцатилетний мальчик просмотрел всю книгу «Основа и корень служения» и явился к богобоязненному свату с усталым, нахмуренным лицом, хоть был свежим, здоровым мальчиком.

Короче, он понравился – и свату р. Лейзеру, и сватье. Она увидела, что он и умён, и красив, и была уверена, что из него конечно получится хороший раввин.

Мама, воспитанная в таком благочестивом доме, в семье таких праведников и мудрецов, пришла, бедняжка, в дом, в котором не слышно было слова Торы. Между людьми, приходившими к её свёкру, не видно было ни одного раввина, ни одного учёного, ни одного праведника, одни обыкновенные евреи. А еврей, если он не раввин, не имел для неё никакой цены. Более того, она их просто за людей не считала. Только крутятся рядом евреи, и никто не учится, никто не молится – ни приличий, ни благочестия – просто садятся три раза в день за трапезу, и при этом ругаются, сплетничают, и тому подобное.

Прибавить к тому же, что мама, благословенна её память, была не слишком умна, можно себе представить, как она не подходила к нашему дому.

Мужа она любила, как любила родителей, так как помимо прочего, он был очень добрым, честным и тихим человеком. Дед Арон-Лейзер не слишком любил невестку, сторонился её. Бабушка Бейле-Раше также не была ею довольна. Мама не была хорошей хозяйкой, не умела варить и печь, как в те времена умели женщины, не умела шить – что умели тогда даже маленькие девочки.

Зато была она очень благочестивой, и хотя Гемары не знала,

но «Обязанности сердец»[119] и «Светильник»[120] знала хорошо, чуть не наизусть. «Обязанности сердец» она учила всё время и так была этим поглощена, что её почти совсем не трогало, что её муж стал хасидом, и отец, который стал хасидом сразу после свадьбы, увидев, что жена ему не мешает, особенно её за это ценил.

Через какое-то время мать привыкла к дому со всеми его гостями, и чтобы удержать их от злословия, сплетен и ругани, держала при себе маленькую книжку «Обязанности сердец», и когда кто-то начинал злословить, тут же его поучала, вычитывая отрывки, в которых говорилось о том, каким большим грехом является злословие. Она просто не давала им жить. Поначалу им было с ней трудно: возись тут с богомольной тёткой! Но потом привыкли, а некоторые даже вовсе воздерживались в её присутствии от всякой дурной речи.

Её часто навещал каменецкий раввин, её дядя. Просто приходил к ней в дом, что было необычной вещью. Он ни к кому не ходил. Кстати, его брат просил его приблизить к себе его дочь, навещать её. Её отец понимал, что она попала в дом, который должен быть ей чужд по её воспитанию, и ему было важно, чтобы его брат уделил ей внимание и частыми посещениями, возможно, смягчил сердце свёкра, относившегося к ней не совсем хорошо.

Года через три деда уже перестала привлекать идея породниться с большими раввинами. Он видел, что явно просчитался с невесткой, дочкой раввина, и стал считать, что это вовсе не такое счастье – ради родства причинить зло своим сыновьям, дав им такую шлимазлницу в жёны.

Своему Йоселе он устроил аристократический шидух самого высокого ранга. Тут он уже искал чисто мирские достоинства: красоту, положение, способности – и это он нашёл.

Это была дочь известного купца, не из городских жителей, и очень красивая.

Справили свадьбу, красивая невестка приехала в Каменец в карете, запряжённой четвёркой, словно помещица. На красоту невесты сбежался смотреть весь город, восхищались её очарованием, элегантностью, дорогими украшениями. Нет слов описать радость Арон-Лейзера. Она, к тому же была умной, хорошо воспитанной, тактичной, деликатно относилась к людям и была прекрасной хозяйкой.

Дед питал к ней странную любовь, всё время держал возле себя, она ему была дороже всех детей.

С приходом Йохевед положение моей матери очень ухудшилось. Если раньше её не любили, но хотя бы ценили её происхождение, то теперь, с появлением новой, красивой невестки, раввин перестал навещать свою племянницу, и дед её

просто возненавидел. Разница между раввинской дочерью и дочерью реб Шимона Дайча была слишком заметна, и последняя его прямо очаровала.

Положение мамы стало невыносимым также из-за ревности- все любят молодую невестку, все ей делают комплименты свёкор цацкается с Йохевед, а на неё даже не смотрит. Она часто сидела и плакала, перестала заходить в комнату, где бывал свёкор со всеми своими гостями из Каменца. А каменецкие люди были просто рады, что избавились от той, которая им регулярно отравляла жизнь, не давая говорить, что им хочется.

Молодая невестка принесла новые порядки в дом и в хозяйство – все аристократического рода. Готовила новые блюда, всякие новые печенья - она просто не умела сидеть без дела. Там что-то обновит, тут переделает, починит бельё, сошьёт женщинам платья, а мужчинам брюки. Дом приобрёл новый вид, в нём стало светлее и чище, и вся семья сделалась чище, нарядней.

Мама много раз бегала к раввину, чтобы выплакать свою душу. И раввин её утешал и успокаивал тем, что муж её выше мужа Йохевед.

Действительно – хотя Йоселе тоже был вполне приличный молодой человек, честный и порядочный, и тоже был способен учиться, но Мойше, мой отец, был умнее, одарённее и благороднее его.

Когда мама плакала у себя в комнате, отец её утешал теми же словами, что и её дядя, раввин. Но ничего не помогало. Тогда он решил насовсем переехать из родительского дома в отдельную квартиру, покончив таким образом с ненавистью и ревностью. Она себе будет учить свои «Обязанности сердец», «Светильник» и «Книгу благочестивых»[121] Простое выполнение религиозного обряда – бессмысленно, если не исходит из благочестивого настроения и не имеет своим последствием нравственное совершенствование. Книга выдержала несколько изданий в переводе на идиш) – и в доме станет спокойно.

Но он боялся предложить отцу такую вещь и пошёл к своей матери за советом. Он знал, что мать имеет большое влияние на отца, который её слушается и в более важных вещах.

Мать ему дала совет - написать отцу хорошее письмо, рассказав, как его Сара день и ночь плачет и сообщить, что он хочет переехать в другую квартиру. Он очень боится слёз её, бедной сироты – отец её к тому времени уже умер - и другого пути её успокоить, как только поселиться отдельно, он не видит.

«Напиши такое письмо отцу, - посоветовала она ему, - оно дойдёт до его сердца. Он ведь приличный еврей, и такие слова, как «слёзы», «покойные родители», «праведники» на него

повлияют. Он конечно расскажет мне о письме, наверное попросит совета, и я уже знаю, что ему сказать».

Так он и сделал. Дед получил письмо и сначала рассердился на сына, захотевшего изменить правилу, которое он не желал менять ни за что на свете – жить всем детям вместе. Но слёзы взрослой женщины запали ему в сердце. Он почувствовал страх – не дай Бог, её праведники-родители нашлют на него проклятье. Он ни на что не мог решиться и пошёл советоваться со своей женой Бейле-Раше.

Мудрая Бейле-Раше на это ему сказала, что и она очень неспокойна оттого, что Сара постоянно плачет: ведь с такими большими праведниками, как её родители, надо очень считаться – не дай Бог, до них дойдут её слёзы.

«Я очень перед ними дрожу, - сказала бабушка, - да и Мойшеле нашего жалко: что же ему портить жизнь из-за её слёз?»

Ещё заметила бабушка, что с невесткой они здорово просчитались. Она-таки шлимазлница, неспособная завязать кошке хвост. Но тут уж ничего не поделаешь, пусть хоть живут, горя не зная.

Бабушка умела говорить и когда надо, повлиять на деда.

Отец своего добился: снял у Шломо Йореса за двадцать рублей в год трёхкомнатную квартиру с кухней, и перед мамой открылся новый мир. Стала она жить по своему вкусу и желанию - сидела всё время над своими книгами и в глаза не видела Йохевед со свекровью и со всем каменецким народом. Иногда ходила к своему дяде и часами сидела с раввиншей. О заработке, как другие жёны, мама не заботилась, её это всё не касалось, не знала, что значит приготовить обед, и когда он должен быть готов – это было не её дело. О том, чтобы шить или починить рубашку, не было речи. Даже шабат и праздники проходили без её участия, словно она не была хозяйкой.

И так она прожила с отцом тридцать лет – спокойно и размеренно. По девять месяцев была беременной, по два года кормила, каждые три года – новый ребёнок. Внимание уделяла только ребёнку, которого кормила, и «Обязанностям сердец».

Отец никогда не говорил с ней о делах и не спрашивал, что будет сегодня на обед. Он знал, что ей это неизвестно, и когда приходил домой, она ему рассказывала истории из «Светильника», и о том, как человек должен служить Господу, согласно «Обязанностям сердец» и другим святым книгам. Отец слушал эти истории и молчал.

Глава 12

Помещики. - Берл-Бендет. - Чехчове. – Сиховский. – Преданность Берла Бендета. – Клевета. – Война помещика с помещицей. – Богуславский. – Конец клеветы.

Сына своего дед хотел воспитать в среде помещиков. Но ему это не удалось. Мой отец не хотел знать помещиков; он ненавидел их как шарлатанов и не желал от них заработков. Он занимался арендой. Брат Йосл также не годился для их общества. Говорить комплименты, льстить, как собака – было не для него. Помещиков он не знал и жил также с аренды.

Но деду очень хотелось передать кому-то из детей свои дела с помещиками и он выбрал из своих двух зятьёв старшего, Берла-Бендета, женившегося во время «паники» в возрасте одиннадцати лет. Это был ловкий малый, большой франт, умевший поговорить. Дед его стал брать с собой к помещикам, и Берл-Бендет им понравился.

Как-то дед с ним был в поместье Чехчове, у помещика Сиховского. Помещику этому Берл-Бендета очень понравился - до такой степени, что он ему предложил должность комиссара в своём поместье. До тех пор эту должность занимал христианин, пьяница, который помещика просто обирал. Но помещик был умён и решил лучше взять на его место еврея, который будет всегда трезвый, и Берл-Бендет для этого как раз подходит.

Дед конечно хвалил Берл-Бендета, но также заметил помещику, что зять его слишком молод для такой должности. Сиховский возражал, считая, что тот хоть и молод, но вполне годится.

«К тому же, - предложил помещик, - ты можешь вместе с ним у меня ненадолго остаться. Покажешь ему всё, хоть это и излишне. Пусть сразу и останется. А я пошлю карету за женой, детьми и за вещами. Хочу ему передать дом, где жил прежний комиссар, с тремя коровами, тремя слугами и лакеем. Также и карета с четвёркой лошадей достанется ему от прежнего комиссара».

В те времена для приличных людей считалось унизительным жить в деревне, быть, что называется, ешувником. Но такое прекрасное предложение, да ещё со стороны всеми уважаемого помещика Сиховского, известного как друг евреев, деду понравилось. Он, однако, сказал Сиховскому, что должен посоветоваться дома со сватом Зелигом Андаркесом и с женой, и

на следующей неделе пришлёт ответ с нарочным.

Приехав домой, дед тут же посоветовался со своей женой, Бейле-Раше. Ей должность понравилась, к тому же она была уверена, что Берл-Бент будет хорошим хозяином и конечно Сиховскому понравится. А это значит, что её дочери будет обеспечен доход, как помещице. В том, чтобы жить в деревне, нет никакого позора – и стыдится тут нечего. Приличнее и лучше, чем держать аренду и постоянно воевать с городом, иметь дело с шинкарями, пьяницами и всякими подонками. Так считала бабушка, и было решено взять должность.

Дед написал Сиховскому, что его зять берёт должность. Помещик просил молодого человека приготовиться вместе с женой и детьми к поездке, и дня через три он пошлёт за ними карету. Среди недели от Сиховского прибыла карета, запряжённая четырьмя лошадьми, и три телеги с двумя лошадьми для вещей. Дед тоже поехал.

По приезде помещик прислал эконома, чтобы тот им помог устроиться на новом месте. Кроме того, Сиховский пригласил деда к себе в комнату и передал ему все работы, которыми должен будет заниматься его зять.

«Прежде всего, - сказал он деду, - нужно себя твёрдо вести с экономом и с крестьянами, как будто он сам и есть помещик. Забыть, что он еврей, и смело вести дело».

Дед, чувствуя ответственность за семью, просил помещика дать его зятю неделю, за которую он его научит, как себя вести на таком месте.

Сиховский был от природы спокойным человеком, он был очень богат и любил жить очень тихо - ничего не делать и ни о чём не заботиться. Его единственной страстью была охота, для которой он имел всякое оружие, рослых охотничьих псов, знаменитых на всю округу. Для них у него был особый большой дом, где на стенах висело дорогое охотничье оружие на дорогих коврах с изображением охотничьих сцен, две конюшни со сбруей и лошадьми для охоты, стоившими десятки тысяч.

Помещица была очень вздорная, вела себя, как большая барыня и терпеть не могла евреев. Но муж с ней совсем не считался.

Дом был совершенно княжеский. В большой зале могли танцевать несколько сот человек. Стены сверкали золотом. У них постоянно бывали гости из окрестных имений, проводя ночи в еде и питье, но водки пили мало. Помещик ненавидел пьяных, а также и карты. И когда играли, он старался, чтобы много не проигрывали. И прекрасно играл вдвоём с женой на рояле. Часто бывало, что другие танцевали, а они играли.

Как уже говорилось, жили они спокойно, умеренно и разумно, оттого имели оба железное здоровье. Был у них один единственный сын. Каждый день после обеда они вдвоём с женой катались на двух красивых лошадях - просто так катались, для здоровья, и радовались жизни.

Кроме имения, в котором жил он сам, владел он ещё двумя именьями со многими полями, лесами, конюшнями, сараями, амбарами и множеством крепостных.

Дед провёл с Берл-Бендетом неделю и более или менее ознакомился с имением и крестьянами, сколько это требовалось от комиссара. Они сразу же дали эконому новые указания и всё устроили по-новому. Также и из двух других имений пришли за распоряжениями, и деду с зятем было некогда спать.

Своим зорким глазом дед сразу рассмотрел, что Берл-Бендет – способный и энергичный человек, и хорошо справится с делом. Он ему пожелал смелости, в чём у него, как видно, и так не было недостатка.

Помещик, со своей стороны, их каждый день навещал и, похоже, был доволен. Он видел, что человек старается, что можно надеяться на то, что всё, запущенное бывшим комиссаром, он приведёт в порядок..

Под конец недели у деда родился план: чтобы Сиховский у себя во дворе устроил завод по производству пива и водки, поскольку там имелось много строений, которые никак не используются, так что ничего строить не придётся, а только слегка переделать. Помещик на этом хорошо заработает. Картофель у него есть, а когда понадобится больше, то у него достаточно земли, причём хорошей, и можно сажать, сколько надо. Работников тоже достаточно – крепостных, хоть отбавляй - больше, чем нужно для работы в поле – кстати, тут и Берл-Бендету что-то может перепасть: помещик ему определил пятьсот рублей в год, кроме всех продуктов, но сейчас, конечно, даст тысячу или процент с каждого ведра водки; можно тут же начать большое дело, на что Берл-Бендет вполне годится. Кстати, несколько тысяч рублей в год помещику тоже не помешают.

Дед это предложил Сиховскому, и тот согласился. Сразу же приступили к работе, и через несколько месяцев был полностью готов завод. Прежде всего пришлось купить семнадцать быков, которые будут питаться пойлом из отрубей, и Берл-Бендет поехал в воскресенье на ярмарку в Каменец, как граф – в карете, запряжённой четвёркой лошадей, и купил быков.

Помещик был рад покупке. Берл-Бендет купил дёшево и хорошо и абсолютно правильно: их покормят десять недель и продадут, выручив за каждого девяносто рублей, а купил он их по

сорок.

До наступления зимы дважды покупали и продавали быков и оба раза хорошо на этом зарабатывали. Винное дело двигалось, и к зиме помещик заработал больше двадцати тысяч чистыми деньгами. Даже для богатого помещика это была приличная сумма!

Понятно, что поскольку Берл-Бендетом он был очень доволен, то и поручил ему продавать весь урожай, посылая торговцев, приходивших к нему покупать урожай, к молодому комиссару-еврею. Так стал Берл-Бендет в поместье и покупателем, и продавцом. Сиховский разгуливал по двору с длинной трубкой во рту, спокойный и беззаботный, и единственным его делом стало охотиться и принимать гостей.

Единственно, кто не был доволен всем этим процветанием, была помещица. Вообще ей было больно, что всем заправляет еврей, став чем-то вроде помещика и полным хозяином имения. Берко, к тому же, был очень красивым парнем, высоким и стройным, и одевался лучше помещика, который совсем не обращал на себя внимания, ходил расхлыстанный и равнодушный к своему виду и даже ленился дать портному снять с себя мерку. Это ей тоже кололо глаза.

Но Берл-Бендет с ней редко сталкивался. Он вёл дела только с помещиком – и не более.

Она, однако, не молчала. Искала, к чему бы придраться, расспрашивала о нём эконома - как себя ведёт молодой комиссар, не ворует ли, и т.п.

Эконом услышал, что помещица ищет, в чём бы обвинить Берл-Бендета, понял, что она хочет от него избавиться, и уж открыл рот и чего только о нём не наговорил – что он важничает, держится барином, воображает себя большим помещиком, чем сам помещик, и даже крестьяне уже не знают, кто здесь настоящий помещик, а кто фальшивый.

«Так будь же умником и поймай его на воровстве, - предложила помещица. - Берко тогда выпорют».

Эконом понял, что ей нужна просто клевета. Он выбрал трёх смышлёных крестьян, возивших в Каменец спиртное для деда, и подучил их сказать, что в каждой телеге, в которой Арон-Лейзеру привозят большими количествами купленное спиртное, кладут пару бочонков для собственного отца Берл-Бендета, Зелига Андаркеса, у которого был свой шинок. Эконом знал, что если они скажут, что ворованные бочонки со спиртным возят Арон-Лейзеру, помещик им не поверит, поскольку Арон-Лейзер был уже известен среди помещиков как честный человек, который бы не позволил себе такой глупости. А про Зелига помещик поверит, и

это совершенно замарает Берл-Бендета. Каждому крестьянину эконом дал по три рубля, чтобы тот засвидетельствовал, что сам регулярно возит к Зелигу бочонки со спиртным.

Подготовив всё это, эконом пришёл к помещице и рассказал историю о том, что гои возят собственному отцу Берл-Бендета ворованную водку.

Помещица обрадовалась и приказала привести гоев, которые ей тоже самое подтвердили – что они сами регулярно возят в телегах, предназначенных для Арон-Лейзера, бочонки со спиртным для Зелига.

«Можете поклясться?» - Спросила помещица.

«Клянёмся», - был их ответ.

Помещик был в тот момент на охоте и когда пришёл, помещица ему радостно сообщила, что комиссар – вор. Помещик послал за крестьянами, и они подтвердили, что возили ворованное спиртное. Но помещику не верилось и, поколебавшись, он всё рассказал Берл-Бендету, прибавив:

«Верить – мне о тебе такому - не верится, но докажи, что крестьяне врут».

Берл-Бендет очень испугался и в первый раз, как видно, утратил самоуверенность. Вся история была какой-то дикой, глупой и противной, и как доказать, что гои врут? И когда он рассказал об этом жене, она расплакалась, и в доме воцарился траур.

Тогда она поехала и привезла отца, чтобы он им в этом деле помог. Дед приехал и прежде всего стал упрекать помещика, что тот поверил такой лжи и клевете. Потом доказал ему с фактами в руках, что если бы Берл-Бендет захотел красть, то нашёл бы что-то посерьёзнее бочонка водки. Но он такой честный и благородный, что постоянно отказывается принимать подарки от торговцев, иной раз отсылает дорогие подарки им обратно, отказывается даже торговать с теми, кто их ему посылает.

«Ты сам знаешь, - уверял дед, - что ты ему дороже отца с матерью, жены и детей. Так что это - явная клевета и исходит она от кого-то в поместье. Его просто хотят угробить».

«Но трое крестьян всё же поклялись», - сказал помещик и прибавил:

«Да мне таки не верится. Есть предложение – выпороть крестьян. Тогда всё выяснится. И пороть их до тех пор, пока они не заговорят.

«Предложение слишком суровое, - сказал дед, - я предлагаю нечто полегче. Дай этим троим работу где-нибудь в сарае, чтобы они работали совсем одни. Поставь за сараем кого-то умного и честного, чтобы он подслушал, что они говорят. Крестьяне, когда

они вместе что-то натворили, любят об этом потихоньку поговорить. И конечно, они будут между собой говорить в сарае, что дали ложную клятву.

Помещику это понравилось.

«Я сам стану за сараем, - вызвался он, - кстати, речь идёт о моей чести. Помещики надо мной смеются за то, что я назначил комиссаром еврея, предсказывают, что я за это хорошо поплачусь».

Тут же он приказал дать крестьянам работу в сарае рядом с помещичьим домом и сам стал за стеной – послушать, что они говорят.

Стоял он долго, может, несколько часов. Сначала крестьяне между собой говорили о чём попало. Но потом один из них стал жалеть о том, что пошёл на поводу у экономa и дал ложную клятву. Комиссар, кстати, человек вполне приличный - за что же ему такое? И так говоря, обсуждали между собой вопрос – не признаться ли в лжесвидетельстве?

При этих словах помещик вошёл в сарай. Смертельно напуганные гои, понятно, остались стоять, разинув рот.

«Ну, а теперь рассказывайте, кто вас подговорил! – обратился он к ним. – Я слышал всё, что вы говорили».

Они ему упали в ноги, заплакали и рассказали всю историю с начала до конца.

Помещик послал за экономом и когда тот пришёл, спросил его:

«Скажи, ты это сам придумал или кто-то тебя подучил? Скажи только правду, иначе я тебя буду пороть до тех пор, пока у тебя не останется ни одной целой косточки».

Страшно напуганный эконом тут же признался и сказал, что ни в чём не виноват - сама помещица его на это толкнула.

Помещик недолго думая, устроил своей жене очную ставку с экономом, и она тоже призналась, что толкнула на это экономa, так как хотела избавиться от Берка, которого невзлюбила.

Конец истории был такой: крестьяне получили по шестьдесят плетей, эконом столько же плюс то, что его лишили должности и превратили в простого крепостного, от чего он был прежде освобождён.

За все страдания помещик наградил Берл-Бендета поцелуем в лоб и сказал:

«Отныне никаких доносов на тебя принимать не буду».

Как уже говорилось, Сиховский был очень порядочный человек, и понятно, что поведение жены его потрясло, он с ней больше не разговаривал и не хотел жить вместе. Берл-Бендету он приказал отремонтировать и обставить для него дом, а пока

перебрался в другое поместье.

Берл-Бендет украсил дом и ездил в Бриск, чтобы заказать у торговцев самую дорогую мебель из Варшавы. Дом был устроен с таким вкусом, что окружающие помещики восхищались и удивлялись, что у еврея может быть такой вкус в таких делах.

Помещик каждый день приезжал к Берл-Бендету в своей карете, и тётка готовила для него хорошие обеды. С тех пор тётка тоже стала ему дорога. Была она маленькая – такая, как была у себя на свадьбе в одиннадцать лет, худенькая, но очень умная и ловкая – в противоположность мужу, который был высокий, полный и красивый, и она рядом с ним казалась ребёнком.

Сиховский ездил в гости к помещикам – но к себе не приглашал: все помещики уже знали об этой истории.

Отец помещицы Богуславский жил богато, в поместье неподалеку от Каменца и был человеком вполне солидным, но не таким хорошим и честным, как его зять, зато очень умным, и для всех окружающих помещиков выступал как советчик. Сын его был большим шарлатаном, одним из самых известных распутников среди окружающих помещиков, и промотал когда-то много отцовских денег. Но потом умный отец отобрал у него всю власть над поместьем и попросил всех – как экономов сына, так и всех евреев, которые с ним вели дела, не давать ему ни гроша в долг, потому что он за него ни гроша платить не будет.

И этот сын, брат помещицы, узнав обо всей истории, явился в Чехчове к сестре, чтобы обсудить, что им делать. Она перед ним хорошо выплакалась, и он ей предложил, что убьёт комиссара.

«Никакой проблемы не будет – убить жида не опасно», - сказал он.

Она его, однако, удержала, опасаясь, что за такую хорошую работу придётся плохо заплатить. Кстати и мужа такими средствами она точно не привлечёт.

Шарлатан с ней согласился, и оба поехали к отцу.

Отец их любил Сиховского, знал, что зять его очень доволен еврейским комиссаром, и услышав обо всём скандале с клеветой, о том, что натворила его дочь верному комиссару, очень был недоволен дочерью и считал, что она поступила в этом деле нечестно. Поэтому он сделал вид, что ничего не знает, и к дочери не ездил. Он знал, что в конце концов она к нему приедет и попросит, чтобы он всё уладил.

Когда они приехали к отцу, он испугался, увидев, как плохо она выглядит, но сделал вид, что ничего не знает, и спросил:

«Ты почему приехала одна, без Сиховского?»

Она опустила голову и молчала. Тут уже её брат стал рассказывать отцу всю историю, но, конечно так, чтобы сестра

при этом хорошо выглядела, но старик его остановил:

«Пусть лучше она мне сама расскажет, а ты выйди из комнаты!» - приказал он.

Оставшись с ней вдвоём в комнате, старик ей прочёл мораль и напомнил, что у неё золотой муж, которого он очень любит, что он ему дороже собственного ребёнка, что он очень огорчён всей историей, в которой она себя вела неблагородно. Что ей нужно от еврейского комиссара? Зачем она ему хотела навредить? Чем он хуже пьяного поляка, и т.д.

Речь его расстроила дочь, а говорил он долго, спрашивая, поняла ли она, что наделала, какую навлекла на себя неприятность тем, что испортила свою жизнь с мужем, таким приличным человеком?

Она, наконец, расплакалась. Отец ей посоветовал:

«Можно ещё всё исправить. Но знаешь, с чьей помощью? С помощью комиссара... Попроси его, и всё будет в порядке».

Но это уже было слишком. Просить еврейчика, которого она не могла терпеть – было свыше её сил. Но старик её успокоил:

«Совсем не нужно ходить к самому комиссару, достаточно обратиться к его тестю. Тот – очень умный, действительно умный еврей, он всё уладит.

Говорить с тестем, а не с зятем – совсем другое дело. Это ей уже понравилось. Одного только она не могла понять – как это старый Арон-Лейзер с ней захочет помириться, если она хотела сделать так много зла его зятю.

«Ничего! – Сказал ей отец. – Увидишь, что старик захочет. Я тебе сказал, что это умный, очень умный еврей - он согласится. Кстати, ещё и потому, что комиссару такое положение тоже неудобно: не может такое долго продолжаться, чтобы муж из-за него воевал с женой. И вот ещё что, запомни: никогда больше не веди себя так с комиссаром, пусть это будет первый и последний раз! И вообще – лучшего комиссара желать не нужно. Человек ведёт всё хозяйство, и такой преданный! Под конец он велел ей ехать назавтра домой, пообещав, что пошлёт за Арон-Лейзером.

Богуславский послал деду письмо, прося его приехать – не по торговому, а по личному делу.

Дед ответил, что на этой неделе никак не найдётся времени, но что после субботы он приедет. Дед понял, что Богуславский хочет его попросить о мире, а от своей дочери узнал, что помещица умирает оттого, что Сиховский на неё сердится и проводит время с Берл-Бендетом. Он хорошо видел, что тут хотят мира, и нарочно отложил свой приезд ещё на неделю, чтобы помещица ещё неделю поболела от горя.

Когда дед, наконец, приехал, Богуславский его очень тепло

встретил, выставил для него чай и дорогие сигары, точно так, как если бы ожидал помещика. Потом беседа зашла о его дочери, и Богуславский сказал деду, что много с ней говорил, сильно её отчитал, многое ей объяснил, и что она очень раскаивается, что много плакала, но теперь нужно помириться, и для этого никто так не подходит, как дед, на которого можно полностью положиться. Откладывать не стоит, надо сразу взяться за дело.

Тут ему дед прочёл длинную речь, сожалея обо всей истории и объясняя помещику, что если он даже сейчас заключит мир, то в будущем всё равно не ни в чём не может быть уверен.

«Почему? - Не будем себя обманывать, - сказал дед. – Если еврей стал комиссаром у помещика, получил большую власть, то этого все молодые помещики, все шарлатаны, не могут пережить. В другой раз это будет – вы уж меня простите, - жена помещика; все они не могут постичь, что есть достойные евреи, такие, как, например, мой зять. Что касается вашей дочери, то я чувствую, что в глубине души она не любит всех евреев и будет конечно и дальше искать что-нибудь против своего комиссара.

«И всё-таки, - продолжал дальше дед, - помириться надо. Я не против. Еврей должен особенно ценить мир».

«И ещё, - добавил дед, - я, конечно, постараюсь сделать, что смогу, но вы всё же научите свою дочь относиться получше к комиссару, ценить его по достоинству. Вы посмотрите, пан, как сейчас выглядит имение и вспомните, каким оно было прежде. Сейчас оно в порядке, удовольствие на него смотреть. А сколько комиссар принёс дохода, на что помещик и не рассчитывал».

«Всё это я уже ей сказал сам, - сказал старый помещик. И достаточно читал ей мораль: теперь уже она будет держаться иначе».

Дед вернулся в Чехчове и заехал к зятю. В этот момент вошёл лакей, прося пана Арон-Лейзера к помещику. Дед явился.

Сиховский его тоже очень тепло встретил. Сказал, что очень был огорчён поведением своей жены, тем, что она доставила Берке и его семье, но этого не вернуть, но больше он не поверит о комиссаре никаким глупостям, какие могут наговорить люди.

Как бы Сиховский ни сердился на свою жену, дед однако понял, что помириться с ней он очень хочет. Не хватает только человека, который бы мог это сделать. Дед долго и очень откровенно говорил с Сиховским, клоня к тому, что надо помириться. Во-первых, иначе помещику не подобает, а во-вторых она теперь будет себя вести по-другому.

«Может, однако, быть, заметил ему дед, что нет подходящего человека, чтобы этим заняться. Так я тебе, пан, могу предложить

для этой цели себя, и позабочусь, чтобы честь твоя, не дай Бог, ни на волос не пострадала».

Помещик согласился, и чтобы оборвать неприятный разговор, сказал:

«Поговорим о постройке пивоваренного завода».

«Я ещё к этому не готов, - сказал дед, - есть ещё время».

Дед ещё долго говорил с помещиком. Договорившись с ним, он отправился к своему зятю. Зятю дед тоже велел поговорить с помещиком о примирении. Пора положить этому конец, пусть он тоже действует со своей стороны, всё тогда быстрей уладится.

Дед уехал, а Берл-Бендет явился к помещику и тоже с ним поговорил о мире: он, Берл-Бендет, будет её уважать точно так же, как помещика, и совершенно забудет, как с ним поступили.

Помещик выразился примерно в том смысле, что на всё, что предпримет Берл-Бендет, он заранее согласен.

Берко отправился к помещице. У неё в тот момент сидел её брат-шарлатан, проводивший у неё почти всё время, чтобы ей не было грустно. Брат, увидев комиссара-еврея, тут же вышел в соседнюю комнату, а помещица тепло приняла пана Берко и между ними завязалась беседа. Он с ней хорошо поговорил, а под конец заметил ей, что готов её понять и всё забыть. Пусть будет мир, их вражда ему даже стоит здоровья.

Тут у него помещица попросила прощенья:

«Я знаю, ты - благородный человек, и давай обо всём забудем».

После этого Берл-Бендет послал свою жену к её отцу, Арон-Лейзеру, чтобы передать ему все разговоры, которые он имел с помещиком и помещицей. Арон-Лейзер уже составил мысленный план, как устроить мир.

Он поехал прямо к помещику Вилевинскому, который был в очень хороших отношениях с Сиховским и его женой. Также и их жёны хорошо ладили друг с другом. Сиховский со времени ссоры со своей женой побывал у него уже несколько раз. Вилевинский тоже был из спокойных помещиков, поэтому особенно дружил с Сиховским, у которого можно было в меру выпить и поиграть в карты.

Сиховский ничего не рассказывал Вилевинскому о своей ссоре с женой, и тот об этом, возможно, что-то слышал от других, но тут ему дед передал подробно всю историю и заметил, что они оба хотели бы помириться, но нет для этого подходящих условий.

«Поэтому, вот мой совет, - сказал дед, - пригласите его к себе на вечер, а жена ваша пусть пригласит мадам Сиховскую; но сначала надо будет послать за ней, а когда она уже приедет, позвать его. О том, что жена тоже приглашена, Сиховский знать

не должен. Когда он явится, заведите с ним разговор о мире, и тут уж я приду на помощь. О ссоре, скажите, вы узнали от меня».

Вилевинский так и сделал. Сначала явилась жена Сиховского, потом он сам. Вилевинский отвёл его в специальную комнату, где осторожно завёл разговор о примирении, потом явился дед, но в комнату к ним не вошёл. Вилевинский поднялся и сказал:

«Моя жена немного не здорова, зайди к ней».

Зашли в специальную комнату, где должна была находиться хозяйка, и Сиховский был потрясён: возле жены Вилевинского сидела Сиховская.

Ему стало несколько неприятно, и он захотел выйти из комнаты, но его уже не выпустили, и ему пришлось присесть. В комнату стали приносить чай с закусками. За чаем начались посторонние разговоры, и Вилевинский сказал:

«Я пригласил также и Котика, давайте его позовём. С ним всегда бывает приятно».

Тут же в комнате появился дед и сел за стол. Немного погодя Вилевинский с женой под каким-то предлогом вышли, и дед тут же приступил к делу.

Начал он, естественно, с того, что стал защищать её: не так уж она виновата и т.п. И после долгой и дипломатичной речи кончил предложением, чтобы Сиховский протянул своей жене руку, помирился и этим бы кончил дело.

Он сделал вид, что закашлялся, и тут же Вилевинский с женой вернулись. Вилевинский взял за руку Сиховскую, а его жена - Сиховского, и их силком подвели друг к другу. Муж подал жене руку и поцеловал её. Началось веселье. Запрягли коня и все отправились прямо в замок к Сиховским. Там на широкую ногу отпраздновали и на этом всё закончилось.

Тут настали добрые времена в отношениях Берл-Бендета и помещицы. Он стал к ней приходить с отчётами о состоянии имения и хозяйства, и её отношение к нему полностью изменилось. Теперь она даже позволяла себе спрашивать его о новостях в мире, о чём пишут в газетах и проводила с ним за разговорами часы.

Со всем этим он ещё больше отдавался работе - очень был трудолюбивым человеком, вставал зимой каждый день в шесть часов, а летом – в четыре, и тут же брался за работу, избегая полагаться на эконома.

Летом он целыми днями скакал на лошади и всюду бывал, всё осматривал, проверял и устраивал.

Зимой он почти всё время был занят на винокуренном заводе, где было им всё так вычищено, что акцизные, приходя, не могли надивиться. Чистота была повсюду: и в работе, и во всех

отделениях, на складах, в зернохранилищах и в магазинах.

Чистота и порядок стали уже настолько знамениты, что все окружающие помещики, имевшие винокуренные заводы, приходили посмотреть и чему-то поучиться, регулярно жалуясь Сиховскому, что у них никак не получается соблюдать у себя на заводах такую чистоту и такой порядок.

И такая же чистота была во всей усадьбе. Все рабочие были на своих местах. Всё время подметали и посыпали вокруг песком. Сиховский гордился чистотой своего поместья, порядком в своём хозяйстве.

Держать евреев в роли комиссаров хотелось многим помещикам. Но это было не принято, от чего иные терпели немалый убыток. Вся работа в поместьях велась по старинке: без улучшений и без нововведений. Берл-Бендетет же выписывал немецкие хозяйственно-экономические журналы и часто пользовался содержащимися там советами.

Глава 13

Жизнь Берл-Бендета. – Свадьба его дочери. – Польское восстание. – Желание выпороть помещицу. – Берл-Бендет её спасает. – Шмуэль.

У дяди было четыре дочери и один сын. Отец с матерью были старше своей старшей дочери Брахи на двенадцать с половиной лет. Пятерых детей они родили за пять лет и больше детей не имели. Жили они в Чехчове по-княжески, и история с клеветой кончилась для них так хорошо, что и он, и она так ценили и так уважали дядю, как самого близкого человека, доверив ключи от всего своего имущества.

В кабинете у Берл-Бендета – или короче Берко - стояли большой дубовый шкаф и комод и там лежали помещичьи ценности, в которых не было постоянной надобности. Даже деньги он хранил у Берко.

Берл-Бендет помещика одевал. Помещик никогда не знал, когда ему следует купить одежду – Берл-Бендет сам ехал в Бриск и выбирал для него материал на платье. Иногда покупал одежду и ей.

Берл-Бендет очень богато одевал помещика с помещицей, богаче всех окружающих помещиков. И когда ездил в Бриск, то обычно привозил помещице драгоценностей примерно на сто рублей, а раз привёз браслет за тысячу пятьсот рублей, в другой раз – курляндский жемчуг за две тысячи, и всё это лежало у Берко в комоде.

Поэтому и помещик с помещицей одевали Берл-Бендета, и когда приезжал портной, то заказывали платье и для него со всем его семейством.

Когда дочери Берл-Бендета Брахе исполнилось пятнадцать лет, помещик сказал: «Дочке надо устроить шидух. А я дам тысячу рублей приданого». (В те времена тысяча рублей считалось из самых богатых приданных). Также и гардероб со всеми свадебными расходами должны быть за его счёт.

Берл-Бендет поручил сватам найти ему подходящий шидух. Дело пошло быстро, и тут же в Чехчове заключили «условия». Помещик посоветовал поместить тысячу рублей в Бриске в надёжные руки и распорядился купить за свой счёт золотые часы с золотой цепью за сто пятьдесят рублей.

На подпись «условий» послали за гостями две кареты и три фуры. И в момент подписи помещик с помещицей сидели у

столика и принимали участие в общем веселье. Назавтра помещик пригласил к себе на обед. Принесли всю еду, блюда готовили у дяди и от него приносили к помещику.

Свадьбу назначили на первое число месяца нисана[122] – время, когда не работает винокуренный завод, поскольку летом невозможно изготовлять спиртное.

Я тоже приехал на свадьбу я вместе со всей семьёй, ехавшей на фурах и каретах, посланных Берл-Бендетом. Помню, что всего было шестнадцать пар лошадей, брички, кареты и разные фуры. Десятки торговцев прибыли на свадьбу, и Берл-Бендет приготовил всем места для ночёвки. Приехали также кобринские клейзмеры во главе с Шебселом и Тодрос-бадханом.

Наша семья начала съезжаться за три дня до свадьбы, как только остановился завод. Поставили большие лохани с тёплой водой, и мы с сыном дяди Шмуэлем и с братом отца Исроэлем выкупались в таких лоханях. Рядом стояла лохань с холодной водой, и один из шейгецов[123] обрызгал нас холодной водой. Мы посмеялись, только Шмуэля, единственного сына дяди Берл-Бендета, это разозлило, и он сказал, что пожалуется отцу и шейгец получит розги.

Крестьянин решил, что Шмуэль шутит, и продолжал своё. Но это вовсе не было шуткой. Шмуэль-единственный сын пришёл домой и поплакался перед отцом на то, что шейгец Андрей обрызгал нас холодной водой, когда мы сидели в тёплой лохани, и конечно мог нас простудить. Дядя, не долго думая, послал за волостным старшиной и приказал дать шейгецу пятнадцать розог. Приговор исполнили не моргнув глазом, Андрей валялся в ногах у Шмулика, прося прощения. Зрелище было безобразное, но могущество дяди нас потрясло.

Свадьба была великолепная, с самыми дорогими блюдами. Не было, конечно, недостатка и в разнообразной мясной пище. Помещик приказал ради свадьбы, для украшения праздника, выложить всё серебро.

Помещик с помещицей стояли возле хупы, и праздник тянулся с шести вечера до шести утра. А назавтра помещик пригласил к себе всех на обед с клейзмерами. Шебсл со своей игрой его потряс, он сказал, что в жизни не слышал такой прекрасной игры. Гости пировали у помещика всю ночь; он также танцевал с Берко и с купцом реб Исроэль-Шмуэлем из Бриска, большим остряком и отличным рассказчиком; он всё шутил с помещиком, а помещица смеялась со всеми гостями.

На третий день после свадьбы все торговцы и дальние родственники разъехались. А мы, ближайшие, несколько десятков человек – остались на всю свадебную неделю с Шебселом и его

капеллой.

Помещик с помещицей ещё не устали от праздника и помещица призналась, что раньше совсем не знала евреев, только слышала с самой колыбели: “Zyd wezmie do torby” – «Жид заберёт в мешок». Всё время слышала: «Жид, жид», и её это пугало. Но теперь она знает, что евреи – приятный народ, и что с ними весело.

После свадебной недели мы все уехали, и Шебсл получил от помещика сотню и кольцо с бриллиантом за сто пятьдесят рублей. Кроме того, они договорились, что когда помещик за ним пришлёт, он тут же приедет. И Шебсл с двумя клейзмерами приезжал к Сиховскому четырежды в год на его балы и получал по сотне рублей за раз. Ели они у Берл-Бендета.

Шебсл стал очень знаменит, и многие помещики приглашали его к себе играть. Часто он отказывался, ссылаясь на то, что не может оставить еврейские свадьбы без клейзмеров. Но для Сиковского делал исключение за его доброту.

Спиртного он не пил – только маленький стаканчик сладкой водки, как женщина, и только один стаканчик вина. Внешность у него была приятная, был он очень молчалив - говорил только считанные слова; никогда не слышали, чтобы он смеялся, даже от шуток реб Абеле-артиста, от которых все давились со смеху. На его устах тогда видели лёгкую улыбку – как у моего отца

Так жил в Чехчове у Сиховского дядя Берл-Бендет. Но это ещё не всё. Истинную службу он сослужил помещику тем, что спас его во время известного польского восстания, когда так много помещиков были повешены и застрелены. В часы восстания он уберёг помещика от того, чтобы он ушёл в лес, поплатившись за это жизнью.

В каждый уезд Виленского округа знаменитый Муравьёв назначил по два военных начальника с казаками, которые бы разъезжали по поместьям всего уезда, выясняя, кто из помещиков сидит дома, а не находится вместе с революционными шайками в лесах. Воинским начальникам Муравьёв дал право пороть помещиков, помещиц и даже помещичьих детей, добиваясь с помощью розог, где находятся помещики, которых не оказалось дома. И казаки секли нагайками помещиков, помещиц и детей, начиная с десятилетнего возраста.

Воинский начальник прибыл в Чехчове из Шерешева в сопровождении пятидесяти казаков и не застал Сиховского дома. Тот только что куда-то вышел. Воинский начальник сердито спросил помещицу, где её муж-мятяжник. Она испугалась, побледнела и ответила, что его нет, но что он сейчас вернётся. Он тут же крикнул казакам:

«Пороть - и до тех пор, пока она не скажет, где её муж».

Казаки уже приготовились к порке – хорошая была сцена! – уже приготовились считать удары, как вдруг вбежал Берл-Бендет и сообщил начальнику, что помещик только что отлучился из дому и сию минуту вернётся.

«Возьмите меня заложником, - заявил он геройски, - и если через четверть часа он не вернётся, выпорите меня или хоть застрелите». И послал прислугу, привести того как можно скорее. Он знал, где находится помещик. Тот любил прогуливаться по аллее за поместьем.

Начальник бросил взгляд на Берл-Бендета, который ему понравился сразу - высокий, здоровый, красивый, хорошо одетый, к тому же хорошо говорит по-русски, что мало кто из помещиков умел - и спросил:

«Кто вы такой?»

«Я комиссар в поместье».

На вопрос, поляк ли он, Берл-Бендет ответил, что он еврей. Это тоже понравилось начальнику, и он приказал казакам пока не трогать помещицу, разговорился с комиссаром-евреем, а тем временем пришёл помещик.

«Скажи спасибо еврею, - обратился офицер к Сиховскому, - если бы не он, давно бы твою жену выпороли».

И добавил, чтобы тот не смел покидать дома после его отъезда. Он может неожиданно вернуться, и если помещика не окажется, он не будет дожидаться даже десяти минут и помещицу с детьми как следует выпорет.

«Не пожалею вас, мятежников!»

Наевшись и напившись вместе со своими лошадьми и прихватив бочонок спирта в десять вёдер, отправились в следующее поместье.

Помещица заболела от стыда и страха и была в опасном состоянии. А Берл-Бендет тяжело работал, посылая каждый день кареты в Бриск за докторами. Пролежав несколько месяцев, она поправилась.

Сиховский сказал ей в присутствии комиссара:

«Видишь – твоё счастье, что не удалась клевета на Берко. Ты конечно тогда думала, что Берко высекут и прогонят. А сегодня Берко нас просто спас. Что бы с тобой сделали казаки со своими ногайками из проволоки, если бы не Берко?»

Сиховский продолжал сидеть дома и уже не выезжал во всё время восстания. Берко вёл хозяйство с помощью наёмных крестьян и только к нему они хорошо относились и только к нему приходили работать в поле, естественно, прося за работу ужасную плату. В других поместьях ничего не посеяли, а там, где было

посеяно, из колосьев высыпались зёрна, но жнецов нельзя было найти даже за деньги. Из ненависти к помещикам, они во всей округе приходили в поместья, связывали своих помещиков и возвращали выданные им прежде розги.

Во время восстания у Берл-Бендета было, может, больше работы, чем всегда. Кроме крестьян, которых надо было успокоить, приходилось смотреть, чтобы помещики не забрали Сиховского в лес. Вместо реальных действий, которые помещики требовали от Сиховского, он, под влиянием Берл-Бендета, их поддерживал деньгами, платя до десяти тысяч рублей каждый раз и этим себя, более или менее, с двух сторон страхуя. Не трудно представить, как дорог им стал Берл-Бендет, и после восстания, когда Сиховский уже ездил в открытой карете, запряжённой парой лошадей, так же ездил и Берко. Так он прожил тридцать с лишним лет. Сиховский справил свадьбы его пятерым детям, но приданого уже давал по пятьсот рублей, так как после восстания обеднел.

Берко умер в возрасте пятидесяти с чем-то лет. Детей он оставил не таких, чтобы занять его место. Сын его Шмуэль был честным человеком, но отцовского ума и энергии ему не доставало. Сиховский его поставил во второе поместье, меньшее, чем Чехчове, чем он содержал всю семью. Но это была уже не та жизнь, как при отце.

После смерти Сиховского и Шмуэля (Шмуэль умер очень молодым), помещица с сыном дали жене Берл-Бендета Дворе пятьсот рублей, и она уехала в Каменец. Ещё она получила в наследство от свёкра большой дом и поселилась там навсегда.

Глава 14

Рош-ха-Шана и Йом-Киппур. — Страх Божий.-- Порка. -- Благословение детей. -- Страх в школах. -- У хасидов. -- Сукот. – Симхат-Тора. – Праздники вообще. – Как у нас проходил праздник.

Как все «ешувники», Берл-Бендет со всей семьёй приезжал на Рош-ха-Шана и Йом-Киппур в Каменец и останавливался у деда. Там для них готовили три комнаты, а целую телегу кухонных принадлежностей и посуды они везли с собой. И так проводили вместе три дня, с Рош-ха-Шана до Йом-Киппура. Семья деда состояла из пяти дочерей - из них три замужних с детьми - и трёх сыновей, из который двое женатых с детьми, и было весело.

Вернувшись в Рош-ха-Шана с молитвы, Берл-Бендет, который любил есть вместе со своей семьёй отдельно, должен был также присутствовать при благодарственной молитве в доме деда. На столе лежали разные торты и пирожки, печенья на яйцах с миндальной крошкой и пончики с сахаром, которые пекла бабушка и которые были знамениты на весь город своим замечательным вкусом. Дом был полон людей – всё своя семья.

Накануне Рош-ха-Шана, в три часа утра, собирались в доме деда все дети и внуки, даже семи-восьмилетние, а также и семья дедова брата. Подавали чай с печеньем, вареньем и со сладким вином, все ели и пили, а потом шли в бет-ха-мидраши на синагогальный двор, читать слихот. Сначала шли мужчины с юношами, потом – жёны, дочери, невестки и внуки. Помню ещё, как один раз я считал членов нашей семьи, идущих читать слихот:

«Не один, не два, не три» и так – до «не сорока»[124]…

Так смешно шли читать слихот – как будто шли солдаты. В городе так и говорили: «Пошёл уже царский полк», - потому что в бет-ха-мидрашах на синагогальном дворе не осмеливались читать слихот, пока не придёт «царский полк». Во дворе семья разделялась: кто-то читал слихот в одном бет-ха-мидраше, а кто-то в другом.

Дед читал слихот накануне Рош-ха-Шана и накануне Йом-Киппура в старом, большом бет-ха-мидраше. Его место было – возле раввина на «востоке»[125], второе его место было – в углу, сверху, у восточной стены, а третье – с южной стороны, у первого окна.

В Рош-ха-Шана и Йом-Киппур дед молился в шуле. Там он

имел три места на восточной стороне: для себя, для брата Мордхе-Лейба и для его единственного сына.

Берл-Бендет молился в новом бет-ха-мидраше. Там у деда тоже было два места: одно у восточной стороны, а другое – у южной, тоже почётное место. Только отца моего не доставало: Рош-ха-Шана он проводил у ребе.

Ночью накануне Йом-Киппуром никто из семьи не шёл спать. Все собиралась у деда на церемонию «капойрес»[126], и бабушка уже покупала несколько дюжин кур и петухов. И даже среди посторонних, уважаемых хозяев было принято посылать свои капойрес вечером деду, так как резник, который всю ночь ходил по разным уважаемым хозяевам и резал кур, прежде всего приходил к деду; для чего уже был приготовлен большой сарай. И множество хозяев посылали своих капойрес деду, понятно, с его разрешения.

Вечером был приготовлен стол со сладким вином, печеньем и вареньем и все начинали крутить капойрес. Некоторые – за себя, а другие – и за маленьких детей.

Потом пили «лехаим» вместе с резником и закусывали, и резник шёл резать кур. Кручение капойрес занимало несколько часов, а в четыре часа все снова шли читать слихот, а девушки и дети шли спать.

По моей настойчивой просьбе дед меня стал брать на чтение слихот семилетнего возраста. Своего собственного сына Исроэля, который был одного со мной возраста, он не брал. Тот никогда не хотел ходить на чтение слихот, что мне было очень дорого.

И когда дед вместе со мной в канун Рош-ха-Шана читал «большие слихот»[127], он ужасно плакал, и я, не имея другого выхода, тоже плакал вместе с дедом. Из меня рекой текли слёзы, а дед был доволен, что его внук плачет: может, благодаря мне, нам всем поможет Господь.

Но дед так сильно плакал во время слихот, что у него дрожали ноги. Почувствовав, что у деда дрожат колени, я с силой прижимал свои колени к его, чтобы пробудить такую же дрожь и у себя. Я думаю, что это тоже на меня ужасно действовало, и мой плач достигал высшей точки. Это, конечно, особенно нравилось деду, и он меня брал всегда с собой на слихот, даже когда я не просил.

Дед, который был большим плаксой, как видно передал мне в наследство это свойство, и даже сегодня, услышав чей-то плач, хотя бы из-за мелочи, я не могу сдержать слёз.

Накануне Йом-Киппура, в двенадцать часов дня, дед шёл на дневную молитву со всей семьёй. Тогда он раздавал по пятидесяти рублей, его брат – по тридцати, а остальные – по

пятнадцати-двадцати, жёны – особо, и так от нашей семьи раздавалась нуждающимся большая сумма.

Пол шуля был покрыт сеном, и возле дверей была куча сена, на которой лежали важные хозяева, и главный шамес, одетый в китль, с большой плетью в руках, стоял и отсчитывал им по сорок ударов. Считал он на святом языке: ахат, штаим – и так до сорока. Еврей лежал вытянувшись, в верхней одежде, а шамес сёк – один удар пониже, другой – повыше, по плечам, а секомые, лёжа, одновременно каялись в грехах. У бедняков не было никакой привилегии в смысле порки, так как за экзекуцию приходилось хорошо заплатить шамесу, и поскольку хозяев бывало много, беднякам приходилось стоять и ждать. Самых важных секли пораньше. Когда дед приходил в шуль, он тут же ложился, и шамес начинал считать. И меня сильно огорчало, что дед ложится, а шамес сечёт… Около половины второго мы возвращались. Тут же начинали есть курятину с лапшой. Быстро поев и благословясь, дед начинал благословлять детей с одной стороны дома, а бабушка – с другой.

Он начинал вызывать всех детей, каждого по имени, одного за другим, сначала старших, дочь и невестку, потом – дочь дочери и невестку снохи. Даже малюсеньких грудничков, в возрасте, может, двух недель, приносили для благословения. Сначала он благословлял лиц мужского пола, от самого старшего до двухнедельного младенца, которого мать держала на подушечке, а дед клал руку на головку ребёнка и благословлял; а потом, в том же порядке, женщин.

Благословляя, он так плакал, так горько стенал, что камень мог растаять. Естественно, что все тоже принимались плакать, и большие, и малые, и создавалась какая-то смесь из разных плачущих голосов: низкие и высокие, и совсем писклявые. Со стороны можно было подумать, что разрушен город.

После благословений деда сразу шли к бабушке. Она лишь обливалась слезами, но никто никогда от неё не слышал ни звука. Только положит свою тонкую ручку на головку, и слёзы льются тихо, тихо, тихо… Церемония благословений продолжалась таким образом больше двух часов. И дед постоянно опаздывал, постоянно приходил в шуль, когда там уже было полно народу, ожидавшего его с «Кол нидре»[128].

Йом-Киппуры былых времён… Боже мой, что тогда творилось! В шуле, во время «Кол нидре», было видно, как вся община, охваченная великим страхом, готова отправиться в лучший мир. Все одеты в белые одежды с поясами, расшитыми серебром и золотом, в талесах, ермолках, также расшитых серебром и золотом. Ермолка и пояс моего деда стоили много

десятков рублей. А были и ещё красивей. И даже бедняки были в белых ермолках, расшитых цветным шёлком.

И множество свечей, горящих во всех подсвечниках, спускающихся на бечёвках со всего потолка и стоящих на столах, в банках с песком! Каждый еврей хочет, чтобы свеча горела в память о его родителях – от «Кол нидре» до заключительной молитвы завтра вечером. Яркие отблески света играют на золотых, серебряных и шёлковых ермолках и белых китлях и талесах, на всех лицах - какая-то святость. Ни у кого в мыслях ничего плотского, земного, будничного.

Все плачут, моля Господа простить все прегрешения, послать благополучный год и здоровье, каждый льёт от всего сердца реки слёз, взывая к Всевышнему.

Громкий плач и стоны женщин, проникая в мужскую часть шуля, разрывают сердца мужчин, и они снова плачут, как женщины.

Трудно себе представить сейчас, когда весь Йом-Киппур утратил свою силу и вызываемый им трепет потерял над нами власть, те ночи в былые времена в шулях и бет-ха-мидрашах, когда пели «Кол нидре»!

Стены плакали, камни на улицах стонали, рыба в воде дрожала. А как молились те самые евреи, что целый год надрывались ради грошового заработка!

Ни злобы и ни зависти, ни жадности и ни обмана, ни злословия, ни сплетен, ни еды, ни питья. Все сердца и глаза устремлены к небу, и есть лишь духовность, одни души без тела.

А от пюпитра хазана текут душевные напевы, заливая все сердца.

С двенадцати лет я стал ходить с отцом на «Кол нидре» в хасидский штибль). Там уже было другое «Кол нидре», и у них мне больше нравились молитвы Йом-Киппура, чем у миснагдов.

В хасидском штибле не слышно ни плача, ни стонов, ни всхлипов. Человек только молится с большим пылом. У кого есть хороший голос, тот молится звонко и радостно, а у кого нет – молится тихо, но со вкусом, и все поют с душой. И нет никаких хазанов. Чтец произносит слова с душевным напевом, и все за ним повторяют.

После «Кол нидре» многие хасиды, молодые и старые, ночевали в штибле. Укладывались на сене, разложенном на полу, было в этом что-то необычное. И я очень любил ночевать после «Кол нидре» в штибле на сене. Лёжа, напевали всю ночь разные душевные напевы, и под них как-то сладко спалось.

В ушах звучали эти сладкие, тихие напевы, и сон был лёгкий, как дрёма. Бывало, проснёшься на пару минут и заснёшь снова. А

вокруг, а вокруг – звучит, звучит, тихо-тихо.

В Йом-Киппур, в десять часов утра, становились снова молиться, и с таким шумом, точно военные на параде, и молились с большим вкусом. И начав все вместе с крика, стояли так до двенадцати.

Потом начинали продавать «восхождение к Торе», так же, как и миснагды. Но покупали тоже со вкусом. Те из хасидов, кто умел петь, а также пожилые, снова укладывались на сене и снова чуть слышно напевали, но не один напев, а несколько: в одном углу один, а в другом – другой, точно в зависимости от того, какой у кого ребе: у карлинских свои напевы, у слонимских – свои; а один-единственный хасид, последователь Любавического ребе, пел его напевы. Все эти мелодийки – тихонькие и душевные, сливались вместе и разливались по всему телу.

А потом начиналась молитва «Мусаф»[129]. Многие хасиды не признавали никаких священных текстов, изложенных в поэтической форме. Они держались только простого религиозного пения или молитв. И те напевали лишь потихоньку.

Йом-Киппур у хасидов мне так нравился, что я и в Рош-ха-Шана тоже шёл в штибль, хотя и без отца (он обычно уезжал к своему ребе).

На исходе Йом-Киппура, после вечерней молитвы, всем детям и внукам полагалось идти к деду. Снова печенье со сладким вином и с вареньем, а потом ели капойрес. После этого приходил брат деда со всей семьёй, и веселье продолжалось до середины ночи. Но только отца, как я уже заметил, в Рош-ха-Шана не было – он находился у ребе, сначала – в Кобрине, а позже – в Слониме. В канун Йом-Киппура он даже приходил на благословение – и всё. В Йом-Киппур он молился в хасидском штибле. Поэтому исход Йом-Киппура был для отца ещё большим весельем. Часов в восемь к нему уже начинали собираться хасиды, напивались и плясали всю ночь.

Я обычно веселился двумя путями: у деда и у отца. Где было веселее, туда я и шёл. И обычно бывал в обоих местах.

Наутро после Йом-Киппура уже приезжала карета из Чехчова за Берл-Бендетом с женой, брички за детьми и прислугой и фургон за всеми вещами и кухонными принадлежностями. Попрощаться приходила вся семья, и снова было веселье.

Вообще во время праздника все должны были находиться у деда в доме. Взрослые ели две трапезы у себя, но маленькие все ели у деда. Весь праздник большой дом деда был полон малыми и большими, люди ели и пили, и было так весело, что дед не хотел идти днём спать. Он сидел весь день за столом, получая удовольствие от всех своих детей; он любил, чтобы дети как

можно больше шумели, как можно больше шалили. Кажется, что можно было оглохнуть от криков, от смеха и шалостей – как маленьких, так и больших – а ему было приятно. Часто он пересаживался из-за одного стола за другой, приближаясь то к одной, то к другой группе детей, смотрел – и получал удовольствие.

Бабушка покупала каждый праздник мешки орехов, и их всё время давали детям играть. Играли в орехи, кололи их щипцами, клали в стаканчики с вином. Одним словом, было шумно.

Зато у отца было чисто хасидское веселье. Во время Сукот у отца в доме день и ночь плясали и пели. Помолившись в штибле и наскоро дома поев, тут же приходили к отцу, и начинались песни и пляски.

А Симхат-Тора с давних времён проводилась так, что двое коцких хасидов, Янкель и Шебсл-переписчик, с парой десятков мальчишек, ходили по всему городу и вынимали изо всех печей еду, в том числе и цимес, жареных гусей, печёности – и приносили к нам, где переворачивали всё вверх дном.

Признаюсь, что среди юнцов, помогавших хасидам устраивать погром печей с захватом еды, был также и я. Помню, как мы вбегали в дом, набрасываясь на печи и хватая еду. Хозяйки не позволяли брать всё, но кто их слушал? Хватали, сколько хотели, и бежали дальше. «Награбленное» мальчишки приносили прямо к нам.

За несколько недель до Хануки начиналась игра в карты. Но то была не такая игра, в которую, за грехи наши, играют в наше время: со злобой и скандалом. У нас, бывало, приходила вся семья к деду, и каждый принимался играть за ребёнка из семьи. Каждый выбирал себе ребёнка, чтобы за него играть, и весь выигрыш отдавал ребёнку. Редко-редко кто выигрывал до десяти злотых, обычный выигрыш был от тридцати до семидесяти пяти копеек.

Так семья проводила до Хануки часа по два каждый вечер, а в Хануку играли, может, до двенадцати. И так играли все вечера, до Рождества, когда сам Бог велел играть в карты и когда по обычаю не читали Тору. Но после Рождества совершенно прекращали карточную игру.

Помню, как хотелось попросить кого-то из семьи, чтобы за меня поиграли. Но отец этого не позволял и всегда заключал со мной договор. Он спрашивал:

«Сколько ты можешь выиграть, Хацкель – ну, тридцать копеек, пятьдесят, а иной раз – ничего. Так вот тебе пятьдесят копеек, чтоб не хотелось играть».

Но никаких денег он не давал. Вместо этого он мне назавтра

покупал какую-нибудь вещь – вроде ножичка, кошелёчка и т.п., подходящую для восьмилетнего мальчика.

Девочки целый день играли друг с другом в «очко».

Отец меня постоянно удерживал от игры в карты и платил за это хорошие деньги, в виде покупки разных предметов. И так он меня приучил, что поныне я не знаю, что такое игра в карты, не чувствуя к ним никакого влечения.

В возрасте семи-восьми лет я прославился как большой математик. Что это значило? Я мог быстро совершать в голове такие подсчёты, как шестью шесть, четырнадцатью семнадцать, восемнадцатью двадцать девять и т.п., и тут же выдавал результат.

Помню, как однажды, во время Хануки, вместо того, чтобы играть в карты, семья испытывала меня в «математике». Сидела у деда в комнате вокруг меня вся семья, и каждый предлагал что-то подсчитать. Я всем тут же отвечал. В тот момент я был в центре внимания. Каждый меня щипал за щёчку и давал серебряную монету. Меня спрашивали, сколько секунд содержится в году, и я за полчаса находил ответ. Но дед реб Юдл меня спросил, сколько будет полтора умножить на полтора, и тут я, как ни старался, не мог понять, как за это взяться. Мне было очень стыдно, что я не смог сделать такой простой подсчёт. Отец почувствовал ко мне жалость и утешил, говоря, что более великие математики не могли бы этого решить, но всё-таки показал мне, как перемножать три половинки, и я успокоился.

В Пурим было принято, что дед приглашает в гости семь-восемь миньянов мужчин из каменецких хозяев. Понятно, что при этом не могла не присутствовать и вся семья деда, с сёстрами, свёкрами, свекровями и т.п. К столу подавали вина, всякое спиртное и разные закуски, и было так весело, что современному человеку это трудно представить.

Среди гостей находился также и городской хазан с певчими. Пурим-шпилеры[130] показывали своё актёрское искусство, клейзмеры играли на своих инструментах – и люди слушали, ели, пили и веселились всю ночь.

В начале месяца нисана бабушка начинала готовиться за всю семью к празднику Песах. Шмальц она заготовляла ещё с зимы. Она «сажала» гусей на выкорм и всю зиму жарила для всех шмальц, и сразу после Пурима начинала готовить мёд и вино для «царского полка». Её мёд, как всё, что выходило из её рук, было знаменито.

Восемь дней перед Песах бабушка пекла мацу для всей семьи. «Заказывала» у пекаря весь день, с рассвета до вечера, и нанимала помощниц. Работало тридцать с чем-то человек, но ни один из

членов семьи – ни сыновья, ни зятья – ничего не знали о том, что требуется человеку для Песах. Бабушка каждому посылала всё, что надо.

Перед выпечкой мацы мыли пол в большой столовой и ещё в двух больших комнатах и застилали соломой, которая оставалась до кануна Песах, а хамец[131] ели в других комнатах. А тут, на соломе, в большой комнате, валялись все дети. За три дня до Песах распускали на праздник мальчиков. Ах, как мы там, на соломе, кувыркались! За целый год лучше всего игралось на той соломе.

И весь Песах вся семья была у деда, все дети, от малого до великого – только и делали, что ели латкес[132] и пили мёд с орехами.

Члены семьи были друг с другом в большом ладу, тесно друг с другом связаны, не то, что в нынешние времена. Все были, как один человек с единой душой. Если кто-то заболевал, суетилась вся семья, проводя у него дни и ночи. Два-три человека сидели возле больного, прочие спали на полу в других комнатах. Стоило чему-то понадобиться для больного, тут же десяток бежали, чтобы принести.

А когда положение больного становилось опасным, все рыдали; а если он умирал – ребёнок ли, или взрослый – то вся семья возносила вопли до самого неба. Семь траурных дней в доме было тесно от родни. Специально спали у того, кто был в трауре, лёжа на полу, на сене. Всё это делалось, чтобы скорбящим не было так грустно.

И напротив, если был праздник – при обрезании, при рождения дочери или при составлении свадебных «условий», не говоря уже о свадьбе - в ожидании жениха или невесты – радость была так велика, что трудно себе нынче представить. Все были вместе и вне себя от радости.

У деда в доме наверху была большая комната, служившая чем-то вроде залы, куда приводили почётных гостей – богачей, сватов или просто представительных евреев. Комната всегда была хорошо обставлена и украшена, а молодые члены семьи учились там танцевать.

За три месяца до свадьбы кого-то из членов семьи учились танцевать. Помню, что в юности я совсем неплохо танцевал. Праздники у нас бывали часто: у того обрезание, у другого родилась дочка – и каждый себя чувствовал так, будто лично ему предстоит праздник.

А дед, как уже говорилось, любил, когда дети переворачивали всё в комнате – это было для него удовольствие.

И если он в шабат или праздник, почувствовав среди дня

усталость, хотел прилечь, то не шёл к себе в спальню наверх, где у него была спокойная постель, а укладывался в другой комнате, у детей, возле большой комнаты, где было полно детей и взрослых , и специально оставлял открытой дверь, чтобы слышать крик, смех и шалости всех.

Большая любовь деда к семье объяснялась, как и всё прочее, во многом влиянием бабушки. Это она, мудрая, прекрасная и сердечная еврейка, старалась, чтобы наша большая семья не разрушилась, чтобы все были верны друг другу, и чтобы дед стоял надо всеми, как любящий отец.

И таки после смерти бабушки эта верность, это семейное тепло, частично нарушилось, и во многих вещах «царский полк» уже нельзя было узнать.

Справляя дочери или сыну свадьбу, он приказывал моему отцу Мойше и единственному сыну своего брата, Арье-Лейбу, составить список платьев, необходимых для жениха, невесты, как и для всей семьи. Снова приходили все дети и внуки, от мала до велика, и каждый говорил, какую одежду он хочет.

Крики ото всех детей: «Дедушка, я хочу это!» И голоса подростков: «Я хочу эту одежду!» вместе с голосами женщин и девушек: «Мне – эту одежду!» – раздавались в комнате. И один крик всё заглушал:

«Дед, дед, дед!»

Нельзя было навести там никакого порядка и приходилось переписывать на листке всех лиц мужского пола до самых маленьких двухлетних детей, а потом всех женщин, от самых старших до самых маленьких девочек, и по списку, как во время призыва, вызывать каждого и спрашивать:

«Какие ты хочешь платья?»

Естественно, что каждый просил больше, чем можно было получить, и начиналась торговля:

«Такого количества нет, после тебе сделают!»

«Хочу сейчас!»

Атмосфера накалялась. Иные из самых сообразительных детей ещё раньше прибегали к единственному сыну, имевшему большое влияние на своего дядю Арон-Лейзера и часто добивавшемуся желаемого даже вопреки мнению дяди. Понятно, что и в этом деле он мог нам помочь.

Обычно за покупками ездили мой отец и Арье-Лейб. Ехали для этого в Бриск Истраченная сумма часто достигала шести-семи сотен рублей, не считая того, что покупали в Каменце.

Надо учесть, что в те времена товар был несколько дешевле, чем сегодня. Лучшая шерсть стоила по тридцать-сорок копеек за ярд[133], лучший бархат – по три рубля за ярд, лучший шёлк – от

рубля до рубля пятидесяти.

Дядя Мордхе-Лейб пожелал, чтобы за всё, что делается для всей семьи, он давал половину, и брат Арон-Лейзер – половину, и так это и было. И когда дед устраивал свадьбу кому-то из детей, дядя устраивал семидневный пир через раз – один день дед и другой день – дядя.

Глава 15

Мой отец и его хасидизм. – Мои меламеды. – Ребе умер! – Донос. – Тверский. – Реб Лейб. – Штрафы.

Для моего отца все семейные праздники и все удовольствия в мире были ничто по сравнению с его хасидскими радостями. Самым большим удовольствием для него было сидеть за столом с хасидами и распевать душевные хасидские песнопения – тогда он воодушевлялся. Голова его со всеми помыслами была у ребе, реб Мойше Кобринера, а потом - у реб Авреймла Слонимера, на которых, по его мнению, пребывало божественное присутствие со всеми святыми ангелами.

Главное для отца был хасидизм. Поэтому для него было неважно, чтобы я хорошо учился – достаточно, чтобы я стал набожным юношей, и он не старался передавать меня после каждого семестра лучшему меламеду.

Я имел, как было сказано, совсем неплохую голову и, проучившись семестр у одного меламеда, должен был иметь во втором семестре меламеда следующего уровня, а отец меня держал у каждого меламеда по два года, поэтому я почти стоял на одном месте и не продвигался в учении, как мог бы по своим возможностям, что было для меня даже удобно: не утруждая себя, я был всегда лучшим учеником.

У Моте-меламеда я проучился два года. Я уже мог у него самостоятельно читать страницу Гемары с Дополнениями. Только он с нами занимался мало – он и сам-то был не очень сведущ.

Мне очень хотелось начать учить Дополнения, но когда я об этом сказал отцу, он на это ответил:

«Зачем тебе Дополнения? Ты ведь учишь Гемару, будь только честным евреем – этого достаточно».

Зато я у Моте-меламеда узнал всё про ад с его архитектурой, как настоящий архитектор, и обо всех пращах, которыми швыряют грешников с одного конца ада до другого, и обо всех ангелах смерти и обо всех страшных муках, на которые обречены на том свете грешники.

О рае, как совершенном устройстве, Моте-меламед имел минимальное представление. Об этом я узнал от поруша по прозвищу «чулочник», который каждую субботу описывал рай в доме у моего дяди Мордхе-Лейба: бриллиантовые стулья, дорогие дворцы из червоного золота и кушанья, кушанья, кушанья, о которых не в силах поведать язык! И об истекающем чистым

шмальцем гусе Раббы бар-бар-Ханы[134], и о растительном масле и о старом вине, и о винных гроздьях, из которых – из каждой - можно выжать такое вино, какое захочешь!

О чертях, о бесах, водяных и колдунах я знал от бабушки и от шамеса Лейбке и был во всех этих вещах большим специалистом, крайне искушённым во всех этих ужасных и жестоких вещах, а также в историях о дурном глазе. В местечке было два человека, заговаривавших от дурного глаза. Один – возчик Довид, доставлявший муку с мельницы в магазины. Он заговаривал от дурного глаза с помощью костей мёртвого человека. Где он брал эти кости, мне неизвестно доныне. Если у кого-то распухла щёка от зубного абсцесса, как это называется, или горло, шли к Довиду, тот уже брал косточки, крутил их возле опухоли, что-то потихоньку шептал, и больной верил, что если не сегодня, то завтра, через восемь дней, через две-три недели – опухоль пройдёт. Всем в городе было «ясно», что причина опухоли – дурной глаз.

Ещё заговаривала от дурного глаза Голда-магидиха, жена магида. Он сам был большой учёный, известный в еврейском мире, знаток Талмуда, и жена, как говорили люди, тоже способна была учить Гемару.

От сглаза она заговаривала с помощью двух яиц. Обходила, держа в каждой руке по яйцу, распухшего со стороны лица и горла и тоже тихо нашёптывала.

Стоили эти «доктора» дёшево: десять, а для бедняков шесть грошей. Помню, как у меня несколько раз опухало от зубов лицо, и меня отводили к возчику Довиду, который ценился выше. Крутя у меня перед лицом костями, он бегал вокруг и так поцарапал меня этими колючими, неотполированными костями, что я чуть не потерял от боли сознание и стал просить, чтобы меня отвели к жене магида: она заговаривает с помощью яиц, а они такие гладкие, что ими нельзя поранить.

«Глупенький, - сказал он мне, - я тебе сделал немножко больно, зато это быстро проходит, а у магидихи всё продолжается очень долго».

Как-то раз мне «повезло» – Довида не оказалось дома – он уехал за мукой со своей телегой на мельницу или в Бриск, и меня отвели к магидихе. Я был вне себя от счастья: шутка ли – когда бегают с колючими костями вокруг опухоли!

К девяти годам отец меня вместе с Изроэлем, своим братом, забрал у Мотки и отдал меламеду Бенуш-Лейбу. Тот даже был учёным евреем, но большой соня. Сидя за столом с учениками, он целый день спал и храпел. Было нас шестеро. Учил он с нами Гемару и Дополнения, учил очень хорошо, но посреди урока

засыпал. Ещё у него был один недостаток: толкования Раши к каждой строчке Гемары и объяснения сокращений и трудных слов Талмуда он с нами учил не вместе с текстом, а отдельно: сначала целый лист Гемары, а потом целый лист Раши. Мы из-за этого не могли как следует понять толкования всех проблем, обсуждавшихся на листе Гемары. Таннаи с амораями[135] спорили, Раши объяснял их споры, а раби не изучал с нами соответствующее место.

Всё же мы выигрывали от того, что он засыпал за столом посреди занятий. Хотя нам в это время полагалось сидеть у стола, и если он просыпался и не заставал мальчика над открытой Гемарой, тот получал оплеуху или даже розгу –но всё-таки мы чувствовали себя тогда свободнее, не испытывали такого давления.

В Каменец приезжал каждый год посланец из Воложинской ешивы[136], страшно знаменитой учившимися там молодыми способными людьми. Воложин и поныне очень популярен среди евреев.

Помню, как воложинский посланец услышал, что у Сары (моей мамы) есть способный сын и попросил её послать меня в Воложин, где меня будут содержать по-царски. Но папа ничего не хотел ни слушать, ни знать о Воложине, так как р. Хаим имел такое влияние на своих учеников, что из них изо всех получались крупнейшие противники хасидизма, а для отца такой противник, будь он даже раввином, считался хуже безбожника. Он меня специально держал возле себя, то есть возле хасидов, и радовался, что я к ним привязан, всегда к ним прислушиваюсь, а вопрос о моём учении его совсем не беспокоил. Он всё время искал для меня хасидского меламеда, но, на моё счастье, таких в Каменце не было, кроме меламеда для начинающих, Шаи Бецалеля.

Помню однажды, я услышал в хедере, что реб Мойшеле Кобринер, ребе отца, умер. Я думал, что ребе отца – такой же, как мой раби[137], и быстро побежал, чтобы сообщить отцу хорошую новость. Я вбежал в контору и с большим восторгом прокричал:

«Папа, твой ребе умер!»

Но действие было прямо противоположным: отец побледнел и чуть не потерял сознания. Он тут же поехал в Кобрин, где в то время снова собралась вся кобринская община. Выбирали из членов общины, общим числом в шесть тысяч хасидов, шестерых человек, которые должны были выбрать ребе. Среди шестерых был и мой отец. Пять недель он там сидел. Из восьми кандидатов выбрали р. Аврума Слонимера, бывшего меламеда и большого учёного, хоть немного - да простит он мне – глупого.

Но кобринские и брикские, «более лёгкие», как их называли, хасиды, поскольку они были хасидами только для вида, хотели ребе поближе. Ехать аж в Слоним было для них слишком далеко, и они выдумали, что покойный ребе перед смертью сказал, что его внук Ноах достоин стать ребе; и это было форменной ложью. И несмотря на то, что это была ложь, что этому малому было всего восемнадцать лет, что о нём ходили не слишком красивые слухи, всё же сотня хасидов его увенчала званием ребе.

Вернувшись из Слонима, с «коронования» ребе, отец в пятницу вечером за столом, начав, как обычно, ещё до того, как пришли хасиды, сказал, обращаясь к матери, так что я мог это слышать:

«Что ты скажешь, Сара, - эти нахалы сделали ребе из его, благословенна его память, внука, Ноаха, восемнадцатилетнего мальчика, и лучше которого, по-моему, может заниматься наш Хацкель. Выдумали такую ложь, будто он, благословенна его память, сам сказал, чтобы того сделали ребе. Ты знаешь, какое это ничтожество? Конечно, что прикажи он, благословенна его память, выбрать в качестве ребе банщика – не рядом будь помянуты – так бы и было, но он этого не приказывал!»

Отец не знал, что произнесённые им слова стали для меня чем-то в роде семени, из которого вызреет позже протест по отношению к хасидизму и к ребе. Но в восемь-девять лет я был готовым хасидом. Так как ехавшие от ребе известные хасиды по дороге останавливались у отца, я в свободное от хедера время от них не отходил; и отец таки посылал моему меламеду записку, чтобы на то время, пока важные гости у нас находились, тот меня освобождал. Примерно через полгода после «коронования» реб Авреймеле он сам поехал к своим хасидам собирать деньги для Эрец-Исроэль[138] и остановился у нас на шабат. Я уже от него не отходил, стоял рядом и преданно смотрел ему в глаза.

И когда я так за завтраком стоял и на него смотрел, он меня вдруг спросил:

«Скажи, Хацкель, ты умеешь учиться?».

«Да», - ответил я простодушно.

«Ты честный еврей?»

«Да…»

И на всё, о чём он спрашивал, я отвечал просто и отчётливо: да.

Хасиды тут же рассказали отцу, следившему в другой комнате за тем, как подавали еду, что на вопросы ребе я отвечал по-простому, как отвечают обыкновенному еврею: да, да, да… А ведь мальчик должен знать, что перед ребе надо испытывать благоговение. И после завтрака, когда я зашёл к отцу в соседнюю

комнату, он мне прочёл мораль:

«Хацкель, ты стоишь перед ребе и смотришь ему в глаза, как смотрят на всех людей…Ты знаешь, что когда ребе на меня смотрит, у меня волосы встают дыбом и ногти перекручиваются. Шутка ли – ребе! Опять же, когда он спрашивает тебя, ты отвечаешь: «Да, да, да»… - безобразие! Ты ребе отвечаешь, что ты есть честный еврей. Ты знаешь, что такое для ребе «честный еврей»? Ты ещё не имеешь об этом никакого понятия. Такой мальчик, как ты, должен уже больше соображать».

Эти слова на меня сильно подействовали, я себя почувствовал грешником, словно совершил величайший проступок. Меня схватило за сердце и слёзы полились из глаз.

«Пойду просить у ребе прощения», - со слезами со слезами на глазах сказал я отцу.

«Не надо просить у ребе прощения, - сказал отец, - он уже знает, сидя в третьей комнате, что ты плачешь и раскаиваешься, он тебя пожалеет. Помни, что ребе – это не шутка, станешь старше, узнаешь, что такое ребе!»

Хасиды рассказали ребе, как отец меня наставлял, а я плакал, как раскаивался в своём большом грехе, и он велел меня к себе позвать. Когда я пришёл, он сказал:

«Не беспокойся, дитя моё, я вижу, что ты будешь честным евреем…».

С тех пор я стал пылким хасидом. Имея способности к спору, я регулярно спорил с противниками хасидов среди молодых людей, доказывая им, что их знания ничего не стоят, что их молитвы ничего не стоят, и что один стон хасида дороже молитв и постов противника хасидизма.

Помню, что однажды в шабат был у нас в гостях Аврум-Ицхок из сторонников Слонимского ребе. В доме полно было городских хасидов. Утром за столом гость говорил с ними о всяких благочестивых вещах, а я слушал.

«А цадик[139] из Ружина сказал, - рассказывал он, - что если бы он хотел быть гаоном, то был бы им, но только не стоит себя отрывать от Бога, даже на один час».

«А цадик из Ляховичей сказал, что если бы рабби Шимон Бар-Йохай[140] не составил книгу Зохар, то он сам бы её составил…».

И так далее, и так далее. Эти рассказы на меня тогда сильно действовали. Но так как я, как видно, не был рождён хасидом, то из этих рассказов почерпнул анти-хасидские настроения и убеждения…

В юности, однако, я был горячим хасидом, знал все хасидские напевы – до 200 отрывков, прыгал и плясал с вместе с хасидами, получая от этого большое удовольствие, а отец получал

удовольствие от меня. Он, бедняга, считал что я так и останусь пламенным хасидом.

На следующий год гостил у отца в шабат Слонимский ребе. Всего приехало более трёхсот хасидов. Для всех устроили великолепный шабат. Ребе, помню, явился вечером в четверг и остался до вторника. Что у нас в этот день происходило – трудно описать. Хасиды принесли с собой вина, в водке у отца недостатка не было, и люди несколько разбушевались!

Во вторник все неместные хасиды уехали, и ребе с каменецкими хасидами отправились к богатому ешувнику Лейблу Крухелю из Крухеля, пылкому хасиду и филантропу.

Деревня Крухель находилась верстах в двух от города. Понятно, что для ребе с хасидами Крухель устроил большой пир. Сидели за столом, ели, пили и пели, вдруг входит жандармский офицер с десятком солдат и с каменецким асессором во главе и окружает всю корчму. Офицер спрашивает:

«Кто здесь раввин?»

На всех напал страх. Без труда узнали, кто ребе, и приставили к нему стражу. Устроили проверку в вещах ребе, в его чемоданах и шкатулках, где лежали две тысячи пятьсот рублей денег для Эрец-Исроэль вместе с книгами, счетами, с письмом из Эрец-Исроэль и т.п. Всё переписали, а раввина велели отвезти в Бриск в тюрьму.

Отец просил асессора не отвозить ребе в Бриск, а оставить там с солдатами, которые бы за ним смотрели. Асессор переговорил с офицером, получил в кулак пятьдесят рублей, и дело уладилось.

Деда, единственного, кто мог тут помочь, как раз не было дома, и в Бриск поехал брат отца Йосл. Понятно, что он явился к исправнику и просил его замять дело и освободить ребе, для чего дал тому в руку двести рублей и тут же получил бумагу с приказом об освобождении.

Йосл спросил исправника, откуда взялся весь этот шум с арестом, на что исправник ему рассказал, что на раввина донесли сами евреи, что он, исправник, получил бумагу, подписанную евреем, о том, что в Каменце имеется раввин, собирающий деньги для Палестины. Это пахнет тюрьмой и конфискацией денег.

«И если бы не твой отец, - сказал он, – ни за что бы я его не освободил».

Йосл привёз бумагу, и ребе освободили. С того времени он больше не ездил сам для сбора денег для Эрец Исроэль – вместо него ездили посланцы.

История эта сильно расстроила хасидов, в особенности, моего отца; во-первых – из-за пережитого ребе страха, и во-вторых – от

того, что ребе больше не будет ежегодно приезжать в Каменец, что стало уже традицией. И это совсем не пустяк, а для отца – просто вопрос жизни.

Хасиды решили, что доносчика надо найти и как следует с ним рассчитаться. Его нашли, но это был очень особенный доносчик.

Жил в Каменце писарь по имени Тверский. Если читатель помнит, дед его привёз с собой из Бриска в тот период, когда город взбунтовался против аренды. Деду был тогда нужен писарь, ежедневно составлявший протоколы о бунтовщиках, ввозивших беспошлинно водку и т.п. Потом, после заключения мира, Тверский остался в Каменце, занимаясь тем, что составлял прошения для каменецких евреев, а часто и для помещиков, когда те ссорились из-за карт или девушки.

Тверский был когда-то знатоком Гемары, имел золотую голову, разбирался в Талмуде и во всех толкованиях, но потом «сбился с пути», стал апикойресом, вроде тогдашних маскилей[141], занялся систематическим образованием, но учиться ему было поздно. Он уже был для этого стар и остался на полпути. Теперь у него не было никакого другого выбора, как сделать себе из писания прошений профессию и с этого жить.

Дело шло хорошо. В Вильне его стали использовать для самых важных дел, и его имя стало известным во всём Виленском округе – настолько, что если у кого-то было какое-то трудное дело, то он привозил Тверского к себе в город, чтобы написать прошение и привести все бумаги в порядок.

Состояния этим он себе однако создать не мог. Во-первых, он был по натуре очень честным, характер имел благородный и не умел торговаться со своими клиентами. Сколько ему давали, столько он и брал – тихо, без разговоров; а во-вторых, он любил тратить заработанное, ненавидел оставлять на завтра, предпочитая всё проживать сегодня, и если всё-таки не имел куда деть заработанное, то раздавал нуждающимся.

Он мог отдать последнюю копейку – а себе не оставить даже на еду. Получив деньги, он любил съесть четверть гуся, пупок, выпить кружку пива, а когда денег больше не оставалось, мог есть хлеб с маслом и с чаем, а если не было масла – то без, а если не было чая – то с водой. Минуту назад мог отдать доброму другу или просто нуждающемуся три рубля или пять – и ему это было всё равно.

Как всем тогдашним маскилим, ему очень хотелось распространять среди евреев образование, просвещение, ослабление «фанатизма» и выход евреев в широкий мир.

Хорошо зная Танах и Мидраш, начитанный в

просветительской литературе на иврите и в русской литературе, к тому же умея говорить, он везде, где только бывал, рассказывал прекрасные, интересные истории для башковитых евреев, так что все пальчики облизывали. Но начав рассказывать, он никогда не кончал своих историй в один день, а иногда даже удерживал собравшихся по три дня. Конец его историй был всегда неожиданный: потихоньку, полегоньку приходил он со своим рассказом к ереси… И тут он просто отрицал всё, что касалось религии, смешивал с грязью всех таннаев и амораев и уж конечно раввинов, а слушатели разбегались, затыкая уши… Лишь те, кто помоложе и полюбопытнее, оставались до конца и слушали, и слушали…

В своей большой войне против религии он уважал только двух, хотя и очень разных, религиозных деятелей – раби Гиллеля-Старейшину[142] и Виленского Гаона. Всех остальных он превращал в прах.

О его ловкости и способности можно судить по тому, что глава брискской общины Юдл Ха-Кадир привёз его из Вильны в Бриск ради большого и громкого дела, которое вёл город. Это была довольно ужасная история с фальшивыми паспортами, почтенными евреями и доносами. Но Тверский, со своей умной головой и знанием закона, свёл на нет всё дело, которого так боялся город.

За этот процесс он стоил нескольких тысяч, но дали ему триста рублей, которые он тоже тут же раздал хорошим друзьям, оставив себе только двадцать пять рублей, да и те прожил за неделю. Через неделю он уже терпел голод, и так до следующего случайного заработка.

Свои истории он обычно рассказывал у дяди Мордхе-Лейба в доме, «просторном, как поле». Там собиралось много народу, он начинал рассказывать в три часа дня, кончая в 7-8 часов вечера. Иные вставали, ненадолго выходили и возвращались снова, если ещё не доходило до ереси...

Самой интересной была история про французскую революцию…

И однажды, помню, он начал говорить обо всех наших святых, начав с праотца Авраама… Все разбежались, только мой отец остался. Еретические речи его никогда не волновали. Не задело его даже тогда, когда Тверский смешал с грязью его ребе Авреймеле. Ему как раз нравился апикойрес Тверский, который имел доброе сердце, много раздавал беднякам, был честным человеком, к тому же и умным. Тверский тоже любил моего отца – за его тактичность, за терпимость к не очень благочестивым людям и за сердечность.

Но именно отец на этот раз заподозрил, что донос на ребе должен исходить от Тверского, хоть он и не верил, что сам Тверский мог быть доносчиком. Во всяком случае, отец решил, что Тверский должен знать, откуда исходит донос. Он вспомнил, как однажды, когда несколько сот хасидов собрались вместе с ребе, он сам слышал, как Тверский сказал, что собралось несколько сот скотов, оказать почтение такому дураку. Тогда это произвело на отца очень тяжёлое впечатление.

После некоторых колебаний он позвал к себе Тверского и попросил его сказать правду – кто выдал ребе? Если он сам это сделал, пусть ему признается.

«Ну, я это сделал… - спокойно сказал Тверский.

Отец был поражён: «Как вы могли совершить такой низкий поступок? - Спросил он, весь дрожа, - вы ведь порядочный человек». И как насчёт того, чтобы не делать другому того, что ненавистно тебе самому?»

Тверский ответил просто:

«Авреймеле достоин хорошей порки, чтобы не соблазнял тысячи людей, не выманивал у них последние гроши. Но признаюсь, что делать это мне не хотелось, хоть это и «мицва». Толкнул меня на это очень приличный человек, которого ребе сделал несчастным. Я его однажды встретил в шинке Довида-Ицхока и он сказал, что дал бы двадцать пять рублей тому, кто даст ребе двадцать пять розог, и отсюда всё пошло…»

Отец понял, что это работа Лейба Меерова, и созвал по этому поводу собрание. Реб Ореле, хасидский вождь, был тогда раввинским судьёй в городе, и он тоже присутствовал на собрании. Было решено выдать «ему», пусть он будет здоров, Лейба Меерова, которому будет мицва причинить любую неприятность. Чем его сделал несчастным ребе, мы услышим дальше.

Этот самый реб Лейб Мееров был жителем Заставья. Его отец, реб Меер, был большим человеком, известным евреем, с состоянием в двадцать тысяч рублей. Сын его Лейбе, учёный и знаток иврита, умный и тоже богатый еврей, стал пылким противником хасидизма. У него был сын Хершль, способный к занятиям и приятный молодой человек. И этот Хершль стал Слонимским хасидом. Сразу после своей свадьбы поехал к ребе в Слоним, просидел там два месяца и вернулся домой пламенным хасидом.

Прибыл он из Слонима домой ночью и постучался в дверь. Когда в доме услышали стук в дверь, отец не хотел его впускать, и дверь ему открыла жена против желания свёкра. Ложась спать к себе в кровать, он почувствовал, что перина тёплая. И когда

спросил, кто здесь раньше спал, жена ответила, что спала она. Он тут же схватил перину, вытащил её на улицу и вывалял её в снегу, чтобы уничтожить тепло перины, согретой телом жены.

От такого поступка жена стала плакать. Плач услышал отец и, когда он, войдя в комнату, спросил, отчего она плачет, рассказала о том, как поступил его сыночек-хасид. На этот раз отец его как следует отлупил, и он опять сбежал к ребе в Слоним.

Жена его, однако, любила и конечно раскаивалась в своём тогдашнем плаче, который привёл к тому, что отец его побил. И кто теперь знает, когда он вернётся. Она поехала в Слоним и просила ребе, чтобы он приказал её мужу ехать с ней домой. Ребе приказал, он поехал домой и даже помирился с отцом.

Но Хершль был очень пылким хасидом. Зимой он ходил, простуженный, каждый день в холодную микву и пылко молился. Молясь, громко вскрикивал, заболев сердцем и горлом от холодных микв и ото всех криков во время молитвы. День и ночь он проводил в хасидских делах, оставил жену, порхал между небом и землёй и от такого возбуждения, наконец, сошёл с ума. Болезнь его стоила отцу кучу денег, и он умер.

Тот же реб Лейб имел зятя, сына противника хасидизма, и тот тоже стал хасидом. Он забросил жену и больше проводил времени у ребе, чем дома.

Видя разрушение всей своей семьи, реб Лейб чувствовал желание обрушить на ребе, который, как он считал, загубил его детей, весь свой гнев. Ребе он, конечно, совсем не ценил, и помимо его желания гнев его привёл к такому презренному и гнусному делу, как донос.

Но хасиды, решив на собрании, что ему разрешается причинить любое зло, поступили очень просто. Этот самый реб Лейб, бывший крупным торговцем мукой и посредником крупнейших мельников, поставлял муку в Каменец и Бриск, в том числе и в кредит. По традиции он давал бесплатно, а потом, расплачиваясь, люди брали ещё товар. Большую неприятность реб Лейбу могли причинить тем, чтобы подговорить всех торговцев ему не платить, отчего реб Лейб станет банкротом, тут ему придёт горький конец. А у них, продавцов, товар всегда будет – где мука, там и посредники.

Чтоб исполнить задуманное, к хасидам из Бриска, общине из более чем двухсот человек, поехал хасид из Каменца. Задуманное было выполнено великолепно – когда реб Лейб сразу после их посещения явился в Бриск и пошёл к продавцам, чтобы получить деньги и продолжать заказы, никто ему не дал ни гроша, а вместо этого ещё кричали:

«Доносчик, прочь из лавки! Еврей чтоб доносил на ребе!»

А если он не достаточно быстро уходил из магазина, тут же появлялись все хасидские мальчишки, забрасывая его камнями и грязью и бежали за ним по всем улицам, по каким он проходил, так что ему пришлось из Бриска бежать. От этой игры он потерпел убытка шесть тысяч рублей!

Деньги свои у него были, банкротом оказаться он не хотел, и заплатил на мельнице, сколько пришлось. Но так как из-за «бойкота» он больше не мог продавать муку, то совсем лишился посредничества по продаже муки и стал бедняком. Напуганный насмерть, он не смел являться в Бриск.

Через какое-то время он написал на святом языке большое письмо моему отцу. Письмо, рассчитанное на то, чтобы произвести впечатление, составлено было с умом, и говорилось в нём о мире, в чём он, реб Лейб, полагался на моего отца и на р. Ореле, и как они решат, так он и поступит.

Отец позвал к себе умных хасидов во главе с р. Ореле для совета. Между хасидами было решено, что реб Лейб поедет к ребе в Слоним, взяв с собой трёх своих мальчиков в возрасте от десяти до пятнадцати лет, явится к ребе в чулках и попросит прощения, привезя с собой четыреста рублей, которые стоила взятка вместе со всеми расходами, и пятьсот рублей штрафа для Эрец-Исроэль – всего девятьсот рублей, и поклянётся со всей искренностью, что весь год будет ездить в Слоним к ребе, взяв с собой мальчиков, до самой их свадьбы. Потом они уже сами будут ездить к ребе… А каменецким хасидам он должен подарить новую Тору для штибля и приходить каждую субботу туда молиться. Что означает: он должен стать хасидом! Всё равно что заставить человека отказаться от своей веры…

В смысле денег он бы согласился, хоть их у него уже не было. Он бы продал драгоценности своей жены, невестки и дочери, но ездить в Слоним каждый год - на это он никак не мог согласиться.

И он со слезами прибежал к моему отцу, чтобы перед ним выговориться. «Мойше, - сказал он, - ты же умный человек. Ты что-то понимаешь в людях, и сердце у тебя доброе. Скажи мне, прошу тебя, между нами – после всех моих несчастий и цорес, стать хасидом поневоле? Может ли человек вообще вдруг кем-то стать насильно? Особенно после того, как я никогда хасидом не был. Нет у меня этого в крови. Я был с тобой откровенен – и ты знаешь, что с Тверским я только разговаривал. Но ведь говорить – это не то, что делать. Не достаточно ли того, что вы меня разорили, лишив заработка – вы ещё хотите отнять моё несогласие с хасидизмом, что мне так же дорого, как для тебя – сам хасидизм. Деньги я дам, хоть и последние, и к ребе просить прощения я тоже поеду – но это пусть будет всё: чего ещё людям

надо? Мойше, у тебя доброе сердце, ты должен меня понять, прошу тебя, помоги мне в этом.

Отец, который чувствовал к нему настоящую жалость, обещал передать хасидам его желание.

После долгих и тяжёлых усилий, было, наконец, решено, благодаря моему отцу, что будет ему облегчение, но к ребе он всё же должен поехать, хотя бы один раз: на Рош-ха-Шана.

Глава 16

Мои занятия. – Торговцы книгами былых времён. – Моё первое общество. – Исроэль Вишняк. – Устроенный ему экзамен. – Карьера Исроэля. – Что ему помешало.

В двенадцать лет я любил летними вечерами, освободясь от хедера, приходить в бет-ха-мидраш и между послеобеденной и вечерней молитвой общаться с разными учениками бет-ха-мидраша, знакомиться с новыми порушами, а также и с недавно женившимися хозяйскими сыновьями, и говорить с ними на всякие еврейские темы и о прочих житейских делах. Я открывал Гемару – и всё время между послеобеденной и вечерней молитвой с удовольствием разговаривал, один вечер – за одним столом; на другой вечер – за другим.

Тут я часто спорил о хасидизме. По природе я имел склонность прилепляться к старшим, стараться с ними дружить. Я не смущался, что я для них - малыш, получая удовольствие от того, что мог набраться у взрослых ума, эта моя черта придавала мне смелости спорить с ними о хасидизме, а благодаря способности к спору, я часто побеждал.

В бет-ха-мидраше было много экземпляров Талмуда, но только рваных, и помню, что это было тогда горячим вопросом: молодые люди и порушижаловались, что оттого, что все книги рваные, им это мешает заниматься.

В прежние времена по стране ездили книготорговцы, каждый со своей лошадкой – настоящей клячей Менделе Мойхер-Сфорима[143]. В повозке лежали разные книги, а также и книжечки со всякими историями. Заезжали во двор бет-ха-мидраша, а на ночь - в какую-нибудь дешёвую корчму; утром перед молитвой такой мойхер-сфоримник уже стоял «с конём и повозкой» на синагогальном дворе. Иной раз книготорговец арендовал за пару рублей в большом бет-ха-мидраше стол у дверей и устраивался там с книгами, а его партнёр (у него иногда бывал партнёр) объезжал с частью книг деревни.

Книготорговцы часто привозили с собой анонсы о выходе разных изданий Талмуда с разными комментариями на бумаге большого формата. Однажды книготорговец привёз объявление издателя из Славуты[144] о предстоящем роскошном издании Талмуда со всеми толкованиями на очень хорошей бумаге и прекрасной печатью. Цена за экземпляр – семьдесят два рубля с выплатой в течение года по шести рублей в месяц.

Мне пришло в голову создать вместе с другими мальчиками общество: каждый даст по четыре копейки в неделю, и мы на это купим для большого бет-ха-мидраша. славутский Талмуд. Книготорговец нам показал один трактат – это была красота!

Создали общество, и Йоселе, сын богача, стал кассиром, я – казначеем, на каждые десять мальчиков мы поставили по одному «десятнику» - он должен был сосредотачивать у себя каждую неделю деньги и передавать их Йоселе. Все регулярно платили, а один из нас всё записывал в специальную книгу. Потом отдавали деньги сыну магида Мойше-Арону, а уже тот их посылал в Славуту, после чего тут же получали трактат, который переплетали в красивый переплёт. И таким образом уже получили шесть томов.

Это было первое созданное мной в жизни общество, и скажу откровенно и без скромности, что без меня оно долго не просуществовало. Только я заболел – и моё общество тут же развалилось. Йосл с Авреймеле-писцом не способны были руководить, и в бет-ха-мидраше осталось на память шесть томов – больше мы не выписывали.

Илюй Исроэль Вишняк[145], который всех нас, мальчиков, порол за неспособность учиться как он, стал в Люблине через четыре года очень знаменит. Учился он у люблинского раввина, реб Хершеле, который в своих «Вопросах и ответах» писал о нём: «мой ученик, мудрец реб Исроэль». Реб Исроэлю было тогда 12 лет. Он задумал совершить поездку в Каменец к своему деду, реб Зелигу Андаркесу. Ехал он на извозчике, выходя по дороге в каждом большом городе к раввинам, беседуя с ними о Торе и задавая им такие вопросы, что они не могли на них ответить.

Побывал он и в Бриске у раввина, реб Хершеле Лембергского, также большого мудреца. Исроэль его держал три часа в разговорах о Торе; поражал остротой своего ума. По приезде его в Каменец там уже всё кипело известием о юном мудреце.

Говорить с простыми каменецкими мальчиками ему не пристало, и он собрал вокруг себя несколько самых лучших, среди которых был и я. Я же к нему питал большое почтение, очень был польщён, что он с нами играет. Посреди игр к нему часто являлись учёные поговорить об Учении, и он их забрасывал вопросами из Гемары, а они не знали, что ответить.

Как всегда, он навестил также каменецкого равввина и задал ему какой-то вопрос. Тот ответил не так быстро, и будучи маленького роста, Израиль забрался к раввину на колени, взял большую белую бороду раввина двумя ручками и дёрнув вверх и вниз, сказал:

«Хорош раввин, если двенадцатилетний мальчик задаёт

вопрос, а вы ничего не можете ответить…»

Об этом сразу стало известно в городе, и дерзость Исроэля по отношению к старику-раввину, известному знатоку Талмуда, возмутила всех каменецких больших учёных. Они собрались во главе с реб Мойше Кацем, реб Йоселе, братом карлинского, очень выдающегося раввина, и реб Лейб Бен-Меиром, и решили: задать ему, Исроэлю, особенно большие вопросы из Гемары, и если он на них тут же не ответит – выпороть.

Местом для экзамена выбрали большой бет-ха-мидраш. Прийти назначили на завтра в два часа дня. Самоуверенность была в нём очень развита, и до подобных вопросов он был большой охотник. Уверен был, что легко справится с любым, самым трудным вопросом. Но в глубине души чувствовал какой-то страх – а вдруг споткнётся и получит хорошую порку?…

В такую минуту он прибежал ко мне и попросил помочь – не дать его выпороть. Я, естественно, не отказался и привёл с собой в старый бет-ха-мидраш в час дня восемь здоровых парней…

Помню, как сегодня, что в бет-ха-мидраше собрались все каменецкие учёные, прушим и хозяйские дети, кто, учась в бет-ха-мидраше, кормился по очереди в разных домах. Собралась большая толпа. Исроэль, маленький мальчик, стоял с нами в стороне. Потом, когда пришли реб Мойше Кац и реб Йоселе, его взяли на экзамен. Они смешали трактат «Песахим» из Гемары, помнится, лист 66, страница 2, велели ему просмотреть страницу Гемары с Дополнениями и стали задавать вопросы. Исроэль влез совсем на стол и стал очень быстро водить по Гемаре своим маленьким пальчиком сверху вниз, а потом – по Дополнению. Не прошло и пяти минут, как он ответил на вопрос, учёные были поражены и потрясены мальчиком, и вместо порки стали его целовать.

«Но как это ты можешь так быстро просмотреть целую страницу Гемары с Дополнениями!» - все удивлялись.

«Дайте мне труднейшие «Вопросы и ответы», - отвечал он, - и я вот так же пробегу пальцем по странице и тут же скажу наизусть». Ему дали «Пней Иошуа»[146], и он так же быстро прошёлся пальцем по странице и тут же повторил наизусть. После чего уже весь город перед ним испытывал страх, и его гордость не знала меры. На всех он смотрел, как на невежд, неспособных ничего глубоко и как следует выучить.

В Каменце он прожил несколько недель, и город всё время из-за него кипел, все только и говорили, что о мальчике Исроэле, таком гении! После чего он вернулся к отцу в Люблин и занялся изучением Каббалы. Талмуд и галахические авторитеты были уже для него слишком легки, он взялся за Каббалу, и это было его

несчастьем. Учил бы он дальше Талмуд, авторитеты, Вопросы и ответы, как все большие знатоки, стал бы, возможно, вторым Виленским Гаоном, единственным в своём поколении.

Но к сожалению, он с ранних лет взялся за Каббалу. Примерно через год я получил составленную им книгу Каббалы, вышедшую к его тринадцатилетию. Стал читать и не понял ни слова. Мне Каббала вообще была совсем чужда, а это была типично-Каббалистическая книжица.

В Семятичах, Гродненской губернии, жил в те времена богач, Довид Широкий. Имя «Широкий» он получил из-за широкой натуры. Жил он, как граф. Захотелось ему взять своей дочери жениха-илюя. Он слышал об илюе Исроэле и послал свата к отцу Исроэля, реб Йозлу Вишняку, учёному еврею, уважаемому человеку, с предложением взять его сына Исроэля себе в зятья. Давал пять тысяч приданого и обязался кормить молодых десять лет.

Реб Йозл порасспросил, и шидух состоялся. Реб Довид Широкий предложил день для подписания «условий», прося со всей Литвы величайших раввинов и учёных явиться на церемонию за его счёт. Тут уж он показал всю свою широту: желая, чтобы все раввины знали, какого он берёт зятя.

На подписание «условий» прибыло несколько миньянов важных раввинов, и жених Исроэль пустился с раввинами в сложную полемику, поражая их своей гениальной головой. Были они вне себя от радости: удалось же встретить в четырнадцатилетнем мальчике такую остроту ума! «Условия» прошли по-княжески, и радости реб Довида Широкого не было границ.

Невеста была ещё очень молода, тоже четырнадцати лет, и реб Довид просил отложить свадьбу на два года. Ему только было важно «отхватить» большого илюя, а теперь можно было и подождать. Отдавать дочь замуж до шестнадцати лет ему не хотелось.

Тем временем вспыхнуло польское восстание. В Семятичи вступили поляки, чтобы захватить город. Тут же явились русские войска, началась стрельба, в которой Довид Широкий был убит. Всё его состояние, вместе со всеми делами, которые он вёл с помещиками, во время восстания, почти пропали. Осталось всей собственности тысяч на тридцать. Но детей – сыновей с дочерьми - было много, и между ними пришлось разделить деньги. Наследники справили свадьбу сестре, отдали пять тысяч рублей приданого, но уже без кормления.

Исроэль женился и уехал жить в Бельск, уездный город Гродненской губернии, возле своего дяди, реб Лейзера Вишняка,

богача и большого учёного. Но ни о каких делах он не думал, даже денег в рост не отдавал. Только снял большую квартиру и проедал деньги. И совсем не думал о том, что они в конце концов кончатся. Тем временем в городе он стал себя вести как ребе, учёнейшие молодые люди приходили послушать его ученье, его острые толкования, и в городе он прослыл святым. Даже его дядя, реб Лейзер, тоже звал его ребе.

С каждым днём он становился всё известней как большой мудрец, праведник и каббалист. Он проложил новый путь в Каббале и собирался основать ешиву для её изучения. День и ночь у него в доме было полно учёных, молодёжь «стояла на голове», лишь бы услышать его ученье, его Каббалу.

А жил он на готовые рубли, и жена его даже стала беспокоиться, что вот уйдут деньги - и что дальше? Но он стал совсем святым, и с ним было трудно сказать слово. Ни о чём житейском он говорить не хотел, и иной раз у себя в комнате ей случалось плакать.

И так уже он был погружён в свою Каббалу, что стал носить на голове двенадцать пар тфиллин, чтобы угодить разным мнениям - сделал маленькие тфилинчики, повязывал все двенадцать пар на голове и так ходил по улице. А следом ходили молодые люди и следили, чтобы над ним не смеялись.

В городе, как уже говорилось, его считали святым. Стали к нему приходить, как к ребе, прося благословения, но он таких прогонял, не желая ничего отвечать.

А карман с каждым днём всё пустел, и из-за этого его жизнь с женой всё ухудшалась. Совсем уже не оставалось, на что жить, а поговорить с ним ей всё не удавалось. Он ничего не хотел слышать о таких вещах, а стоило ей заговорить построже, как он её назвал «нахалкой» и послал за раввином, чтобы написать ей разводное письмо. Жена заплакала и в момент получения развода упала в обморок. Потом уехала в Семятичи к своим братьям, и что с ней потом стало, мне неизвестно.

Это Исроэля сломило. Он не мог сориентироваться, кто он: не раввин, не хасидский цадик, не торговец – так кто же? Он впал в меланхолию и после долгих размышлений решил готовиться в университет, стать профессором – для него ведь это пустяк. В один год он пройдёт все классы средней школы. Купил русский словарь и буквально через месяц знал все русские слова наизусть.

Его дядя, реб Лейзер Вишняк, увидел, что Исроэль ступил на опасный путь и телеграфировал отцу. Отец приехал и увёз его, измученного и расстроенного, к себе в Люблин, привёл его к ребе, реб Лейбеле Эйгеру, и сделал хасидом. Ребе, реб Лейбеле, ему радовался, и он стал хасидом.

Тут он всецело предался хасидизму, снова женился. Жена открыла магазин, зажили они просто, как все евреи, и так из гениального мальчика получился обыкновенный еврей.

Глава 17

Последующие меламеды. – Реб Эфроим-меламед. – Его «новые» истории. – Прежняя одежда. – Изгнанные раввины. – Наша любовь к раввину.

От меламеда Бейнуш-Лейба, у которого я почти стоял на месте, я перешёл к кривому Довиду, который был слеп на один глаз. Этот был мучитель на втором месте после Довида-Лохматого.

Я у него учился три срока и очень продвинулся в ученье. Он был большим учёным и учил основательно, и я от него вышел с репутацией хорошего ученика. От него я перешёл к моему дяде, реб Эфроиму, выдающемуся знатоку и мудрецу, который на редкость хорошо писал на иврите.

В торговле ему не везло, для дел с помещиками он не годился, не умея им льстить, и оттого, бедняга, очень нуждался. Дедушка Арон-Лейзер ему помогал, но сколько можно жить подаянием? При этом он имел пять взрослых дочерей, и пришлось ему стать, как все нищие, меламедом. Был он однако, из лучших меламедов. Мы у него учились вчетвером и считались лучшими в городе.

Я у него учил два срока из Гемары «Буднее» с Дополнениями, с толкованием Махарша и других авторитетов – «Маген-Авраам»[147] и «Шита мекубецет»[148].

За всё время моего учения в хедерах, нигде я не получал такого удовольствия, как у дяди. Во-первых, Гемару он учил с нами понятно, с лаской, с мягкой, доброй речью, и если мы никак не могли разобраться в изощрённых системах, он не проявлял никакого раздражения. Добиться нашего понимания он старался ясной речью, сравнениями и примерами.

Учиться у него было удивительно сладостно и приятно. После тяжких усилий по изучению Гемары и авторитетов, мы отдыхали, и он с нами пускался в мирские дела. Он был очень начитанным, много знал о явлениях природы, также иной раз читал русскую книгу, но в русском языке ему мешала его жена, которая была, да простится мне, очень глупой еврейкой.

На самом деле, он не её боялся, а её глупости. Увидев у своего мужа, реб Эфроима, какую-то вещь, которая ей не нравилась, она тут же рассказывала всей семье и всем женщинам. И так как читать русские книги считалось тогда грехом, он от этого воздерживался.

Но, по своему времени, он очень много знал, и отдыхая от Гемары, объяснял нам разные научные вещи и часто рассказывал истории из жизни предыдущих поколений, но всё – правдивые, реальные истории.

Получал он за срок с учеников девяносто рублей. С двоих - по двадцать, а с нас с Исроэлем – пятьдесят. Естественно, что он, несчастный, был большой бедняк и жаловался нам на нынешнюю дороговизну, вспоминая с восхищением свои детские годы, когда бык стоил шесть рублей, корова – три, восемнадцать грошей гусь, шесть-восемь грошей курица, грош – пять яиц, шесть грошей фунт масла и два гроша горшок молока… Каждый еврей тогда мог, имея хотя бы несколько копеек, устроить себе небольшой заводик для производства спиртного с парой коров, выкормленных на сусле, и молока бывало – хоть в нём купайся.

А одежда прежде бывала из такого крепкого материала, что вещь переходила по наследству от отца к сыну. Был такой сорт, который назывался «каменный дождь» - материя крепкая, как камень, и прочная и плотная, почти как жесть. Если шел кто-то в кафтане или в пальто из «каменного дождя», каждая складка в нём трещала, так что было слышно за версту, что кто-то идёт.

«Каменный дождь» был разных цветов и разной цены; самый дешёвый был в старину шестьдесят копеек за ярд, но крепость была та же – невозможно было порвать одежду. Может, лет через пятьдесят немного износится, полиняет, перейдёт по наследству к сыну, и будет особо почтенно носить такой полинявший кафтан в память об умершем. Потом, через несколько десятков лет, он уже сильно вылиняет, придётся его носить каждый день на работу и в плохую погоду. Но рваным и дырявым он никогда не будет.

Я помню ещё кафтаны из «каменного дождя», которые носили старые евреи. У меня у самого был такой кафтан в восьмилетнем возрасте. Мне его переделали из дедушкиного, а тот его унаследовал от своего отца.

Был также материал, который назывался "ластик". Сегодня его называют полу-ластик, но нынешний совсем не похож на прежнй. Ластик уже носили богатые мужчины. Материя для мужчин была: четыре сорта "каменного дождя", два сорта ластика, три сорта бархата, Четыре сорта бархата и несколько сортов шёлка.

Женщины носили ситец по 7-8 копеек за ярд, а самый дорогой сорт шерсти - по 30 копеек за ярд. Шерсть уже носили те, что побогаче.

Из мехов носили - самую дорогую выхухоль, сибирскую белку, ондатру и бобра. Женщины носили лису, соболя и куницу. Украшения состояли только из жемчуга. Почти самые простые

носили на шее жемчуга где-то за тридцать рублей. Приняты были кольца, золотые брошки величиной с рубль, которые носили на шее.

Мой дядя меламед рассказывал нам истории о наших великих мудрецах, но без преувеличений и без неестественных вещей, только реальные истории, ясные и правдивые. Он знал, сколько прежде получали раввины и великие мудрецы, что составляло порядка восьмидесяти грошей в неделю. Столько брал минский раввин, и столько же - Виленский гаон, а при повышении жалованья добавляли ещё десять грошей в неделю.

Он же рассказывал, как помесячные старосты властвовали над раввинами, и бывало, что великого мудреца выгоняли из города, где он был раввином, из-за всякой мелочи. Помесячный староста просто звал своих сторонников из числа городской знати и налагал на раввина наказание. Решали, что раввина надо прогнать, и прогоняли.

В Минске, например, прогнали автора "Шагат Арье"[149]. Он был почти самый большой гаон у евреев после Виленского. Прогнали его летом, в пятницу в двенадцать часов, с большим позором, а именно: запрягли пару быков в телегу и так вывезли из города. Дядя рассказывал, что одна еврейка вышла из города к раввину и принесла ему три халы на шабат. Он её спросил, знает ли её муж о халах, и она ответила:

"Нет".

Он сказал:

"Так я не могу взять".

Тогда его отвели в еврейскую корчму. Изгнанный еврей не хотел, чтобы ешувник знал, что он - минский раввин. Энергичная еврейка, однако, побежала пешком в деревню и рассказала, что это наш раввин, большой гаон, а помесячный староста, да отрётся его имя, его прогнал.

В Бриске прогнали гаона, автора большого комментария к Талмуду под именем "Б.х."[150] Он был там раввином. Однажды произошла история. Ночью на исходе субботы сидел помесячный староста с представителями городской знати в общинном доме. В двенадцать часов погасла свеча. Во всём Бриске не было огня. Все уже спали. Помесячный староста послал шамесов к равввину зажечь там фонарь и принести. Пришли к раввину. Но как же они были удивлены, обнаружив, что темно и у раввина. Он уже тоже спал. Они рассказали о этом собранию, и помесячный староста с представителями городской знати решили, что, если раввин в двенадцать часов ночи спит, следует его прогнать. И его прогнали из Бриска.

Глава 18

Мой раби реб Ицхок-Ойшер. – Наши «занятия». – Моя первая революция. – Моё имя становится известно в городе. – Конец истории.

Жил в Каменце несчастный хасид, нищий и страшно набожный. Делать – он ничего не делал. Жена ему не давала жить, чтобы он стал тем, кем были все шлимазлники – меламедом. Когда он сказал об этом моему отцу, у того тут же возникла идея – что Ицхок-Ойшер может быть для его Хацкеле хорошим меламедом. Что Хацкель у него чему-то научится – это вряд ли, но зато станет при нём большим хасидом, ведь я, хотя и был в душе хасидом, всё же «любил этот мир», как говорил отец. Я постоянно бывал у деда, где часто ел в субботу и в праздники, и тогда уже вместе с дедом молился у дяди Мордхе-Лейба, и к десяти часам мы уже кончали молиться.

У деда еда продолжалась недолго, и когда часов в двенадцать, отец приходил домой из штибля, я уже был дома, готовый к трапезе. Где мне было лучше, там я и был. За это отец меня часто называл «отмирасегойник» и сожалел, что отдал меня на выучку к дяде реб Эфроиму, противнику хасидизма и, как его считали, философу. Конечно, он был скрытым апикойресом. Действительно, отец видел, что я стал слишком много знать, что-то понимать в жизни, и очень боялся, чтобы и я, Боже сохрани, не стал у дяди апикойресом.

Конечно, он хотел меня забрать от дяди, но боялся своего отца Арон-Лейзера. И потому искал такого случая, чтобы он мог взять меня из хедера, а дед бы не возражал.

Но стоило явиться Ицхок-Ойшеру, как все эти соображения были забыты: отец загорелся идеей, что у такого меламеда я стану настоящим хасидом. И вместе с ещё одним евреем-хасидом он назначил Ицхок-Ойшера быть меламедом. За двух мальчиков: за меня и за Мордхе, сына Шмуель-Шлойме, определили пятьдесят рублей за срок. Учить он должен был в бет-мидраше реб Хершеле, на синагогальном дворе, где днём никто не учится, - ни поруш, ни ешиботник. Там было тихо, и можно было с пользой поучиться. Собственного своего брата, моего друга Исроэля, отец от Эфроима не забрал.

Назавтра после Суккот, в девять часов утра, я пришёл в штибль реб Хершеле заниматься с новым меламедом, как раз в это время все шли в хедеры.

Ребе ещё не было, и мы с товарищем ждали. В одиннадцать часов он пришёл из миквы и стал молиться, притоптывая ногой по полу и хлопая ладонями по стене, как делал он обычно во время молитвы. И целый час стучал по полу и по стене и надрывал горло криком, а потом, примерно полпервого, стал с нами учить трактат «Браки». Он не завтракал, потому что на рассвете ещё только ел ужин.

Стали мы учить из Гемары то, что было нам знакомо ещё раньше. Выучили целый лист Гемары, а он смотрел перед собой – и слушал ли он нас или о чём-то своём думал – мы не знали.

Дошли до Дополнений, и тут он несколько оживился и сам стал смотреть на мелкие буквы текста. Дополнения мы тоже знали, а он, смотрел в книгу, шептал про себя и как видно не понимал. Сидит, охватив руками свою маленькую головку с узким лбом и шепчет про себя Дополнения. Но мы чувствуем, что он не понимает – думает, опять про себя бормочет, снова думает полчаса, пока нам не надоело и не опротивело так сидеть. Мы говорим:

«Раби, мы вам расскажем Дополнения. Это очень лёгкие Дополнения».

Тут он закричал:

«Это вам всё легко, но мне-то всё трудно!»

Мы тогда встали и пошли в большой бет-мидраш.

Там мы поговорили с молодыми людьми, и взглянув на часы, увидели, что прошёл час. И хоть мы перед этим шлимазлом действительно не испытывали никакого страха, всё же было желательно, чтоб о том, что мы ушли во время занятий в бет-мидраш, он не рассказывал отцу, и мы поспешили вернуться назад в штибль.

Вернувшись, мы увидели, что он по-прежнему сидит, положив свою маленькую голову на руки и глубоко задумавшись. Мы пошли домой обедать и, вернувшись, нашли его в той же позе. Тут уж мы нарушили его размышления и спросили:

«О чём раби так долго думает? Мы уже давно знаем Дополнения, мы ему уже выучили!

Он, как видно, всё никак не мог разобраться, явно этого стыдился и оттого молчал. Мы выучили ещё несколько Дополнений, а он всё молчал. Тем временем пришло время послеобеденной молитвы, и он занялся своими странными приготовлениями…

Мы опять пошли в бет-мидраш и крутились там вместе со всеми мальчиками. Договор Ицхок-Ойшера с отцом был - учить нас только до послеобеденной молитвы, а не до девяти вечера, как во всех хедерах в зимнее время. Мы поиграли в бет-мидраше,

поучили немного из завтрашней Гемары с несколькими Дополнениями, а чего не знали, спрашивали у порушей.

Назавтра снова стали заниматься, и он себя вёл, как накануне, думая над Дополнениями. Вышли мы на целых три часа, вернувшись ровно за полчаса до послеобеденной молитвы... Пересказали ему снова Дополнения, а он молчал. И так провели зиму.

Тем временем я прямо поселился в большом бет-мидраше, познакомившись со всеми ешиботниками, порушами и с хозяйскими детьми. Я вёл с ними споры, говорил о разных вещах, и от нечего делать совершил некую «революцию». Дело было так.

В бет-мидраше, как я уже писал, все экземпляры Талмуда были рваные, а целые экземпляры Шебсей-Хирш, старый человек, служивший габаем уже тридцать лет, держал запертыми в помещении с железными решётками на окнах и с железной дверью, где несколько лет назад сидели рекруты. Позже арестный дом стали держать не на синагогальном дворе, где все могли слышать плач и крики, а рядом с домом асессора. И в том самом помещении Шебсей-Хирш и держал целые экземпляры Талмуда и др. целые книги, а в бет-мидраше оставил порванные. И когда я предложил ему дать нам в бет-мидраш полученные из Славуты тома, он отказался.

Тогда я всего лишь подговорил всех порушей, ешиботников и хозяйских детей, кормящихся в доме тестя, потребовать у Шебсей-Хирша целые экземпляры Талмуда и другие книги. Почему мы должны пользоваться рваными, по которым невозможно учиться!

«Целые держат в камере, как видно, для мышей! – кричал я.

«Нет у нас выхода, - возбуждал я их дух, - кроме как перейти всем вместе в другой бет-мидраш. Не в новый бет-мидраш - там габаем служит сын Шебсей-Хирша – давайте, перейдём в бет-мидраш на Адолиной улице. Там габаем реб Мойше Рувен, он очень обрадуется, что в его бет-мидраше будут сидеть и учиться! И если не хватит экземпляров Талмуда, уж он не успокоится, соберёт по всему городу и даст нам, что нужно».

И на всю эту агитацию у меня было время именно потому, что мой раби Ицхок-Ойшер ничего не делал и морщил свой лоб над Дополнениями. И конечно, ничего у него уже не выморщивалось, пока я не вставал и не растолковывал ему Дополнение. Хорош раби!

Пошёл я к реб Мойше-Рувену и обо всём рассказал. Так мол и так, нам дают рваные Талмуды, хотим перейти к вам. И хотя это далеко, но зато у вас хорошие книги, а чего не хватит, конечно, вы нам достанете.

Реб Мойше-Рувен рад был хорошей новости и сказал, что

город так и так не допустит, чтобы большой бет-мидраш остался без учеников, и в конце концов с нами помирятся и пойдут на уступки, но ему будет очень приятно видеть у себя в бет-мидраше желающих учиться евреев. Хотя бы два дня мы у него проучимся – уже ему будет достаточно, уже это будет для него большая радость!

И назавтра, среди дня, вывел я всех учеников до одного – больше пятидесяти молодых людей – бедных, богатых, постарше, помоложе. Не осталось ни одного, и всех их я привёл к бет-мидрашу. Радость Мойше-Рувена была неописуемой. Мы ему тут же выдали квитанцию – сколько экземпляров Гемары нам требуется, сколько книг с толкованиями, «Вопросов и ответов» и т.п.

Реб Мойше-Рувен взял с собой троих парней с Адолиной улицы и в тот же день принёс всё, что нам было нужно. До десяти вечера всё время носили книги, и на утро началось там ученье, и чудные сердечные напевы разнеслись по всей Адолиной. Я договорился со всеми учениками, что тут разговоров не будет – только ученье, и как можно громче, и все адолинские женщины и дети пришли к окнам, глядя на красиво поющих учеников. Мы заняли также и женскую часть для ученья, кроме как рано утром, когда там молились двенадцать особенно благочестивых – и реб Мойше-Рувен был счастлив.

И когда реб Шебсей-Хирш, габай, пришёл на послеобеденную молитву в бет-мидраш, у него потемнело в глазах. Пусто и темно было в большом бет-мидраше, не слышно учеников, и пришедшие хозяева совсем растерялись. Ни о каком перевороте они не знали и решили, что случилось какое-то несчастье, и в растерянности спрашивали Шебсей-Хирша:

«Что это такое?»

Шебсей-Хирш им рассказал, что сын Арон-Лейзерова Мойше учинил бунт и увёл отсюда всех учеников, переместив их на Адолиную, к реб Мойше-Рувену.

«Зачем? Что-то ведь в этом должно быть? Совсем без причины этого бы не случилось!»

«Ему захотелось, этому мальчишке, - раздражённо ответил реб Шебсей-Хирш, - чтобы я ему выдал новые житомирские талмуды. Но стоит их только выдать, как в три недели эти дорогие книги порвут».

Поднялся шум - ему не поверили. Объяснение им казалось несерьёзным.

Я знал, что когда хозяева придут к послеобеденной молитве, начнётся переполох. Между послеобеденной и вечерней молитвами между хозяевами и Шебсей-Хиршем что-то заварится,

и я специально пришёл к вечерней молитве в бет-мидраш. Увидев меня, закричали:

«Ша, ша! Хацкель здесь. Послушаем, что он скажет»

Я не растерялся, взял больших хозяев и провёл их по набитым книгами полкам, стоявшим вдоль стен и над столами – пусть возьмут все книги Гемары и на них посмотрят.

«Посмотрели, хорошо. Так вот – есть ли среди них хоть одна целая книга, по которой можно учиться? Все рваные. Ну, и это по-вашему правильно, что Шебсей-Хирш держит под замком двенадцать прекрасных томов Талмуда, вместе с такими прекрасными толкованиями, с Вопросами и ответами, а тут держит рваные? Для кого он хранит те, хорошие тома? Для чего их жалеет?

Каждый год умирают несколько состоятельных людей, оставляя большому бет-мидрашу книги Талмуда, а он их держит за железной дверью».

Послушав меня, все сказали, что я прав и что Шебсей-Хирш должен открыть общинный дом и забрать оттуда столько книг, сколько молодые люди смогут унести. Но Шебсей-Хирш, старый человек семидесяти с чем-то лет, бывший тут настоящим царём, не хотел уступать, и в особенности его удручало, что против него действует четырнадцатилетний мальчишка. Никто никогда не смел ему возражать, и уступать он не умел.

Волнение в бет-мидраше длилось всё утро, а также и во время послеобеденного и вечернего богослужения. Весь город приходил и видел, что большой бет-мидраш – пуст, и все говорили, что Хацкель прав. Оттого, что все считали, что я прав, он упрямился ещё больше. Все с ним переругались, и не было ни одного, кто бы остался на его стороне. Но он всё не уступал.

В субботу хозяева произвели «икув ха-крия» *(«Задержка чтения» - обычай, существовавший в среде ашкеназийских евреев: если кто-то считал, что ему причинили зло, он мог задержать субботнее чтение Торы, пока его вопрос не обсудит общество), и раввин сказал, что если бы Хацкель был ему посторонним, он бы тут же объявил, что он прав, но поскольку он – внук его брата, он должен молчать. Услышав слова раввина, хозяева решили устроить на исходе субботы общее собрание и лишить Шебсей-Хирша его должности. Но Шебсей-Хирш тут же поднялся на возвышение, как делал всегда во время чтения Торы, хлопнул ладонью по пюпитру и сказал:

«Господа! Передаю ключи от книг раввину, пусть он делает с ними, что хочет. И пойдём читать».

Так он и сделал. Днём в субботу передал ключи раввину, а меня позвал дядя.

«Мне очень приятно, дитя моё, - сказал он, - что ты боролся за богоугодное дело. Шабсей-Хирш неправ, я уже давно слышу жалобы на то, что в бет-мидраше не осталось целых книг Гемары. Шабсей-Хирш передал мне ключи, и завтра я пошлю часов в одиннадцать-двенадцать Бейнуша-шамеса, а ты приходи со всеми учениками в бет-мидраш. Но всё же, дитя моё, не следует заниматься спорами, лучше их избегать…»

В субботу вечером я пошёл к Мойше-Рувену и передал то, что мне сказал дядя: чтобы я привёл всех учеников в бет-мидраш.

«Как раввин решил, так должно и быть», - определил он.

Утром в воскресенье все мы пришли в бет-мидраш. Выбрали из своего числа десять молодых людей, чтобы взять книги. Придя в помещение, где лежали книги, почувствовали свет в глазах: вместе с двенадцатью томами Талмуда и с самыми дорогими изданиями «Вопросов и ответов» всего там было не двенадцать томов, а семнадцать! То есть, мы там нашли настоящий клад, что нас страшно обрадовало. Между экземплярами Талмуда обнаружили старинную, более чем трёхсотлетнюю, книгу копустерской печати, *(Копысь - в оригинале, согласно еврейской традиции, «Копуст» - ныне город в Белоруссии, Могилёвской области. В действительности, еврейские типографии основаны там были только в конце 18-го в.). Нашли мы там оригинал подробной, с начала до конца, истории об Иисусе Христе *(Неясно, идёт ли речь о нецензурированном издании Вавилонского Талмуда, где Иисус изображается чародеем и соблазнителем, за что, как того и требует закон, он был побит камнями, а потом повешен - трактаты Санхедрин (Синедрион), 107б и Сота (неверная жена), 47а – или об «Истории о повешенном» – антихристианской рукописи, распространённой в различных вариантах среди евреев с 12-го века. Имеется в современном русском переводе в издании Шамира). Бет-мидраш украсили новые книги Гемары: все двенадцать томов Талмуда, которые мы принесли, и ещё много дорогих книг, «Вопросы и ответы» и решения, дорогие издания Танаха. Радости нашей в этот день не было ни пределов, ни границ. Взяв, что надо, мы снова заперли дверь, и дядя вернул ключи Шабсей-Хиршу. После этой истории я стал в городе знаменит.

От отцовского меламеда-хасида мне, с одной стороны, вышло зло, так как я ничему не научился, а с другой – большое добро. У реб Эфроима я мог лучше учиться, но должен был сидеть весь день в хедере; у хасида, наоборот, я был свободен целый день и заинтересовался другими делами, по своему вкусу, что было для меня очень важно.

Я заинтересовался исследованием *(То есть философией.

Понятие «исследовательские книги» подразумевает, в основном, литературно-рационалистическую традицию философов со времён средневековья, прилагавших научные методы к вопросам веры) и в результате взял из закрытого помещения все исследовательские книги, такие, как «Море невухим» *(«Наставник колеблющихся» - философское произведение Моше бен-Маймона, известного в еврейских источниках как Рамбам, крупнейший представитель иудаизма послеталмудического периода, врач и философ 12 в. Жил, в основном, в Египте), «Кузари» *(Иначе: Сефер ха-Кузари» – «Книга Хазара», апология иудаизма, представленная в форме изложения последователями философии Аристотеля, христианства, ислама и иудаизма каждым – своего учения перед хазарским царём, который выбирает иудаизм. Автор – Иехуда ха-Леви (Галеви), еврейский поэт и философ Испании конца 11 – начала 12 в.), все книги по еврейской премудрости, «Испытание мира» *(Дидактическая поэма, выдержавшая множество переизданий, Бедерси Иедая бен-Авраама, провансальского поэта, врача и философа, р. около 1270, ум. ок. 1340) с хорошими толкованиями, «Обязанности сердец» *(См. выше) и все книги проповедей, и принялся усердно читать. Я предоставил своему ребе сидеть, положив голову на руки и размышляя над «Дополнениями». За десять минут кончал учиться, а если чего не знал, то особенно себя не утруждал, а спрашивал учеников, и каждый мне был готов объяснить. Мне стало жаль тратить время на Гемару и Дополнения. Я погрузился в учёные книги и увлёк за собой всю компанию неженатых и женатых ешиботников и порушей.

Днём мы читали учёные книги, регулярно спорили и философствовали. Так я приобрёл двух хороших товарищей, Йосла, сына богатого хозяина, и Шмуэля, сына Майрима. Оба - с прекрасными способностями к ученью, богобоязненные и хорошие мальчики. Мы проводили целые дни за учёными книгами, а вечером открывали Гемару и читали вслух. И никто не знал, что мы читаем учёные книги.

Потом Йосл сдался: для чего нам читать учёные книги и дрожать перед всякой старой скотиной (мы называли старых хозяев «старой скотиной»), пойдём лучше к нему, к Йоселе. У его отца есть библиотека, такая же богатая, как в штибле. Только птичьего молока там не хватает. Будем там заниматься, сколько захотим, и в крайнем случае, сможем вернуться к ним в стойло и там продолжать свои споры.

Так возник у нас кружок, где мы с увлечением читали и спорили. Кружок состоял только из нас, троих очень увлечённых мальчиков, и мы так погружались в споры, что забывали поесть.

Глава 19

Избицкий хасид. – «Воды Шилоаха». – Мой вопрос. – Ответ хасидов. – Знакомство с сыном магида. – «Магид». – Пильщик брёвен. – Наши сходки. – Начало моей общественной деятельности.

Отец взял к себе некоего Й.В. для помощи в ведении книг и т.п. необходимых отцу дел. Этот Й.В. был избицким хасидом *(Из польского местечка Избица возле Люблина). Поселили его как раз в доме священника, в котором жили мы и где был также наш винный погреб. Жили мы дверь в дверь. Это был умный и энергичный тип, но слишком высокомерный и развязный. А у матери моей он регулярно портил кровь из-за её дедов, гаонов. Например, он говорил про её деда, реб Хаима Воложинера: «Реб Хаим, зловонной памяти….» Висел у нас портрет Виленского гаона. Он проткнул нос на портрете *(Оба были известными противниками хасидизма). Мать много раз плакала из-за наглеца, но отец, по своему обычаю, усмехался и говорил: «Глупая, ну что ты обижаешься? Ведь чем больше ты обижаешься, тем он больше будет стараться тебя разозлить». Отец, между прочим, и сам был хасид и оттого ему сочувствовал. Он был им очень доволен – мог ему приказать что угодно, и тот исполнял всё наилучшим образом. Он никогда ничему не учился. Тратил на молитву десять минут, пил много водки и играл в карты. Но на делах это не отражалось.

Как-то в субботу днём я зашёл к нему домой. Он спал на диване, а возле него лежала книга избицких хасидов «Воды Шилоаха» Я взял книгу и заглянул в неё. Взгляд мой упал на главу о Пинхасе *(Глава толкует соответствующую главу Торы – Бемидбар (Числа), 25). Там было написано, что Зимри, сын Салу, был прав в отношении Козби, дочери Цура, с которой состоял с давних пор в браке. Дальше там говорилось о Пинхасе, который его пронзил копьём, не зная толком подробностей, а Моше Рабейну его оправдал, так как был Пинхасу дядей *(То есть, толкование, противоречащее библейскому, согласно которому Пинхас поступил правильно, убив израильтянина Зимри вместе с его женой, медианиткой Козби, выполняя этим волю Всевышнего, недовольного увлечением израильтян иноверками). Этого я уже не мог вытерпеть. Я взял книгу и тут же отнёс к своему дяде-раввину, прося его объяснить написанное. Раввин прочёл и схватился за голову – если автор книги–раввин такое делает из

Моше Рабейну, то чего ждать от простого еврея!

«Видишь, дитя моё, - сказал он сердито, - как далеко заводят хасиды. В следующую субботу покажи это своему отцу, когда он будет сидеть за столом с хасидами – пусть он тебе объяснит».

В следующую субботу у отца собрались все хасиды, в гостях был ребе Шлойме-Ицль, умный хасид и богач. Сидели за большим столом, пили вино и говорили о хасидизме. Я встал из-за стола, взял дрожащими руками избицкую книгу «Воды Шилоаха», поднёс отцу, открыл нужную главу и попросил: «Отец, объясни мне смысл, я не понимаю».

Отец прочёл и несколько растерялся. Он был очень честным человеком, не умел крутить голову другому, тем более, собственному сыну. Хасидам очень хотелось узнать, в чём дело, и Шломо-Ицель, гость и очень хитрый еврей, понял по отцовскому лицу, что у него отнялся язык и что он не знает, что ответить своему сыну. Отец протянул ему книгу. Тот просмотрел и застучал ладонями по столу: «Правильно!» – и дал книгу другим хасидам. Все тут же закричали: «Правильно!» А когда я спросил, что именно правильно, мне объяснили, что когда я стану старше, то узнаю. Они во мне очень ошиблись. Я не мог ждать, пока стану старше, и это хлопанье по столу и крики: «правильно» о том, что мне казалось совершенно ложным, грубым и диким, оттолкнуло меня, хотя и безотчётно, от хасидизма.

И всё хасидское учение с того времени стало у меня поперёк души, и я не мог успокоиться. Я стал пересматривать для себя все их словечки, и всё мне стало казаться навыворот, странно, и я потянулся назад. Стал ходить домой к магиду. Там бывали все самые упорные противники хасидизма; сын его Моше-Аарон, большой илюй, был особенно пламенным их противником, регулярно против них выступая. В бытность пылким хасидом я всегда держался подальше от дома магида, от его сына, хоть были они самые образованные люди в городе – я не мог слушать, как они расправляются с хасидами и с их цадиками, вместе с Бааль-Шем Товом *(Исраэль бен-Элиэзер Бааль-Шем-Тов, 1700-1760, умер в Меджибоже, ныне Хмельницкая обл. на Украине - основоположник и вдохновитель хасидизма в Восточной Европе). Но теперь поделился с магидом и его сыном тайной – что больше не могу быть хасидом, что они правы, выступая против хасидизма. Я подружился с Мойше-Ароном, только что приехавшим из Минска, где в двадцатилетнем возрасте он стал главой ешивы. Когда он заболел, минский раввин, реб Гершон-Танхум, которого очень ценил франкфуртский барон Ротшильд *(Имеется в виду Аншел-Майер Ротшильд (1773-1855), близкий к ортодоксальным еврейским кругам в Германии), он поехал с ним

во Франкфурт и представил его барону, проведшему в занятиях с ним несколько часов. Мойше-Арон ему понравился, и Ротшильд послал его на воды за свой счёт. Он его также послал назад в Каменец и дал ему с собой воду, чтобы пить. Доктора ему не разрешили заниматься, так как мозг его работал слишком напряжённо, что могло ему повредить. Мойше-Арон должен был гулять и пить воду.

Нуждаясь в людях, с которыми он мог гулять, он брал для этого меня, хоть я и был его лет на шесть-семь моложе. Как видно, я ему понравился. Он видел, что я изо всех сил стараюсь понять, найти истинный путь, и он много говорил со мною.

В то лето я продолжал сидеть у Ицхока-Ашера, а тот по-прежнему морщил лоб над Дополнениями, повышая своё благочестие, и отец мой ни о чём не беспокоился. У меня было время для всего, тем более, для прогулок часа по два с Мойше-Ароном. И тот показал мне все места в Талмуде, направленные против методов, используемых хасидами. Я также проводил много времени у Йоселе, сына богача, в занятиях философией и исследованиях, на час в день приходил к своему узколобому ребе, повторял с ним страницу Гемары с Добавлениями – и привет.

Как раз в это время реб Симха-Лейзер, отец Йоселе, стал получать «Ха-Маггид» *(«Вестник» - первый еженедельник на иврите, выходил в1856-1903 в Польше и в Российской империи), и мы регулярно читали газету. Через неё мы стали понемногу узнавать, что происходит в еврейском мире. В то время в «Маггиде» писали о всяких планах в отношении покупки колоний в Эрец-Исроэль *(Речь идёт об Обществе заселения Палестины, существовавшем в 1860-1864 во Франкфурте, планы которого обсуждались на страницах еженедельника), и кто-то там даже подсчитал, что с шестьюстами рублей можно в Палестине приобрести целую колонию. Меня это сильно поразило, и мы с Йоселе собрали в Каменце человек шестьдесят хозяев, готовых продать свои дома и поехать в Эрец-Исроэль. Среди них были евреи, способные сколотить сумму в три тысячи рублей.

Помню, как мы с Йоселе взяли несколько молодых рабочих и организовали палестинофильский кружок. Был среди них один пильщик брёвен, при этом – образованный еврей. Этот пильщик был особенно интересный человек: во-первых, ему было интересно наше увлечение философией и научными книгами; а во-вторых, он нас привлёк тем, что этот уже взрослый еврей с нами подружился, и помню, что много раз, находя ответ на вопрос, который задавал пильщик и с которым он перед этим к нам приставал – мы радостно к нему бежали. Найдя его стоящим над бревном, распиливая его большой пилой, с радостью

рассказывали, что на вопрос о том и о сём нашли сегодня в книге, где об этом говорится подробно и даётся ясное и чёткое объяснение. Он спускался с бревна и внимательно слушал. Иногда мы приносили ему и книгу - он хотел видеть написанное чёрным по белому, и мы при этом стояли под бревном, а он держал в руке пилу… Этот пильщик (к моему большому сожалению, я забыл его имя) очень увлёкся идеей колонизации Эрец-Исроэль. Он был отличным агитатором, с языком, как огонь и смола, и благодаря ему нам удалось взбудоражить весь город. Почти все соглашались продать свои бебехи и отправиться в Эрец-Исроэль.

Набравшись смелости, мы послали телеграмму в Лык *(город в Восточной Пруссии, где одно время выходил «Ха-Маггид») «Маггиду», прося ответа, началась ли уже там работа, чтобы мы могли им представить список всех, кто готов послать деньги, если это действительно надёжно. Так мы проработали несколько месяцев. У Йоселе был сборный пункт. Там всегда было полно народу, молодых, пожилых, мы говорили с большим одушевлением. А когда начинал говорить пильщик, все плакали и в один голос говорили:

«С отроками нашими и со старцами нашими пойдём» *(Слова Моисея, обращённые к фараону, Шмот (Исход),10,9), если мы уже дожили до того, что можем купить Эрец-Исроэль». Но от «Ха-Маггида нам не было никакого ответа. Газета вдруг замолчала, и вся наша работа пошатнулась. Я пошёл к дяде реб Эфроиму, прося, чтобы он приготовил нам письмо в «Ха-Маггид», в котором он должен подробно изложить, сколько у нас имеется денег, сколько человек готовы ехать и т.д. Но редакция нам снова не ответила. Тут я уже стал сомневаться во всём этом деле. Было решено, что мы пошлём за свой счёт людей в редакцию. Более подходящего человека, чем пильщик, мы не нашили. Произвели расчёт, сколько ему нужно денег на поездку и сколько – на это время его жене и детям на жизнь, и каждый из наших шестидесяти товарищей ассигновал по десяти злотых, что уже составляло 1 рубль девяносто копеек. Нам надо было только собрать ещё немного денег, но к нашему большому огорчению и досаде, «Ха-Маггид» вдруг заявил, что всё дело пока откладывается. Пильщик, бедняга, взялся снова за свои брёвна, а в свободное время приходил к нам с Йоселе философствовать и объяснять мир. И помню, как летом мы, горстка своих ребят, ходили в поле и увлечённо беседовали. Мне часто кажется, что имей я исключительную память, чтобы вспомнить все наши разговоры, я бы мог написать необыкновенно интересную книгу о былых еврейских детских мечтах…

Мой отец был доволен своим Ицхок-Ойшером и ничего не знал о том, как на самом деле идут мои занятия и как я на самом деле провожу время, что я делаю и о чём думаю, что я стал уже своим в доме маггида, где бывали самые большие противники хасидов. Деятельностью моей на благо Эрец-Исроэль он был доволен, а кроме этого ничего про меня не знал. Иногда он спрашивал Ицхок-Ойшера:

«Ну, что вы скажете о моём Хацкеле?»

Раби тогда отвечал:

«Способный мальчик, с хорошей головкой»

И этого ответа было для отца достаточно. Он всю неделю занимался арендой и хасидами.

Глава 20

Меня уже начинают сватать. – Обо мне спрашивают. – Ехезкель, сын цадика. – Хорошее происхождение. – Моя незнакомая невеста. – Письмо. – Пощёчина. – Мой дядя. – Жизнь с ним. – Подготовка к дискуссии.

Отец уже начал думать о шидухе[151] для меня, и сват уже начал предлагать разные шидухим[152] с родовитыми богачами, которые дадут мне тысячу или две рублей и пять или десять лет содержания. Но отец обязательно хотел для меня тестя-хасида, а когда ему предлагали варианты в среде хасидов, то не хотел дед. Тем временем лучшее время прошло, и никакого шидуха не последовало, то есть, такого, которое устроило бы обоих – и отца, и деда. А я уже был взрослым парнем …пятнадцати лет – положение скверное. Все мои товарищи стали уже женихами и хозяевами.

Мама не давала отцу покоя: почему он меня не сватает? Он ведь может взять много денег и содержание.

«Ты хочешь, - твердила она, - чтобы у Хацкеля был тесть хасид, но ты ведь знаешь, что свёкр не захочет никакого хасида себе в зятья, и он на своём настоит. Хацкель становится старше, стыдно перед людьми…

Она это всё твердила, а отец всё отмалчивался. Не говорил ни за, ни против. Только про себя усмехался, ожидая, по своему обыкновению, чтоб собеседник успокоился. Но мама уже не могла этого вынести. По обычаю, пожаловалась своему дяде-раввину.

«Постарайся, ответил ей раввин, - чтоб Хацкель попал к противнику хасидов, богачу, который даст ему содержания на много лет. Он способный к ученью мальчик, и имея много лет содержания, сможет учиться. А у тебя будет надежда, что он станет раввином».

У маминого дяди-раввина был сын Ехезкель (нас обоих назвали в честь одного из дедов). Этот Ехезкель был большим илюем, и мог бы стать раввином даже в большом городе. Но он стал хасидом и был поэтому всего лишь раввинским судьёй в Кобрине. И этот Ехезкель ездил собирать деньги на Эрец-Исроэль. Слонимский ребе, с тех пор, как о нём донесли властям, сам больше не ездил. И когда Ехезкель приезжал в Каменец, у отца начинались, естественно, радость и веселье, и пир на весь мир. Хасиды ему особенно радовались: он был сыном раввина. Я не отходил от стола и слушал, что говорили. Теперь уже я сидел за

хасидским столом совсем с другой целью. Я специально слушал их разговор, чтобы потом их критиковать.

Реб Ехезкель меня любил. Он считал меня тихим мальчиком и однажды, ущипнув за щёку, сказал:

«Хацкель, если станешь добрым хасидом, дам тебе красивую невесту».

Я покраснел и промолчал. В глубине души я уже давно завидовал своим товарищам: все уже были женихами и хозяевами, а я, из-за войны между отцом и дедом, всё ещё не был женихом.

Ехезкель позвал после еды отца к себе в комнату и сообщил, что у него для меня отличный шидух, его родня, сестра жены. Воспитывается она у свёкра Арона Цейлингольда, прекрасного хасида, учёного и богача, любимца р. Арона Карлинера.

«Мне они кажутся парой, как после шести дней творенья»[153], - добавил он.

Отцу, что неудивительно, шидух понравился, и именно тем, что невеста – сирота, без матери и без отца… Тут уж дед Арон-Лейзер не будет против. То, что муж сестры - хасид, уже не так важно, лишь бы тесть не был хасидом. Хорошее родство, опять же, тут тоже имелось, так как он знал, что невестка раввина, Хадас, из очень хорошей семьи.

Отец сказал Хацкелю, что он не против идеи – как было его привычкой отвечать в случае, если ему что-то нравится, и реб Хацкель попросил Гемару, чтобы меня послушать. Он таки слышал, сказал ребе, что я – способный мальчик, но всё же он должен меня послушать. У них с сестрой невесты, сказал он, решено - взять для сестры не иначе, как учёного жениха.

Р.Хацкель взял трактат «Браки» и, на моё счастье, открыл как раз на той проблеме бракосочетания, которую я учил ещё со слепым Довидом и теперь, с Ицхок-Ойшером, а также и самостоятельно. И достаточно разбирался в Дополнениях и в толкованиях Магарша, и он попросил меня изложить Мишну с Дополнениями. Я это сделал совершенно гладко. Он спросил меня о встречных вопросах Магарша. Я ответил, он закрыл Гемару, опять ущипнул меня за щеку и сказал:

«Есть уже у меня для тебя красивая невеста».

Я опять покраснел, а они с отцом в другой комнате обговорили все детали, приданое и т.д. Отец послал реб Хацкеля к деду.

Хацкель пошёл, и когда изложил деду своё предложение, тот ответил:

«Мой Хацкель – очень хороший мальчик. Мать его – из прекрасной семьи – из внуков реб Хаима Воложинера, и я не хочу

посрамить родню. То, что речь идёт о раввине, породнившемся с вами, таким учёным человеком - это конечно хорошо, и мне тоже подходит – но хотелось бы всё же узнать о семье вашей жены подробно.

Хацкель так и сделал. Подробно рассказал о родне: его свёкр - р. Хирш-Йоэль Райцес, отец которого, р. Мордхе из Острога, так же был знаменит на Волыни, как благочестивый Ротшильд во Франкфурте. Ездил с давних пор в карете, запряжённой четвёркой лошадей. Упряжь и карета были почти целиком из серебра. Монеты у него мыли в серебряной лохани. Был он хасидом и содержал всех волынских цадиков. В доме постоянно бывали цадики: один уезжал, другой являлся. Жил он широко, и у него сидели месяцами. В доме стоял шум от хасидов с их цадиками – одним словом, у него был настоящий хасидский рай на земле.

Он торговал лесом; но однажды ему не повезло. Он послал в Данциг на шесть тысяч рублей леса. Плоты на воде распались и поплыли в разные стороны. Случилось большое наводнение на Висле возле Кракова, и в Данциг ни одного плота с лесом не удалось доставить. К тому же цены в тот год в Данциге на лес были низкие, и там у него скопилось много товара с прежнего времени, на который он выложил массу денег. Всего реб Мордхе потерял в один год семь-восемь тысяч рублей.

Но несмотря на это, остался богачом, был щедр и гостеприимен, но уже не так, как раньше. Цадикам он уже не давал денег, и они уже к нему так часто не приезжали.

Одного из своих сыновей, Хирша-Йоэля, он женил на дочери цадика из Дубна. Хирш-Йоэль жил с отцом вместе, был учён и добросердечен, но не имел склонности к хасидизму. Когда отец умер, сын унаследовал определённую сумму денег. Но так как в торговле лесом отец под конец пришёл в упадок, сын не хотел этим заниматься, предпочитая подряд. Он взялся собирать, в качестве суб-подряда у барона Гинзбурга, известный акцизный налог в двух уездах: Белостокском и Бельском[154]. Жил он в Белостоке и имел двух дочерей и сына. Старшая дочь Хадас – есть как раз его, Хацкеля, жена, за которую в приданое отец дал много денег и содержание.

В Белостоке он занимал важное положение, в делах филантропии и гостеприимства вёл себя как его отец, но то, что отец делал для хасидов, он делал для их противников. По субботам обязательно бывало у него по десятку почтенных гостей, достойнейших людей, которым ещё надо было заплатить, чтобы они у него ели, и каждый день у него было минимум по три уважаемых гостя к обеду.

Он был известным моэлем, совершавшим обрезание чуть не

для всего города. И бедняк-отец новорожденного получал ещё от него в приплату на питание для роженицы на месяц. У него был список в пять тысяч детей, которым он сделал обрезание.

Так его ценили в Белостоке, что на свадьбах самых важных людей просили проводить церемонию бракосочетания. В те времена это была у евреев одна из самых почётных обязанностей, для которой выбирали самых уважаемых евреев.

Подряд на акциз он держал недолго, так как барон отказался передавать акциз в стране небольшими частями в руки суб-подрядчиков. Барон захотел сам собирать налог с евреев, и тесть поехал в Бриск, где стал одним из поставщиков тамошней крепости. Он также открыл в городе самый большой винный шинок для офицеров крепости, где очень хорошо торговал. И продолжал свою благотворительность, гостеприимство и обрезание бедняков, которым он хорошо платил.

В 1855 году, во время Крымской войны, все, кто жил в крепости, ушли на войну. И его офицеры его попросили отправиться с ними в Севастополь. Один генерал даже предлагал ему крупные - прямо золотые - военные поставки на место военных действий, но он не захотел идти делать дела в таком месте, где люди друг друга ранят, калечат и убивают.

Пока что все офицеры остались ему должны много денег. Только от одного из них у него было векселей на три тысячи рублей. Ото всего этого он довольно сильно пострадал.

Его семнадцатилетний сын, пользующийся успехом красавец, редкий илюй и к тому же –добряк почище деда Мордхе вместе с отцом, став женихом, за месяц до свадьбы заболел и вскоре умер. По нему горевал весь город, а на время похорон закрыли в Бриске все магазины .

Для отца его это был страшный удар, и недели через две он умер. Мать промучилась несколько месяцев и тоже умерла. Ко времени этой трагической смерти их дочери, моей будущей невесте, было всего шесть лет. Её взяла к себе в Пинск старшая сестра, молодая ещё жена, невестка богача. Муж её, Арон Цейлингольд, необыкновенный эрудит, был большим филантропом, уважаемый и ребе Ароном Карлинером, и всем городом.

После всего этого несчастья со всеми смертями состояние его рухнуло, остались одни развалины. Потом что-то собрали для сироты, вместе с несколькими векселями.

Всё это Ехезкель рассказал деду, который сейчас, после истории, уже согласился, и на утро шидух был заключён. Мне тогда было около пятнадцати лет, и р. Ехезкель написал письмо в Пинск свояченице Песе, чтобы та приехала в Каменец подписать

«условия».

Никто в семье не видел невесты, тем паче я. Меня это сильно огорчало. Мне кажется, я её уже любил, но не знаю, кого я любил, не знал её лица, ничего о ней не слышал. Красивая она или противная, умная или глупая. Я даже спросить не смел о невесте.

Дед купил в Бресте два маленьких колечка и дал Песе, чтобы она отвезла невесте подарок.

И через месяц я получил от свояка, Арона Цейлингольда, подарок: серебряный хадас[155] и «Мишнайот»[156] вместе с красиво переплетённой «Красой Израиля»[157], а от невесты – вышитую шёлком сумку для тфилин. Отец велел, чтобы я написал письмо к тестю, то есть, к её деверю, благодаря за подарки.

Святой язык я тогда знал, как турецкий, и пошёл к дяде, реб Эфроиму, и он мне написал письмо по тогдашнему высокопарным слогом. Я ещё помню, как письмо начиналось - мне нравились его «возвышенная» мысль. Так оно начиналось:

«Внутренний голос мне говорит… Не знаю, как описать высоту уважаемого господина, чтобы ни на волос не уменьшить высокого достоинства….» Дальше я уже не помню, что я там написал, но помню, что письмо я писал целых три дня, писал и рвал, пока, с Божьей помощью, не получилось отшлифованное письмо на святом языке к тестю.

Тут как раз пришёл переписчик, который учил детей писать на идиш и на русском. Он ежедневно приходил домой к деду, обучая письму его девочек, но меня отец не хотел отдать переписчику. Я сам приходил в то время, когда он учил отцовских сестёр и учился без разрешения отца. Однажды мне переписчик сказал:

«Почему бы тебе не послать привет невесте?»

Мне это понравилось. Я ему дал пятьдесят копеек, и он мне написал приветственное письмо. Оно уже было на идиш:

«Сердечно приветствую свою дорогую наречённую и благодарю за дорогой подарок. Твой любящий наречённый Ехезкель».

Чтобы письмо получилось более изысканным, я переделал и переписал несколько слов. Но тут вышла чернильная клякса, там – слово плохо получилось, и я всё переписал. Промучился пять дней и справился; после чегодал отцу, чтобы он приписал привет. Он глянул на клочок бумаги и моментально отвесил мне две здоровых оплеухи.

«Немцем уже заделался?[158], - и скажи мне сию минуту, кто тебе это написал?»

Я, по своей наивности, признался.

«Так он тебя сделает немцем!…»

И он предупредил, чтобы никто в семье не учился у переписчика. Вскоре распространился слух, что переписчик делает всех детей апикойресами, и его выслали из Каменца.

У каменецкого раввина был сын в Пинске, который как-то раз приехал к отцу в гости и привёз с собой шестнадцатилетнюю девушку. Моя мама, находясь у дяди, спросила у этой девушки, знает ли она в Пинске невесту Хацкеля, и девушка ответила, что знает её хорошо: невеста уродлива, с рябым лицом, с гнусавым голосом, шлимазлница.

Мама заплакала, но было поздно: в те времена отказаться от уже подписанных условий было хуже, чем развестись. Она всё рассказала отцу.

«И что с того, что она уродливая? – Ответил ей отец, - была бы у них удача, и она похорошеет».

А при слове «шлимазлница» он усмехнулся и сказал:

«Между нами говоря, а ты что – прекрасная хозяйка?»

И он рассмеялся. История стала известна во всей семье и дошла до меня. Горе, которое я испытал, невозможно описать. Я всегда завидовал тем, у кого была красивая жена, а на хозяйских детей с уродливыми жёнами смотрел с жалостью. Мне казалось, что жизнь – не жизнь, если жена уродлива.

Семья стала интересоваться моей невестой – правда ли, что она уродлива, и после всестороннего выяснения оказалось, что невеста как раз красивая, к тому же большая рукодельница и хорошая хозяйка. Выяснилось это, однако, через год после подписания условий. Целый год я смертельно страдал, не смея никого спросить о невесте и даже упомянуть её имя.

«Условия» мои тянулись два с половиной года. Невеста, как уже говорилось, была сиротой, и в доме у них решили, что Котики – такая важная семья, что там наряжаются, ходят франтами. И опасались за свой гардероб… тем более, опасались вложить деньги, которые причитались как приданое[159]…

И с нашей стороны было препятствие. Тогда как раз отменили крепостное право, помещики обеднели, приближалось польское восстание, и аренда прекратилась. Мы все остались без заработка, и со свадьбой пришлось подождать.

Прежде у меня была забота – не уродлива ли моя невеста, но потом, когда меня уверили, что она красива, пришлось, к моей великой досаде, свадьбу отложить. Я стал тосковать по ком-то, кого совсем не знал, и мне – признаюсь со стыдом – так хотелось женится! К тому же меня огорчало и то, что я не мог заниматься и читать учёные книги.

Я всё ещё учился у Ицхок-Ойшера «с наморщенным лбом», как мы с товарищем его называли. Но к тому времени у дяди-

раввина испортились глаза, он поехал в Варшаву, и доктор сказал, что глаза у него испортились оттого, что он слишком много смотрел в книги. Теперь - один глаз совсем не будет видеть, а второй – если не читать – кое-как послужит.

Родные в Варшаве купили ему высокий стул для занятий, и вместе со стулом он приехал домой. Ему нужен был кто-то, кто учил бы с ним Талмуд, решения и «Вопросы и ответы». Не мог он просто так сидеть и не заниматься. Найти такого бесплатно было трудно, а платить он не мог. Ему пришло в голову взять меня, чтобы я у него учился. Стоить ему это ничего не будет. Ему это было очень выгодно. И я ему читал и чётко произносил слова, а он сидел на высоком кожаном стуле, положив голову на руки и время от времени кивал головой, что означало: «Хорошо, хорошо», и так он меня поощрял движением головы идти дальше, что я бегом пробегал всё: Гемару, Дополнения, «Львиный рык», «Пней-Йешуа» – я всё читал, а он кивал головой. У меня не было времени размышлять о таких трудных вопросах, о таких высоких, запутанных положениях, он-то это всё знал почти наизусть, а я был при нём не больше, чем хороший декламатор. Но пробегая так по Гемаре, я не мог усвоить, что я говорю, и тратил свои молодые годы и хорошую голову впустую, о чём я до сих пор очень, очень, сожалею.

К счастью, к раввину иногда приходили за решением религиозных проблем. Иные советовались с ним в отношении своих дел. Поэтому он решил, что заниматься мы будем по шесть часов в день. Остальное время я проводил в основном, у Мойше-Арона, готовясь к большому выступлению против хасидов.

Став женихом, я начал молится в хасидском штибле, распевая вместе с другими хасидами. Я это делал ради своего отца, он ведь считал, что я – хасид, и после свадьбы начну ездить к ребе. Естественно, что до свадьбы я ещё должен был часто обращаться за помощью к отцу; и после свадьбы, он считал, я буду это ради него делать и ездить к ребе, и он уже будет за меня спокоен. Я даже твёрдо решил не вступать сейчас с ним ни в какие споры. Во-первых, это делать не подобало, во-вторых, я его уважал. Всё это я отложил на после свадьбы. Тогда у меня состоится с ним спор. И считал, что будучи разумным и учёным человеком, он меня поймёт. И мне не придётся с ним долго сражаться. И всё же я боялся спора, на котором наверное будут такие учёные хасиды, как реб Ореле и сын дяди, и сильно к нему готовился.

Два года я так готовился два года к спору и читал Талмуд и другие важные книги, направленные против хасидизма.

Глава 21

Манифест об освобождении крестьян. – Порка крестьян. – Впечатление, которое произвёл манифест на помещиков. – Тяжёлое время для евреев. – Мой дед и помещики. – Польское восстание. – «Захват России». – Польские бунтовщики. – Отношение польских революционеров к евреям. – Огинский. – Подавление восстания. – Месть крестьян.

В 5621, то есть 1861 году, вышел знаменитый манифест об освобождении крестьян. Пришлось это на субботу, и в субботу же приехал в Каменец исправник. В воскресенье, в двенадцать часов, когда на рынке полно крестьян, пришли исправник с асессором и с волостным старшиной, который, держа в руках медную тарелку и молоток, бил молотком по тарелке. Собрались все крестьяне, и исправник прочёл манифест.

По прочтении крестьяне разъехались по домам. Работать они уже не хотели, хотя, согласно манифесту, обязаны были закончить летнюю работу. Ждать до после лета они не хотели. Помещик, опять же, больше не мог их пороть, и крестьяне взбунтовались.

Помещики дали знать исправнику, и тот прибыл с ротой солдат в Каменец. Разослал солдат с десятским по деревням, чтобы привезти крестьян, и целую телегу в лес – за розгами для порки.

Исправник спросил крестьян, желают ли они летом работать. Они ответили, что нет. Их стали пороть - по трое крестьян за раз посреди рынка - крики слышны были за версту, и пороли до тех пор, пока они не сказали: да, будем работать.

У помещиков начался настоящий траур. Не шутка – в один момент лишиться всех своих крепостных, которые на них надрывались, как лошади, как ишаки, доставляя помещику так много труда, крови и пота!

То, что было плохо для помещика, частью было не очень хорошо и для тогдашних евреев. Почти все они жили с помещика, и всё это отозвалось и на них. Но помещик – помещиком, «что-то» у них осталось и после катастрофы, а для евреев это было по-настоящему тяжёлое время.

Перед ними встал большой, жизненно-важный вопрос: что делать? Куда приткнуться, куда деваться? И вопрос этот встал не только для бедных классов, но и для самых обеспеченных, кто так широко жил, не зная никаких бед. И может, как раз для богатых

этот новый вопрос встал во весь рост.

Настала нужда; много еврейских семей осталось без хлеба. Те, у кого ещё были деньги, проедали последний сбережённый рубль, а те, у кого никаких денег не было, остались без хлеба. Тогда казалось, что источник дохода евреев, кормивший их сотни лет, совсем высох, а новых шансов для заработка нет и, возможно, не будет, казалось, что ты совсем пропал.

Но помещикам казалось то же самое и некоторые из них не стыдились плакать настоящими слезами.

Заработок остался только у шинкарей, прежде также живших с крестьян, которые приезжали на рынок по воскресеньям, привозя товар на продажу и для пропития. Сейчас их заработки даже увеличились: крестьяне себе позволяли больше пить водки. Помещиков они больше не боялись – не опасались, что к понедельнику не протрезвеют и получат розги. Но не весь еврейский народ был шинкарями; и всё же крестьяне были поддержкой не только для одних шинкарей.

При наступлении первой свободной зимы крестьянам нечего было делать, и они стали учиться разным ремёслам - бондарному и гончарному делу и т.п., а крестьянки пряли и ткали полотенца, скатерти, полотно на юбки и стали зарабатывать деньги. И по воскресеньям, приходя на рынок, понемногу приучались покупать предметы роскоши, такие, как ленты, бусы, платки и стали чаще носить ботинки вместо лаптей.

И постепенно в Каменце построили ещё тридцать магазинов, а у кого был дом, тот открыл шинок и стал жить в тесноте. Понятно, что те евреи, чей заработок был только от помещиков, совсем лишились доходов.

Примерно через год, в 5622, ездила по стране правительственная комиссия и распределяла среди крестьян землю, назначая каждому крестьянину определённый налог, который он должен выплатить казне в течение сорока лет[160].

То небольшое число евреев, которые, как я уже сказал, жили хорошо и играли роль богачей, - разорились. Перестали широко жить, а торговцы, державшие предметы роскоши для помещиков, остались со своим товаром, хоть выбрасывай его на улицу.

Дед ездил к помещикам, чтобы их «утешить». Бедняги свалились с небес на землю. Особенно этого не могли вынести помещицы. Шутка ли – лишиться такой власти! И они плакали горькими слезами.

По сути, помещики больше страдали от того, что те самые крестьяне, прежде ползавшие перед ними по земле – а помещик позволял себе пороть целыми семьями: отца с матерью, сыновьями и с невестками, с дочерьми и зятьями, в один раз, в

одном доме, и чтобы они, выпоротые, вставливали и целовали бы помещику ноги и благодарили – сейчас эти крестьяне разгуливают свободными и, – и нельзя их тронуть пальцем, хлестнуть хоть разочек!

И если крестьянин захочет, он может сейчас даже не снять перед помещиком шапки. И просить его должен помещик, чтобы он обработал его поля за деньги. И сколько крестьянин велит ему дать, столько ему заплатить и придётся.

А дед их успокаивал и говорил, что хоть это и «страшно», но только вначале, пока не привыкнешь.

«У вас ещё довольно владений, довольно земли, - успокаивал он их, - и можно вполне нанять крестьян за деньги. Ужасно это только поначалу. Поверьте, они останутся такими же рабами, как были. Их хозяином теперь будет копейка, и за вами они поползут на четвереньках.

«Более того, я считаю - продолжал он их утешать, - что для вас освобождение крестьян даже благо. Вы начнёте солидно жить, будете управлять своим имением, наблюдать за рабочими. Следить, чтобы вас не обворовывали. Не будете играть в карты, попусту тратить деньги, устраивать пустые, ненужные балы, и ваша жизнь станет только лучше».

Слова Арон-Лейзера их немного утешили, они почувствовали в них много правды. Иные помещики, не в силах вынести переворота в своей жизни, специально посылали за Арон-Лейзером, чтобы он их немного утешил.

И так он почти целый год объезжал разных помещиков, утешая их и снимая несколько с сердца тяжесть. И при этом совсем не имел настроения говорить с ними о делах, и весь этот год не имел с ними никаких дел. А на самых оскудевших помещиков даже потратил свои деньги, чтобы дать им возможность прийти в себя.

Наступление плохих времён чувствовали и в нашей семье. Никакого другого занятия, кроме аренды, не осталось. На это приходилось жить семье в шестьдесят душ.

И тут, в начале 1863 года, в Польше и Литве вспыхнуло восстание. Это для евреев уже было несчастье. Помещики и шляхта расположились с оружием лагерями в лесах и стали «захватывать» небольшие местечки, где не ступала нога русского солдата. Появившись в городе, они тут же снимали русского орла с учреждений волости, вешали польский герб и кричали, что «Россия взята». Помещики-революционеры относились при этом очень особенно к евреям.

В городе нападал на евреев страх, боялись выходить на улицу. Еврей, который шёл по улице и видел польского солдата,

то есть шляхтича, даже не офицера-помещика, должен был срывать с себя шапку и сгибаться почтительно в три погибели - тем более, если это был офицер. Тут надо было падать на четвереньки, гнуться и кланяться. И если помещик был недоволен тем, как кланяется еврей, то тут же хватал его за бороду и тащил к полковнику на суд. Тут же еврея хватали – за цицес, за бороду, за пейсы – и драли, швыряли, трясли, а еврей всё это должен был вытерпел, пока полковник не приказывал отпустить жида, который должен был на месте заявить о своей верности польскому правительству.

Долго оставаться в местечке мятежники не могли, дня через два-три являлись русские солдаты, казаки с артиллерией, и помещики бежали. Многие прятались у евреев на чердаках и в подвалах, в курятниках и в печах, и прячущиеся помещики, боясь, чтобы евреи не выдали, где они прячутся, когда солдаты на них надавят, брали с собой в курятник или в какую-нибудь дыру на чердаке, евреев заложниками. И это не легенда, что рассказывают: помещики, лёжа в какой-то дыре вместе со взятым в залог евреем, требовали в этот момент от еврея, чтобы он снял шапку и лежал там с непокрытой головой: как же, ведь он лежит с помещиком! Даже ермолку не смел еврей иметь на голове.

Русские войска охотились на помещиков, вешая их и громя, но кончить с ними за один раз было трудно. Как только русские солдаты покидали город, опять появлялись новые массы помещиков. И весь тот год шла война между русскими и поляками.

На крестьян напал страх и ужас, что поляки захватят Россию. Они опасались, что если это случится, то вернут крепостное право. Также они боялись выходить из деревни, чтобы их не принудили участвовать в восстании. Но крестьянам поляки не доверяли. И если хватали отдельных крестьян на дороге или в лесу, то брали на какую-нибудь постороннюю работу, но оружия не давали.

Но евреям приходилось в тысячу раз тяжелей. Схватив еврея, идущего поблизости от поместья или едущего на заработки, нагоняли на него настоящий, смертельный страх. Прежде всего ему говорили, что его повесят, затем как следует потешались над «жидом», а когда надоедало глумиться, брали верёвку, медленно обвязывали еврею вокруг шеи и приказывали каяться в грехах, а потом, естественно падали со смеху на землю.

Еврей читал молитву посреди их скотского смеха. Это тянулось страшно долго, издевательски, жестоко, часа два, пока еврей, проливая реки слёз, кончал своё покаяние и больше не имел сил плакать, тут с него снимали верёвку и говорили:

«Ты ведь знаешь, жид, что мы – добрые люди. Ты думал, мы тебя повесим? На это способен русский, но не мы, поляки. Клянись, что нам не изменишь. И если встретишь на дороге русского, не сообщай, где мы находимся, - и убирайся!…»

Еврей или несколько евреев являлся домой со смертельно бледным, ни кровинки, лицом, до смерти напугав своим видом жену и детей. Иные даже вскоре умирали от такой «шутки» «добрых» поляков.

Война шла так: если поляков было в три-четыре раза больше, чем русских, то происходил тяжёлый бой, пока русские, будучи регулярной армией, их не побеждали или не захватывали в плен. Но если поляков не было так много, то бой был коротким. Поляки или сразу сдавались, или разбегались. Но русские часто окружали весь лес, захватывали его и брали постепенно всех поляков в плен.

Однажды у местечка Чернавчицы, недалеко от нас, поляки, по своему обычаю, завязали еврею петлю на шее. В этот момент прибыл целый батальон русских солдат с эскадроном казаков. Поляков было всего две сотни, и среди них – самые знатные помещики. Их окружили и, подойдя ближе, русские увидели, что поляки собрались повесить еврея. С еврея они тут же сняли петлю и русский полковник, будучи знаком с польским, спросил его::

«За что вы хотели повесить еврея?»

«Просто хотели позабавиться», - ответил польский полковник.

Понятно, что русский полковник захотел теперь позабавиться над польским полковником…

Генерал Муравьёв стал диктатором всей Литвы. Пленных помещиков или высекли, или перевешали и перестреляли, или посадили в тюрьму, в сырые камеры, где на них напустили мышей и крыс. Так их мучили, что никто не мог выдержать больше трёх месяцев.

В десяти вёрстах от Каменца, в Чемерерском лесу, был большой лагерь поляков. В лагере тогда находилось всё руководство восстанием, которых я уже однажды упоминал – помещик Огинский со своей свитой, состоявшей из самых больших в Литве графов. Огинский был кандидатом на польский трон.

Откуда-то пошёл слух: после Нового года, появившись по время Кол-нидре в Каменце, поляки перебьют всех евреев в шуле и бет--мидрашах, как во времена Хмельницкого, во время преследований 5408 г[161]. Все очень перепугались. Только дед Арон-Лейзер более или менее успокоил людей.

«Мы ещё не слышали, - убеждал он народ, - чтоб поляки причиняли евреям зло. Правда, что иногда они пугают евреев до

смерти, но они – ни в коем случае не убийцы, нельзя в это верить. Гордецы они – это да…»

Потом пришли два полка русских военных во главе с одним знаменитым полковником, специально посланным из Петербурга, чтобы схватить Огинского, который сильно отличился против русских, и о котором даже возникли легенды среди евреев, живших в местах, где происходило восстание.

Русский полковник хотел его схватить живым, чего, как видно, желали в Петербурге, и атаковал шляхту в Чемерерском лесу. Мы в Каменце слышали стрельбу. Это продолжалось долго, и русские победили. Только Огинский бежал. Его саблю нашли русские военные, я сам её видел. Это была очень странная сабля – небольшая и полукруглая, вроде красивого серпа, украшенная большими жемчужинами. Русский полковник её забрал.

Полковник с двумя полками и четырьмя эскадронами казаков продолжали преследовать Огинского, пока тот не прибыл в Пинск. Там снова начался бой. Поляки потерпели поражение, но Огинский опять бежал. Бежал он в деревню к крестьянину, дал ему десять сотен, чтобы тот его у себя спрятал. Тот его пустил в печь, но сам тут же сообщил в Пинск русской армии, что у него скрывается Огинский. На утро его у крестьянина взяли. В момент ареста он порвал двести тысяч бумажных денег, которые при себе имел. Так Огинский попал в плен. Его отвезли в Петербург, и после этого После этого поляки стали терять мужество - не выставляли большое войско на площади, только немного в лесу в лесу – так их прижал Муравьёв.

Сын моего дяди р. Липе пошёл в зятья в Семятичи и там и поселился. Однажды слышим: в город пришли поляки, числом в тысячу пятьсот человек, как обычно, сменили орла и уже «взяли Россию». Вскоре явился целый полк солдат вместе с казаками, окружили Семятичи и перебили всех евреев вместе с поляками. Такой был слух. У дяди в доме начался плач. Несмотря на опасность, дядя поехал в Семятичи. Прибыл он туда через два дня после боя. Уже при входе было похоже, что слух – верный. Повсюду разгром и опустошение, не видно ни одной живой души. Кругом валяются убитые поляки. Иные ещё вздрагивают в агонии. Он прошёл немного дальше, видит – идёт еврей. В смертельном страхе спрашивает:

«Где все жители Семятичей?»

«Все лежат на кладбище».

И еврей его туда повёл. Там он нашёл своего сына с невесткой и детьми. Дело было так: русские войска окружили город. Поляки, увидев войска, не стали воевать. Полковник приказал всем жителям города оставить свои дома и подняться на

кладбище. Сделали так: евреи поднялись на своё кладбище, а православные – на своё. И тут начался бой, в котором погибли все поляки до единого. Полковник приказал не брать пленных, так как все тюрьмы уже переполнены. Лучше убить.

А жители ждали на кладбище, когда полковник прикажет им вернуться домой. Было приказано идти домой на третий день.

Дядя рассказал, что никого не тронули, только один еврей, реб Давид Широкий, был убит. Я уже о нём писал.

Поляки сражались геройски, с большим мужеством. Уходя с кладбища, евреи видели лежащих на земле мёртвых и раненых поляков. Один из них, рассказал дядя, лежал с разрезанным животом. Он был в агонии и из последних сил шептал:

«Я ещё не поддамся».

Муравьёв послал в этот уезд двух офицеров, воинских начальников. Каждый русский офицерик разъезжал в сопровождении сотни казаков. Сидел в своей карете, увешанный оружием, ездил по имениям, проверяя, кто из помещиков сидит дома, а кто – нет. Не найдя помещика, казаки секли помещицу с дочерьми, требуя выдать помещика.

Офицеры также имели при себе от Муравьёва медали, чтобы раздавать тем помещикам, которые выдадут, где находятся шайки поляков.

Сначала, как говорилось, крестьяне испытывали страх перед помещиками. Боялись выходить из деревень, чтобы поляки их не захватили с собой насильно для участия в сражениях. Но под конец, когда воюющих поляков становилось всё меньше и уже не оставалось никакого мужества, а домой вернуться они не могли, потому что были на заметке у воинских начальников, когда уже были в лесу – стали тогда крестьяне мстить помещикам. Являлись к своим помещикам ночью, вытаскивали их из постели, связывали, секли, а потом отводили к воинскому начальнику, говоря, что нашли его в лесу. Что после этого делали помещику – понятно.

Так мстили крестьяне своим помещикам. Много помещиков попало в руки крестьян, бывших крепостных, и делали с ними, что им хотелось.

Огромное число помещиков было уничтожено: повешено, застрелено, разгромлено, растерзано, выслано в Сибирь и чёрт знает куда. Много имений было конфисковано, и русские офицеры покупали самые большие поместья за сотню. За поместье, за которое потом платили три тысячи рублей в год аренды, русский платил мелочь или вообще ничего.

Разгром поляков – одно из самых страшных событий последних столетий.

Глава 22

Мой дядя как чудесный предсказатель. – Берл-Бендет и Сиховский. – Слух о чудесном предсказании. – Он стал знаменит. – План деда. – Положение евреев после восстания.

Во время восстания, как было сказано, положение евреев было особенно тяжёлым. Исчезли доходы, пустовали магазины. Помещики и крестьяне не являлись в город. Последние опасались польских банд – и еврейская нужда была безмерна. Евреи опасались покидать местечко, и все источники существования иссякли.

Ремесленники уезжали в Одессу и на Волынь, продавали дома за хлеб, продавали и закладывали всё, что имели, лишь бы выжить.

Одна надежда была, что такой неравный конфликт долго не продлится: более сильные русские конечно победят поляков, и тогда снова начнётся жизнь, и снова Бог поможет, как не оставлял до этого. Так считали евреи в бет-ха-мидрашах.

Но пока что евреи – нервные, разбитые, потрясённые и потерянные, рассуждали о восстании и прислушивались к любой политической новости.

Я тогда учился у своего дяди раввина. И помню, что в то время приехал к нему страшно взволнованный, задыхающийся Берл-Бендет и рассказал, что к его помещику Сиховскому пришла шайка помещиков, ели и пили и ещё взяли с него три тысячи рублей. Желая очистить имя помещика, он сообщил о них воинскому начальнику в Шерешево и, согласно указу Муравьёва, помещику полагалась медаль. Только воинский начальник, вместо того, чтобы послать медаль, прислал за помещиком троих казаков, чтобы те его взяли, и Берл-Бендет боится, не причинят ли тому вреда.

Поэтому – не может ли раввин помолиться, чтобы помещика освободили, и если молитва раввина подействует, то он, Берл-Бендет, даст в честь реб Меира-Чудотворца восемнадцать рублей[162].

Раввин, мудрый человек, понимал, конечно, что ничего плохого помещику не сделают, и только спросил:

«Сколько вёрст от поместья Чехчове до Шерешева и сколько – до Каменца?»

«От поместья до Шерешева – две версты, и три – до Каменца».

«Раз так, - сказал раввин, - то вернувшись домой, вы там

конечно уже встретите помещика с медалью».

И через несколько часов пришёл-таки к раввину Изроэль-Арон, зять Берл-Бендета, с радостной вестью: тесть уже встретил помещика с медалью и шлёт раввину восемнадцать рублей в честь р. Меира-Чудотворца.

Сразу же об этой истории стало известно и предсказание раввина сочтено за нечто чудесное. В городе и во всей округе чудо обросло кучей всяких небылиц, а раввин объявлен настоящим чудотворцем. И ему не стало покоя. Собиралась ли родить женщина – шли к раввину, плача и прося, чтобы помолился. Через какое-то время приходили поздравить раввина: женщина благополучно родила мальчика или девочку. И если кто-то заболевал, тут же обращались к раввину, и тот ставил кружку р. Меира Бааль-ха-Неса, в которую клали, сколько могли, больной выздоравливал, а слава о раввине как о настоящем воскресителе из мёртвых и кудеснике, ширилась с каждым днём.

Тут уж ему стало не до занятий, и я при дяде тоже превратился в нечто вроде чудотворца. Не в с стоянии больше слушать женские разговоры и просьбы и в тысячный раз повторять одно и тоже, я передавал тоном чудотворца:

«Раби вам шлёт благословение, идите домой, Господь, конечно, поможет, поможет…»

Из-за связанного с восстанием переполоха, который только усилил популярность раввина как чудотворца, люди стали к нему приезжать из Бриска десятками бричек, стекались со всех сторон так, что заниматься было невозможно. Раввин уже решил заниматься четыре часа в день, с двенадцати до четырёх. Я запирал дверь и читал ему, и во всём синагогальном дворе было чёрно от людей, ожидавших чудотворца. И с каждым днём народу всё прибывало, и там становилось всё тесней. Стали уже приезжать из Белостока, и так далеко зашло, что раввину пришлось вызвать своего сына Симху из Пинска. Тот приехал вместе с женой и детьми. Пошли уже в ход записки и бумажки, написанные сыном, и уже понадобился ещё человек, чтобы обслуживать клиентов. Но и этого человека, Бейнуша-шамеса, стало вскоре недостаточно, и дяде пришлось взять на помощь сына, чтобы стоял в дверях, не пропуская всех зараз – а чудес становилось всё больше.

В то время играл важную роль как чудотворец ребе из Несвижа. Был он самым большим чудотворцем изо всех цадиков. Но каменецкий раввин был ещё больше. И я уже с ним не занимался. Я не занимался ни с кем, только готовился к дискуссии с отцом и со всеми хасидами о хасидизме и его противниках.

После восстания правительство отменило все помещичьи привилегии, в том числе и каменецкую аренду. Мы остались совсем без заработка. Но в еврейской черте сразу стало легче: повеяло свежим воздухом, как в материальном, так и в духовном смысле. Для евреев наступила новая эпоха. Вместо того, чтобы, как раньше, крутиться возле помещика, который был единственным источником существования для еврея, состоятельные евреи сами могли теперь стать господами: крупными лесоторговцами и торговцами зерном, и вообще можно было заниматься крупной торговлей.

После восстания почти девяносто процентов поместий оставались в руках у помещиц. Помещики трагически погибли, а помещицы, оставшись одни, не умели и не могли вести своё хозяйство с помощью наёмных крестьян, своих бывших крепостных. Эти дамы, привыкшие к широкой, роскошной жизни, занятые только балами и кокетством, никак не могли в один момент, да ещё без мужей, превратиться в хороших хозяек и иметь серьёзные понятия о сельском хозяйстве.

Деду первому пришло в голову, как помочь помещицам, а заодно что-то сделать и для евреев. А именно – евреи возьмут у помещиц в аренду имения, которые те не способны вести, помещиц это буквально выручит, даст ежегодный надёжный доход и избавит от беспокойства о том, что их имение пропадает, снимет камень с сердца.

Дед тут же поехал к своим знакомым помещикам и выложил им вышеупомянутый план. Он им объяснил, что в нынешнее трудное время им, как видно, следует сдать свои владения евреям, с чего помещицы тут же получат определённый доход. То же – с небольшим числом помещиков, оставшихся после восстания разорёнными в своих домах. В этом своём положении им трудно взяться за хозяйство, нанимая для работы крестьян, своих бывших крепостных. И для них тоже будет правильно сдать поместье в аренду. Понятно, что предложение это в тот момент очень устраивало помещиц и помещиков, воистину диктовалось самой жизнью.

И сразу же дед взял в аренду несколько поместий, для каждого из детей – отдельное поместье. Для себя взял поместье Вилевинского Пруску (было две Пруски: одна принадлежала Осеревскому, а другая – Вилевинскому), в четырёх верстах от Каменца – вместе с винокуренным заводом. Первые годы семья жила в городе, а сам он сидел там с людьми почти всю неделю, приезжая домой только на шабат.

Таким образом состоятельные евреи стали арендовать поместья, и в короткое время не меньше шестидесяти пяти

процентов поместий Гродненской губернии были заселены евреями. И можно сказать, что помещицы и отдельные помещики были очень довольны новоиспечёнными поселенцами-евреями.

Сначала арендовали поместья дёшево, но потом стали расти цены на зерно, и арендную плату за поместья так взвинтили, что лет через десять работа на земле оказалась для еврейских арендаторов не таким уж доходным делом.

Помещицы и помещики стали также продавать леса, превращая всё в деньги. Это тоже не осталось без внимания евреев, превратившихся в крупных лесоторговцев. Они покупали разный лес – и для продажи на месте, и для постройки домов. Доставляли стройматериалы во все крупные города, где шла оживлённая торговля. Крупный стройматериал отправляли и в Данциг.

С лесом случилось то же, что и с поместьями. Сначала его продавали очень дёшево, а именно - двести-триста рублей за десятину хорошего леса. Но через несколько лет цены страшно выросли, причём цены повысили сами евреи. Купить лес приходили десятки купцов, и конкуренция сильно затрудняла торговлю. Десятина леса стоила уже не две-три сотни рублей, а целых двенадцать!…

Со временем и казна стала продавать десятинами свои леса, а также и конфискованные леса помещиков. Отношение казны к евреям было не такое, как сейчас, и торговала она с ними так же, как с неевреями.

После восстания Муравьёв издал указ, запрещающий полякам покупать землю в Литве. Он также не забыл евреев, которым его указ это тоже запрещал, что преграждало евреям путь к жизни и к заработку.

И всё же евреи в эти интересные времена во многих местах установили пивоваренные и винокуренные заводы, крупные водяные и ветряные мельницы, маслодавильни, красильни и т т.п. Растили большие стада – овец, коров, быков и т.п. Стада удобряли землю своим навозом, и вместо прежних, при помещиках, копен с акра[163], земля отдавала теперь шесть. Евреи владели большими молокозаводами, разводили лошадей, добивались породистого потомства. Они также выписывали машины для вспашки земли со всякими приспособлениями для облегчения и ускорения работы

Имения приобрели другой вид. Земля стала плодороднее, и из каждой мелочи они делали золото. Само зерно было только одним из многих продуктов, получаемых евреями из имений благодаря их энергии, способности и труду. . Они отдавали делу день и ночь, ища способов получить разными комбинациями как можно больше от природы.

Помещики, вернувшиеся через какое-то время домой, измученные и истерзанные тюрьмами и Сибирью, не узнавали своих владений. Всё выглядело иначе: везде красота, чистота и блеск, много новых строений, машин и конюшен. Они просто крестились, видя райский сад, в который «жиды» превратили их именье. Также и помещицы хвалили мужьям евреев за их энергию: все работают - муж работает день и ночь, сыновья, невестки, дочери и зятья - все в работе, и ничего у них не пропадает. Не так, как у них, у помещиков – что они знали? Во всём полагались на пьяницу-эконома. Помещица рассказала, что начав с тысячи двухсот, сегодня она уже получает с имения три тысячи пятьсот рублей в год.

Иные помещики завидовали евреям, увольняли их и брались за работу сами. Присматривались к заведённому евреями порядку и сами начинали управлять так же. Но больше двух-трёх лет это не продолжалось, именье возвращалось в прежнее состояние. Что-то было не то, дело не шло, всё расстраивалось, и чем дальше, тем больше. И они снова сдавали поместья евреям.

Время это, однако, отличалось не только коммерцией. В это же время евреи взялись и за образование. Правительство открыло перед ними все школы. Масса евреев стало докторами, юристами, инженерами. Правительство допустило их даже к государственным должностям, и во многих городах евреи становились судебными следователями, врачами, имели звания полковников, генералов и т.п.

Безусловно, что для евреев в российском галуте это было самое хорошее время. В тот период они разъехались по всем крупным русским городам и занялись большими делами. В Москве за короткое время образовалась большая еврейская община из пятидесяти тысяч евреев[164], много сделавших для развития московской индустрии.

При Николае I в Киеве еврей боялся выйти на улицу. Плывшие на берлинах по Днепру из Пинска в Николаев ночевали у себя в каютах, боясь выйти в город, чтобы переночевать в отеле. А если кто-то и решался, то боялся высунуть из окна голову. Если еврей шёл купить товар в воскресенье - обыкновенно, у русского, поскольку ни одного еврейского торговца там не было - то платить приходилось столько, сколько запрашивал продавец. И горе еврею, если он осмелится предложить меньше. Тут же получит по зубам, будет избит до крови, не смея при этом сказать ни слова в свою защиту. Ведь тут, на этом месте, он вообще стоять не смеет!… Почти то же, что можно видеть сейчас[165].

Но позже, при Александре П, в Киеве образовалась еврейская община из пятидесяти тысяч евреев[166]. Среди них были

миллионеры, сахарозаводчики. Крупнейшие бакалейные магазины процветали тогда в Киеве.

После восстания, когда аренда города была отменена, мы арендовали поместья, принялись за обработку полей, кое как зарабатывая на жизнь, к чему никак не могли привыкнуть. Тут уж мудрость деда не могла помочь: помещиков не стало совсем! Дед никогда не беспокоился о деньгах, он считал, что помещики и городская аренда будут всегда.

В поместья мы ещё не переехали. То есть, ещё считалось неприличным жить в деревне. Мы держали в поместьях людей, а сами туда каждый день ездили.

Глава 23

Накануне моей свадьбы. – Я увидел невесту. – Кто первый? – «Скорей, скорей!» – Хасиды и их противниками у меня на свадьбе. – Проповедь.

В 5625 (1865) году отец стал настаивать на том, чтобы поскорей меня женить: мне уже было семнадцать лет, просто стыдно перед людьми. Свадьбу назначили на месяц элюль[167]. Справлять должны были у нас, поскольку невеста – сирота, без отца и без матери. Мне нужно было сделать гардероб. Отец пожелал, чтобы я шёл к хупе в туфлях и чулках и в атласном кафтане. Он также отверг карлинских клейзмеров, предпочтя брискских клейзмеров во главе с известным клейзмером-хасидом и бадханом-хасидом, так как Тодрос-бадхан был противником хасидизма. У меня оставалось до свадьбы два месяца, чтобы плакать, кипеть и добиваться того, чтобы не идти к хупе в туфлях и чулках и чтобы на свадьбе был только Шебсл-клейзмер. С большим трудом и с помощью «единственного сына» Арье-Лейба я добился, что пойду к хупе в сапогах, а за день до свадьбы, в четверг, прибыл Шебсл. Прибыла в четверг и невеста с роднёй, заехав к дяде Мордхе-Лейбу, у которого должна была происходить вся свадьба. Тогда было принято, что за день до свадьбы, в двенадцать часов, женщины и девушки приходят танцевать, и несколько часов играют клейзмеры. Это происходит у невесты. Позже, к вечеру, собирались мужчины и шли с клейзмерами встречать жениха, и тот говорил проповедь, потом ели печенье с вареньем и выпивали. Затем жениха в сопровождении клейзмеров вели по улице на церемонию закрытия лица невесты, потом – в бет-ха-мидраш к хупе, а от хупы – всем обществом, с клейзмерами, шли домой к невесте. Там уже бывал ужин, где танцевали и гуляли до утра.

Если свадьба бывала в пятницу вечером, то гости вместе с клейзмерами провожали жениха с невестой после хупы домой, уходили молиться и снова приходили на «семь праздничных дней». Понятно, что приходили не все. Наутро, в субботу, все близкие друзья вместе с родными шли к жениху и отводили его в бет-ха-мидраш, где его «вызывали» к чтению Торы, а танцы и ужин продолжали на исходе субботы.

Мой отец-хасид не счёл нужным показать мне невесту перед хупой. Только она приехала, как вся семья, от мала до велика, пошла на неё посмотреть, кроме меня. Весь город побежал

посмотреть на невесту, приходили и сообщали мне радостную весть: невеста очень красива… на лице – ни одной веснушки. Были и такие, кто желал ещё раз пойти и посмотреть на невесту. И опять возвращались с радостной вестью и подтверждали: действительно нет ни одной веснушки, а я страдал, что мне не показывают невесту.

Я попросил Арье-Лейба, единственного человека, способного сделать одолжение в случае надобности, пойти со мной к дяде посмотреть на невесту. И рано утром, в доме у дяди, перед тем, как там собрались женщины, я увидел невесту. Она действительно была красива. Я немного растерялся, однако смело пожелал ей мазл-тов и спросил, что она делает… Мне хотелось посидеть, рассмотреть получше её красивое лицо, но Арье-Лейб взял меня за руку и сказал:

«Вставай, сидеть сейчас у невесты не положено…».

И я грустно отправился к себе, т.е. в дом деда.

На встрече с женихом присутствовал дядя-раввин, я произнёс проповедь. От проповеди моей бурлил весь Каменец, и было весело.

Под хупой невеста наступила мне на ногу, я решил, что это нечаянно. После хупы родные невесты её тут же схватили и увели, чтобы она пришла домой до меня. Это для них было вроде приметы, что она будет мною командовать. В те времена этому придавали большое значение. Кто именно, жених или невеста, возвращаясь после хупы, сделает в доме первый шаг, тот и будет командовать. Но Арье-Лейб - с моей стороны, не желая уступать, быстро побежал по дороге, чтобы я пришёл домой раньше. Родня невесты тоже не хотела уступить «первенство», и получился настоящий бег, просто Бог знает что. На мне был поверх атласного кафтана китл, а сверху - пальто. Но портной Иегуда-Лейб мне сузил пальто, и во время бега оно распоролось. Показался китл, и мне было очень стыдно.

Невеста со своей роднёй оказалась тем временем на террасе, а я до террасы, куда вели шесть ступенек, ещё не дошёл. Тут Арье-Лейб заявил, что невеста должна сойти с террасы, чтобы жених с невестой вошли в дверь вместе.

Ничего не поделаешь - пришлось невесте с роднёй спуститься по ступенькам, а с обеих сторон следили, чтобы порог жених с невестой переступили одновременно. Мы поднимались на терраса, а с двух сторон кричали:

«Вместе, вместе!»

Невеста, однако, быстренько поставила свою ножку на порог – значит, будет теперь мною командовать!.. Ловкий Арье-Лейб, однако, это заметил и не допустил – велел нам снова обоим

спуститься, и с обеих сторон снова закричали:

«Вместе, вместе!» - Как муштруют солдат. Я в душе смеялся над всей историей и таки дал ей возможность войти немного раньше. Пусть ей будет приятно. И моя-таки опять умудрилась сунуть ножку в дверь. Тут уж Арье-Лейб совсем рассердился и сказал, что жених с невестой вообще не должны сюда заходить: их надо вести в дом жениха, то есть к деду. И если она и дальше попробует пройти впереди жениха, то пусть это продлится хоть всю ночь, ей этого не позволят. Нас провели с клейзмерами ещё некоторое расстояние до дома деда. Но там был такой же высокий терраса. Родные её, однако, устав и не имея, как видно, сил препираться с Арье-Лейбом, прекратили свои попытки, хотя и кричали:

«Вместе, вместе!»

И следили за нашими ногами, которые на этот раз благополучно прошли, оказавшись в комнате одновременно.

Тут от дяди в квартиру деда принесли для жениха с невестой золотистый бульон, так как после хупы они должны остаться вдвоём в отдельной комнате, и мы поели знаменитого бульона у деда. Клейзмеры разделились: несколько клейзмеров вместе с Шебслом играли у деда, а несколько у дяди. Тут настала суббота, произнесли благословение над свечами. Посторонние ушли в шуль, а мы молились дома.

Дед был не согласен с отцом. Он не хотел, чтобы на моей свадьбе были хасиды, и они договорились, что хасиды будут только вечером в пятницу, в субботу утром и до исхода субботы. Хасиды пели, говорили на хасидские темы, а я прислушивался к их речам. Но они не знали, до какой степени я уже их противник. Мне они казались странными со своим хасидизмом. Клейзмеры играли почти всю неделю. Каждый день устраивали большой пир для всего города, как тогда полагалось.

Глава 24

Новый год у ребе. – Гнев отца из-за того, что я не еду к ребе. – Мои неприятности из-за хасидизма. – Война с хасидизмом. – Диспут. – Впечатление у домашних от диспута.

На Рош-ха-Шана отец поехал в Слоним к ребе. Сразу после свадьбы он стал ко мне относиться очень серьёзно. Ни разу не сказал мне, что делать. Он решил, что я и так понимаю, и стал регулярно обращаться ко мне только с помощью взгляда, то есть, я ему смотрел в глаза и понимал, что я должен сделать или сказать. Он считал лишним говорить мне, что надо ехать к ребе - ведь после свадьбы все хасидские дети едут к ребе, и тут, когда он поехал, он считал, что я тут же подхвачусь:

«Папа, я тоже хочу поехать»,

Но я ему этого не сказал. Это его ранило в сердце, и он отправился к ребе один.

Там ему было очень стыдно, поскольку он не мог от ребе скрыть того, что десятого элюля женил сына – ребе меня хорошо знал и предсказывал, что я стану прекрасным хасидом, и вот он приезжает без сына. Ему от этого было очень тяжело.

И вернувшись после Рош-ха-Шана из Слонима, он на меня очень рассердился и просто жёг своими резкими словами и всякими замечаниями, как бы между прочим, вроде того:

«На том свете я дождусь от тебя награды!».

Тогда я решил положить этому конец раз на всегда: выдержать с ним диспут, чтобы мы оба не мучились. Диспут – это что-то другое. Я был уверен в своей победе. Пусть он знает, что я – противник хасидизма, что уже никогда не стану хасидом – и с этим примирится.

Но всё произошло не так, как я предполагал, и было это не лёгким делом. Особенно с таким человеком, как мой отец – настоящим ангелом, воспитывавшим меня взглядом, глазами. Каково было спорить с отцом - и с таким отцом, доказывая, что путь его – абсолютно ложный? Мне это было смертельно трудно!

И я искал всё время такого случая, который бы мне придал мужества и свободы в этом деле.

Моя молодая красивая жёнушка, к сожалению, тоже была хасидкой. Воспитанная мужем сестры, пылким карлинским хасидом, она часто рассказывала, как приготовила рыбу для реб Арона, карлинского ребе, гостившего у её свояка (в Пинске замечательно готовили рыбу). Ребе поел рыбы (а был он, чтоб не

сглазить, неплохой едок) и заметил, что давно не ел такой прекрасной рыбы.

«Кто её приготовил?» – Спросил он. Ему сказали, кто: приготовила сирота, пятнадцатилетняя девочка. И не только рыбу – всё, что она готовила, было необычайно вкусно. Он её благословил, пожелав, чтобы мужем её стал большой хасид. Можно понять её огорчение, когда она увидела, что я – никакой не хасид, и не еду к ребе.

Моя жёнушка играла в семье важную роль. Все её любили за красоту, хозяйственность и ум, а отец очень надеялся на то, что своим умом и красотой она меня конечно приведёт к хасидизму.

На субботу и праздник нас с женой дед приглашал к столу. Понятно, что как хасид, я бы такого удовольствия деду не доставил, но сейчас я был рад этому предложению и приходил к деду рано, как принято у миснагдов. После еды я видел из окна, как отец возвращается из штибля. Обычно он проходил мимо дома деда, а я, вместе с Либе, моей молодой женой, шёл домой, и отец говорил с ней о хасидизме, а мне каждый раз говорил колкости, что мне было неприятно.

И вот, желая, чтоб жена сделала из меня хасида, мой добрый отец заходил так далеко, что сильно унижал меня перед ней, а её передо мной возвышал, и мне это было особенно больно. Он не понимал, что таким путём он может только испортить наши отношения. Получалось так, что для него, если я не хасид, то пусть у меня будет плохая жизнь.

На Симхат-Тора[168] мы с Либе кушали у деда и когда шли в час дня от деда домой, отец вёл всех хасидов к себе. Тут уж Янкель-изготовитель уксуса и Шебсл-переписчик вынимали из печей в городе всю еду и приносили к отцу для хасидов. Ах, до чего любимый день!

Я увидел отца с хасидами и услышал голос Янкеля. Все уже были навеселе. И шли всей гоп-компанией к нам, а мы с Либе шли по другой стороне. Янкеле, желая меня поддеть, крикнул на всю улицу так, как только он умел:

«И оставит человек отца своего и мать свою». И ещё громче: «И отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей»[169]. И снова:

«И отца, и мать, и прилепится к жене». И так далее, пока мы не подошли к дому отца. Дома я спросил отца, как это он позволяет этому Янкелю так меня оскорблять. Но Янкель влез в разговор:

«Что, где? Я только перевёл ему кусок из Пятикнижия в духе того немецкого апикойреса Дессауэра».

Он имел в виду немецкий перевод р.Моше Мендельсона,

называемого р. Моше Дессауэр[170].

«Унд тате, унд маме», - крикнул он.

«Но вы кричали «хунд», - возразил я.

«Нет – унд, унд», - забавлялся он.

Ну, сегодня с этим надо покончить, подумал я. Как следует напиться и поспорить. У пьяного больше смелости.

На исходе Симхат-Тора магид всегда устраивал для всех городских хозяев угощение за счёт города. Приходили к дневной молитве, устраивали пир с жареным гусем, фруктами, вином и водкой. Вино посылали заранее, в канун Симхат-Тора, и было весело. Ели и пили до двенадцати ночи, пели и танцевали. Это уже была такая давняя, ежегодная традиция.

Сын магида вместе с его зятем тоже устраивали пир, специально для учащейся молодёжи, и там тоже кутили до утра, также с хорошей выпивкой и с жареным гусем.

И с ним, с Мойше-Ароном, я договорился, что сегодня на Симхат-Тора я брошу отца с хасидами и буду открыто кутить у него с нашей учащейся молодёжью.

Тем времени у отца началось веселье. Стали усаживаться за стол. Я тоже присел, но сидел уже, как на иголках, и не долго думая, встал из-за стола и пошёл к Мойше-Арону, где все наши молодые люди хорошо проводили время. Должен сказать, что это был один лучших дней моей жизни. Мало у меня было таких дней. Мы все, двенадцать молодых людей, самых лучших учеников, танцевали, целовались и пели. Нечто духовное влекло нас друг к другу, хотелось ещё и ещё целоваться... Так мы кутили до одиннадцати ночи, а потом пошли, пьяные, к хозяевам и с ними потанцевали.

Помню, что я схватил одного еврея-хозяина, реб Шмерля, отца моего дуга, которого я очень любил, обнял и от избытка чувств крепко к себе прижал. Я был очень здоровым парнем и чуть его не задушил. Он не мог вырваться из моих рук, и несколько человек с трудом его от меня оторвали. После этого я тут же свалился на землю, смертельно пьяный, что было довольно противно, меня притащили в какую-то комнату, где уложили спать, а в час ночи Мойше-Арон разбудил меня, чтобы я шёл домой.

Дома я застал хасидов только принимающихся за рыбу. Было весело. Янкеле, коцкий хасид, который, естественно, был пьян, как Лот, тут же меня заметил и сказал:

«Хацкель, ты пришёл от Мойше-Арона, черти бы взяли его отца».

Я тут же отрезал:

«Черти бы взяли отца твоего ребе!» - Особенно грубое

выражение на идиш…

Если бы хасиды не боялись деда, они бы меня тут же на месте избили, к удовольствию отца. Но деда они боялись, поэтому, стиснув зубы, промолчали. И вообще больше не сказали ни слова. Стало тихо

Я пошёл прямо к себе в спальню. Там лежала моя молодая жена и горько плакала. Она считала, что я испортил хасидам весь ужин. Им бы ещё хотелось кутить. Кровь стынет в жилах, горе ушам - слышать, как сын Арон-Лейзерова Мойше клянёт отцовского ребе его предками.

Жена вышла со мной из дому окольным путём, ведущим к польскому костёл,у и по дороге так горько плакала, что не в силах этого вынести, я был готов тут же, рядом с ней, умереть. .

«Я тебя люблю, Хацкель, - говорила она сквозь слёзы, но сейчас мне лучше провалиться, чем дальше с тобой жить. Не подумай, что я хочу, не дай Бог, получить развод, но если ты оскорбляешь по батюшке янкелевского коцкого ребе, я просто боюсь с тобой жить…»

И она всё горше плакала. Я молчал, а она так долго и с такими ужасными всхлипываниями плакала, что я был в полном ужасе.

По дороге домой я услышал голоса хасидов. Они уже расходились. Все они говорили про своё «несчастье», и не пели, как обычно, по дороге. Слова мои их страшно поразили. Я им и в правду испортил праздник.

Когда я вернулся в спальню, отец меня позвал:

«Сядь, Хацкель», - сказал он.

А жене моей велел идти спать.

«Что с тобой, Хацкель, что с тобой творится?» - Спросил он тихим, дрожащим голосом.

Я взглянул ему в лицо и испугался: лицо белое, глаза красные. Таким я его ещё не видел. Гнева в его взгляде я не заметил, гнева вовсе не было, одна только грусть. Мне как-то пришлось его видеть после смерти ребёнка, моей сестры. Но такого ужасного выражения я в его взгляде я не видел.

Мне захотелось его расцеловать и попросить прощения. Я был готов тут же, на месте, отдать за него свою жизнь – пусть мне лучше пронзят сердце, чем видеть отца с таким лицом. Я ведь знал, как больно моему любимому отцу, которого я так высоко ставлю до самого сегодняшнего дня, сколько здоровья это ему стоило и чем же он, бедняга, был виноват!

Признаюсь, что когда мне иногда хочется сделать что-то плохое – как это с бывает с каждым – мне стоит вызвать в памяти образ моего отца, и я тут же от этого воздерживаюсь. Но к

сожалению, не всегда приходит мне на память отец.

Отдать ему мою жизнь, моё тело и кровь я был готов, но как быть с душой, как было верить в то, во что не верится? Но как я мог губить сейчас двух дорогих мне людей, моего отца и мою прекрасную молодую жену?

«Ну что ты молчишь? – Спросил он меня наконец. – Прошу тебя, говори. Я понял, что нам надо, наконец, с тобой поговорить. Расскажи мне всё, что у тебя на душе. Я сам виноват, что мало с тобой говорил о хасидизме. Я был о тебе слишком высокого мнения. Я всегда тебя считал понятливым мальчиком, считал, что ты сам всё поймёшь, без лишних разговоров. Теперь я вижу, что ошибся. Никогда я с тобой не занимался хасидизмом. Если бы я с тобой говорил, так бы далеко не зашло».

Уже было после полуночи. Ставни были закрыты, горела свеча. Я заговорил… Говорил я долго, и только он открывал рот для ответа, я тут же подхватывал и говорил то, что он хотел сказать. Я страшно был возбуждён, а отец сидел, как каменный, слушал и не перебивал. Это была его особенность, и когда я кончил, был уже день. Я взглянул на часы: семь часов.

Он меня увидел по-новому. Откуда это взялось? Он отдал меня Ицхак-Ойшеру, считая, что выполнил свой долг, не зная, что во мне скопилось за всё это время. Он таки считал, что я всем заправляю, но допустил небольшую ошибку: он считал, что я всем заправляю как хасид, а я заправлял, как миснагид. Он упал на постель, как в обмороке, с громким стоном.

Сердце моё сжалось. Я вышел из его спальни и хорошо выплакался. Немного успокоившись, промыл глаза, чтобы жена не поняла, что я плакал. В спальне у меня тут же потемнело в глазах: моя прекрасная жена лежит в постели и всю ночь плачет, так что подушки промокли от слёз. При виде меня, тут же расплакалась в голос, так что отец с матерью прибежали в испуге. Отец огляделся, понял, что происходит, и тут же ушёл к себе.

Я не знал, как её успокоить. Боже мой! Своё я уже сплясал – спор с отцом, к которому я готовился полтора года и больше ничего не делал – не учился, не читал учёных книг – уже состоялся. И что теперь? Я считал, что потом он успокоится, всё переварит, что мы сможем с этим жить. Я ему обещал, что возьмусь учиться. Я твёрдо решил - прежде всего регулярно учиться. Пропитание у меня есть, заботиться о жене не надо. Отцу она дорога, как жизнь, ей будет хорошо, а я смогу сидеть и учиться, пока не выучусь на раввина. А уж место раввина мне получить будет очень легко. Внук Хаима Воложинера был у евреев в те времена в большом почёте, глава Воложинской ешивы уж как-нибудь даст мне должность, и моя молодая красивая жена будет

ребецин[171].

Я это твёрдо решил, хоть чуть не умер от её слёз. Но было ясно, что и плач её в конце концов затихнет, и, собравшись с силами, я отправился в бет-ха-мидраш молиться.

Это была тяжёлая ночь, особенно глубоко запечатлевшаяся в моей памяти.

Глава 25

Спор с хасидами. – Я хочу ехать в Воложин. – Отец против. – Бунт жены против меня. – Моя жена заболела. – Мы в ссоре. – Мы помирились. – Я принимаюсь учиться. – «Собирайте, детки, монетки!» – «Дворец». – «Поколение Хацкеля».

Жена просила сделать ей одолжение - молиться в штибле. В пятницу вечером, во время молитвы, сын дяди реб Симха позвал меня. прийти к нему на спор с хасидами. Я согласился. Пришли три миньяна хасидов с реб Ореле во главе. Они готовились к спору несколько дней. Привлечь меня к хасидизму было для них особенно важно - считалось, что я всем заправляю, что я – энергичный малый, люблю трудиться на благо общества и смогу обратить к хасидизму тех молодых людей, кто женился в этом году. Они меня также боялись: знали, что если останусь миснагдом, то с хасидизмом в среде молодёжи Каменца будет покончено, что для них было вопросом жизни.

Спор я провёл, и победил их запросто. На все их вопросы тут же ответил, а на мои вопросы ответить никто не смог.

«Ребе тебе на всё ответит», - сердито заметил реб Симха. Я сказал:

«Что мне держаться за хасидизм, задавать вопросы и искать, кто мне на них ответит, если сердце моё к этому не лежит? Уж лучше держаться старого пути, не понадобится и спрашивать».

«А что тебе стоит спросить?»

«Для этого надо ехать к ребе».

«Даю тебе пятьдесят рублей на расходы, поезжай в Карлин к ребе, реб Арону. Он тебе на всё ответит».

И он обязался - как только я ему сообщу, что еду в Карлин к ребе - дать мне пятьдесят рублей. На этом спор закончился, я вышел победителем, все меня сочли очень способным и зауважали.

В субботу я молился в штибле, а всю неделю – в новом бет-ха-мидраше, где все способные молодые люди молились. После молитвы я целыми днями проводил беседы о хасидизме, и все знали о моёй победе. Заинтересовавшись спором, в новый бет-ха-мидраш приходило всё больше и больше молодых людей, я им пересказывал аргументы хасидов и мои возражения. После этого меня приглашали в старый бет-ха-мидраш. Там я снова всё пересказывал, и должен признаться, что за четыре десятка лет, прошедших после этого события, в Каменце не прибавилось ни

одного хасида, и до сегодняшнего дня он остался ярко выраженным миснагидским городом.

Как я уже сказал, в оценке последствий своего спора с отцом я ошибся. Я думал, что отец постепенно привыкнет к тому, что я миснагид, и с этим смирится. Но этого не случилось. Он стал мне мстить, что вовсе не было в его характере, забрасывал меня колкостями, взял вдобавок на помощь мою жену, что было уже нечестно. Его совсем не трогало, что он может испортить всю мою жизнь с любимой женой.

Видя, что дело становится всё хуже и хуже, что отец как будто решил испортить мою жизнь с женой, я задумал уехать в Воложин учиться. Так и так я хотел быть раввином! В Воложине у меня ни в чём не будет нужды, и какой-то конец будет достигнут. Правду сказать, мне вовсе не хотелось расставаться со своей восемнадцатилетней красивой женой, с которой вместе мы пробыли всего несколько месяцев. Но ничего не поделаешь - дальше так жить было невозможно.

Ехать я хотел с паспортом, не желая вращаться среди людей без документа, в котором тогда вовсе не было необходимости, поэтому решил набраться терпения. Правда, первый паспорт выдаётся не без ведома отца. Но я-то уже был кем-то, и мне, известному молодому человеку, Яков-сборщик конечно же выдаст паспорт, не спрашивая отца. Сборщик обещал, но у меня за спиной послал спросить отца. Только тогда я понял свою глупость, что слишком много о себе понимал, что конечно, он должен был спросить отца, а отец тут же спросил меня:

«А для чего тебе, Хацкель, нужен паспорт?»

«Для поездки в Воложин», - опустил я глаза.

Понятно, что у него лопнуло терпение, и на глазах моей жены он отпустил мне две горячие оплеухи.

«Всего лишь несколько месяцев после свадьбы, - крикнул он, - и ты уже хочешь оставить жену. Поруш нашёлся!» - Что было, с его стороны, не совсем честно. Боюсь, что он не столько заботился о жене, как хотел её против меня настроить. И он продолжал:

«Оставить сироту-жену? Где это слыхано? Это зверство! И вообще – какое право ты имеешь делать такой важный шаг, не спросив отца? Но ладно – не спросить отца, но жену?… Ты ж благочестив, как ты говоришь, ты знаешь, как сказано в Торе: год оставаться дома, даже во время войны! Но ты жену оставить хочешь, чтобы учиться! Но нет - не для того, чтобы учиться: ведь учиться ты можешь и дома, никто тебе этого не запрещает. Должно быть что-то другое. Может, ты жену ненавидишь?» – Спросил он, дипломатично усмехаясь. Кровь у меня застыла в

жилах: такая красивая жена, я так её люблю, что отдал бы за неё жизнь – а он мне сыплет соль на раны!…

И говорил он это в её присутствии, чтобы её против меня настроить. Так он мне несколько часов подряд вынимал душу, изображая каким-то злодеем. Ведь тот, кто способен покинуть жену сразу после свадьбы – это не человек, и он даже не знает, как меня после этого назвать.

Жена моя, как обычно, расплакалась, и отец, хотя и любил её всей душой и конечно не мог смотреть, как она плачет, не пожалел её слёз и продолжал раздувать огонь. Только после того, как она он плача чуть не лишилась чувств – разболелась голова, лицо горело – он испугался и срочно послал за Яшкой-врачом. Но «доктора» не оказалось дома, и тут началось. Сбежалась вся семья, её уложили в постель, а я побелел, как смерть. Тут я на деле увидел, как отец ненавидит противников хасидизма и как ужасно он ко мне относится.

Когда был пойман на воровстве Ицхак-Бер с ключом от кассы, из которой кто знает сколько времени воровал, отец был так хладнокровен, так спокоен и не сказал ни одного худого слова против вора, лишь хладнокровно, спокойно заметил:

«Ответьте мне хотя бы, реб Ицхак-Бер, сколько времени у вас уже есть этот ключ, а также - воруя у меня, делали ли вы это по совести?»

После этого он с ним справедливо посчитался, и когда Ицхак-Бер заявил, что он сейчас останется без хлеба и не будет иметь, чем вернуться домой в Бриск, отец ему дал сотню и пожелал счастья и удачи и т.п. таким дружелюбным тоном, будто тот не вор, а истинный праведник.

Но в отношении отца ко мне я сейчас в первый раз ясно увидел холодную ярость и мстительность. В то же время я ведь не был каким-то уличным мальчишкой, я был известен в городе, ко мне относились с уважением, так почему же он со мной себя ведёт так жестоко? Просто убить меня готов!

Но поразмыслив, я научился отдавать ему справедливость. Во-первых, я увидел, что из миснагда хасидом можно стать, но обратно – никак. Миснагид – это просто верующий еврей, но хасид считает, что небо, Бог и рай существуют только для него, и насколько ему дорог хасидизм, настолько ненавистны миснагды. Человек уже не смотрит на своё собственное дитя, это уже больше не дитя, если переходит к ненавистным миснагдам. И поскольку я был старшим, а после меня – ещё четверо мальчиков – отец просто боялся, как бы я не покалечил братиков своим миснагдством. И он был прав, так оно и случилось: все мои братья – миснагды.

И к моему несчастью, как уже говорилось, моя жена стала большой хасидкой, и отец через неё со мной сражался. Не была бы он такой красивой, он бы сжал зубы и махнул на меня рукой. Но отец понимал, что она мне бесконечно дорога и, в этом смысле – сила, которую он использует против меня.

Моё желание уехать, опять же, отца испугало. Так он ещё имел каплю надежды с помощью моей красивой жёнушки вернуть меня хасидизму. Но если я уеду, то всё пропало.

Но как всегда в таких случаях между отцом и сыном, он ничего не добился и только испортил мне много крови и жизни. Вместо того, чтобы смягчиться, я только ожесточился.

Мой умный отец не понимал, что так же, как и он не отдаст своего хасидизма ни за какие блага мира, так же и я ни за что не отдам своего миснагства. Лгать, обманывать, притворяться, как другие, я не мог. Это – не в моей природе. Так делают другие: ходят, как прочие хасиды, в долгополой одежде, едут к ребе, носят штреймл – всё ради жены, отца, тестя или ради начальства - а в душе всё наоборот: курят в шабат папиросу, нарушают все запреты, лишь бы никто не видел. Но я так не мог.

Тот день, когда я захотел получить паспорт, был один из самых горьких днй моей жизни. Жена проболела несколько дней. Отец расшибся в лепёшку, чтобы она выздоровела. Она лежала в кровати и только плакала. Со мной не разговаривала. Естественно, что мне хотелось ей всячески угодить. Болезнь её меня совершенно потрясла. Но отец меня к ней не допускал. И так получилось, что вся семья крутилась вокруг неё, каждый старался чем-то помочь, а я – нет!

Потом, выздоровев, она по отношению ко мне смягчилась, видно, почувствовала ко мне жалость. Слишком уж мне от отца досталось. Понятно, что её огорчало, что я собрался уехать – так недавно женился, а радости в жизни не имею.

Мы помирились… Я ей объяснил, что у отца нет никакого права так меня преследовать. Он не может меня заставить быть хасидом, если моё сердце к этому не лежит. Поэтому он не должен иметь ко мне никаких претензий, не должен так жестоко со мной поступать.

«Он меня обижает в твоём присутствии, он ждёт, что я упаду духом, почувствую себя униженным, - объяснил я ей, - нет, моя дорогая жёнушка, я всё могу сделать, но верить в то, во что не верится - не могу».

«Что касается моего желания поехать в Воложин, - продолжал я, - и тебя оставить, то ты же знаешь, что душа моя связана с твоей душой, сердце с сердцем. И именно поэтому я хочу уехать. Я хочу, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты, не дай Бог, не знала

никакой нужды. Больших денег у нас нет, какого-то нового дела тоже не предвидится. И с таким небольшим капиталом, каким мы располагаем, мы ничего не получим, поэтому надо добиться какого-то дохода. Я не могу взяться за какую-то мелкую вещь ради заработка, как другие каменецкие жители. Но на одно я надеюсь – стать раввином. И спроси пожалуйста, моя жёнушка, нашего дядю, раввина, он тебе скажет, что для меня есть единственный правильный путь – стать раввином. За это я должен благодарить отца – что он не послал меня в Воложин ещё три года назад. Я бы уже скоро стал раввином. Но я ещё надежды не потерял; мне сейчас восемнадцать лет. Содержания у нас ещё есть на целых три года, и ничего не сделается, если мы ненадолго расстанемся. Тебе у отца ни в чём не будет нужды, все тебя любят. Не беда - года через четыре, максимум через пять я, с божьей помощью обязательно получу право на должность раввина, а ты станешь уважаемой раввиншей».

Короче, моя супруга, которая в общем была хорошей и практичной женой и больше всего хотела надёжного дохода, вполне со мной согласилась, сказав, что ни капли не сомневается в моей верности и преданности.

И отец, как это часто бывает, как только понял, что мы с женой полностью помирились, перестал ко мне придираться.

Своего намерения – учить Гемару и галахические решения, пока не получу права на должность раввина – я не оставил. Стал учиться в новом бет-ха-мидраше с большим усердием и вёл себя так: после вечерней молитвы, то есть, вначале вечера, занимался до восьми часов, потом ложился спать возле печи, со старым талесом под головой, заранее попросив молодёжь перед уходом домой в десять, одиннадцать часов меня разбудить. И после ухода всех, оставшись один, брался за учёбу. Стоял у возвышения и учился до рассвета. Подняв голову от Гемары, слышал, что чтец уже читает благословения из молитв, и что начался день. Так я учился всю зиму.

Спал я в бет-ха-мидраше часа по три, не больше, и всё время учился. Только в пятницу ночью спал дома, как положено знатоку Писания.

Мне, однако, было страшно одному находиться в таком большом бет-ха-мидраше. Я тогда верил в чертей и злые силы, к тому же в то время у нас в городе была сумасшедшая еврейка по имени Рашеле. Её безумие проявлялось в том, что она ходила целыми ночами по улицам и как только видела, что где-то мужчина открыл дверь и вышел на улицу, так тут же проникала через дверь к тому в постель. Естественно, подымался скандал, пока её не прогоняли. В этом заключалось её безумие. И я боялся,

как бы Рашеле не зачастила ко мне в бет-ха-мидраш. Я очень боялся чертей, зажигал свет во всех лампах, висящих в бет-ха-мидраше. Было там, помнится, восемь больших висячих ламп по восемь, десять и двенадцать свечей в высоких подсвечниках, для субботы и праздников. Я сжигал по два фунта свечей за ночь, и никто мне не смел сказать ни слова. Все хозяева из бет-ха-мидраша, как и евреи вообще, очень были довольны, что я учусь в одиночку. Всю ночь с Гемарой – шутка ли!

Таким путём я с каждым днём становился всё более и более благочестивым. И в короткое время стал таким верующим, что всю неделю совсем не ел мяса – вообще ничего, кроме чёрного хлеба с супом, без масла, и одновременно стал читать все книги сторонников движения мусар[172]. Мне очень нравилась книга «Есод ве шореш ха-авода»[173], и за молитвой я себя вёл, как в ней рекомендуется: в некоторых местах молитвы плакал, а в некоторых – радовался. И так поступал, как сказал раби: «Не держи руку ниже пояса». Помню, как идя домой и обратно, я смотрел на людей на улице с некоторой жалостью. Что они знают? Что они учат? И взглянув на небо, где так много горело звёздочек, чувствовал страх перед великим Богом, и поруш по прозвищу Панчошник говорил каждый день одно и то же:

«Собирайте, детки, монетки…»

Ясно, что найдя на улице монеты, человек не станет отвлекаться на разговоры, останавливаться посреди дела. Он соберёт монеты.

«Собирайте, детки, монетки..»

Богоугодными делами, совершаемыми человеком, он там, в мире ином, строит себе дворец, ни на секунду не смея перестать, ибо в ту секунду, когда он не учится, он может, Боже упаси, умереть, и у дворца в мире ином будет не хватать террасы, карниза или окна. Потому должен человек непрерывно строить и строить до последнего вздоха, до последнего пота.

Я этому следовал и строил дворец, не позволяя себе обмолвится с кем-то словом, я собирал монеты, поступал, как сказано в книге «Основа и корень служения», и всё же этого было не достаточно. И я всё продолжал стараться, чтобы стать ещё благочестивей. Но отца мои занятия вовсе не трогали, и он повторял:

«Лучше бы мне умереть, лучше бы Хацкель умер, чем дожить до такого. И ученье его, и благочестие для меня – ничего не стоят, если он не слушает ребе»

В городе хозяева стали упрекать своих сыновей и зятьёв, почему они не учатся, как Хацкель. А те завидовали Арон-Лейзерову Мойше за то, что его сын такой усердный в ученье,

такой праведник. Сами молодые люди возревновали и понемногу, ближе к Хануке, в бет-ха-мидраш приходило каждый раз всё больше молодёжи и, пока весь бет-ха-мидраш не заполнялся молодыми людьми и ешиботниками, учившимися целыми ночами, как я. Перебирались из большого бет-ха-мидраша сюда, в новый, и я уже был не один, и свечи уже не горели в висячих лампах, только в бронзовых подсвечниках, стоящих на столах, возле Гемар.

И мы читали с таким задушевным напевом, что припомнив его сейчас, ощущаю во всё теле сладость. Так со мной проучились в ту зиму все городские ешиботники и хозяйские дети и долго потом люди говорили:

«Поколение Хацкеля!»

И действительно, такого поколения в Каменце ещё не было. Тут я совсем стал человеком духа: В Пурим, помню, напивался так, как положено[174] и в пьяном виде кричал, что имею паспорт в мир иной. Я изучил три бавы: Бава-Кама, Бава-Меция и Бава-Батра[175].

Но в трезвом состоянии просил Бога послать мне пропитание, чтобы я мог всегда так сидеть и заниматься.

Глава 26

Магазин. – Моя поездка в Кобрин. – Дом Йоше. – Зятья: просвящённый Лейзер и илюй Залман-Сендер. – Два дома. – Моё первое углублённое знакомство с Танахом. – Впечатление от Танаха. – Происшедшая во мне перемена. – Поездка домой. – Мои высокие мысли. – Провал с магазином. – Просветительские книги. – Снова отец.

В семье у нас уже пришли к выводу, что моя приверженность к учению не позволяет мне обеспечить пропитание жене и детям. И так как жена моя – прекрасная хозяйка, то решено было сделать её торговкой. Возьмём своё приданое и приобретём магазин, а я ей в свободную минуту буду помогать.

К моему несчастью оказалось, что некто готов продать магазин галантереи и парфюмерии. Он уезжал из Каменца, и нам будет доход. Надо скорей хватать, чтоб не перехватили другие. Привели торговца к отцу и договорились, что во время пасхальной недели он передаст магазин. Пятьдесят рублей задатка отец дал, остальное доставим в пасхальную неделю.

Пока что меня оторвали от Гемары и отправили в Кобрин к реб Йоше, сыну Минки, зятю моего дяди, взять хранившееся у него наше приданое. Мне не хотелось оставлять мои занятия и молитвы, но пришлось: жене моей очень хотелось стать, если не раввиншей, то хотя бы торговкой.

Поехал я в Кобрин.

Дом реб Йоше известен был во всей Гродненской губернии как место, где Тора и величие соединились. Эстер-Гитель, дочь каменецкого раввина, была мудрой и практичной женщиной. Был у них постоялый двор и шинок, как у нас в Каменце у Хайче Тринковской. Но разница была в том, что Кобрин – большой уездный город, а Каменец – маленькое местечко.

Помещики со всего уезда бывали в её барском постоялом дворе и в шинке. Мебель у неё была богатой и красивой, имелся также и танц-зал для помещиков с фортепьяно, которые тогда, до польского восстания, прямо-таки швырялись деньгами.

Были они также большие филантропы, и к ним в Кобрин со всей губернии приходили бедняки, для которых пекли до десяти пудов хлеба.

Нечего говорить, какими они были гостеприимными! Одним словом – никого не отпускали с пустыми руками. Другого такого щеедрого и гостеприимного дома не было во всей Литве.

У Эстер-Гитель было не более и не менее, как двадцать два ребёнка, из которых тринадцать умерло. Из девяти оставшихся было трое сыновей и шесть дочерей. Дочерям взяли величайших илюев.

Один из зятьёв, Лейзер, известный илюй, после свадьбы не захотел учиться и, как тогда говорили, «был пойман с поличным»: считался апикойресом, маскилем, привлёкая к себе и отрывая от ученья, кобринскую молодёжь. В доме его царил дух Просвещения, смеялись над ребе и над хасидами, над фанатиками и т.п., как было принято у тогдашних маскилей.

Этот Лейзер, кроме того, что был учёный человек и маскиль, знал также хорошо русский язык, имел большую библиотеку учёных книг на иврите и на русском, а язык у него был – гром и молния. Чем дальше, тем он всё больше притягивал к себе молодёжь.

У реб Йоше был ещё один зять, мой родич, внук реб Хаим Воложинера. Реб Йоше просто взял и поехал в Воложин и выбрал самого лучшего из ешиботников. Хорошо разбираясь в ученье, он сам экзаменовал претендентов. Но именно этого претендента он экзаменовать не смог: парень знал больше реб Йоше. Сегодня этот парень уже настоящий еврей, реб Залман-Сендер, раввин в городе Кринки[176], очень знаменит и даже считается предсказателем.

Реб Йоше привёз илюя к себе, одел его во всё новое и положил три тысячи рублей приданого и пять лет содержания. Свадьба была в одно время с моей. Зять Залман-Сендер переписывался по вопросам Торы с величайшими раввинами России, и дом его, где бывали молодые знатоки Ученья, стал полной противоположностью дома его свояка.

Такими были два дома детей реб Йоше. Дома эти отличались как огонь и вода. Маскили смеялись над религиозными фанатиками, а у набожных обливали грязью Лейзера с его маскилями. Но Лейзер был очень любим в городе и связан с исправником, мировым посредником и со всем начальством. Даже помещики его ценили.

Дом реб Йоше и его двух зятьёв представляли собой духовный центр города. В каждом из них жизнь била ключом. В доме Йоше было весело. Дочери были большими аристократками, несмотря на то, что Йоше не отличался большим богатством. Красиво одевались, держались гордо.

Я приехал в Кобрин после Пурима. Но реб Йоше, у которого хранилось моё приданое, не имел, бедняга, в тот момент денег. Но так как я всё же был родич и эрудит, к тому же - человек молодой, о моём приданом больше молчали, а вместо этого обкармливали меня вкусными вещали и радовались встрече со

мной.

В доме у них царило веселье, и должен признаться, что задним числом я в самом деле был рад, что у них для меня не оказалось денег.

Мне сказали:

«Развлекайся… У нас весело».

И я развлекался.

Я как будто забыл свою Гемару и «Основу и корень служения», перестал собирать монеты и строить дворец в будущем мире, чтобы, не дай Бог, не остался бы он без карниза…

По природе горячий и во всё вмешивающийся, я отдался царящему во всех трёх домах веселью. Немного повозился у Эстер-Гитль с детьми, что было чудесно, походил к реб Залман-Сендеру с его учёными молодыми людьми, которые все были миснагдами, и получил некоторое удовольствие от посещения реб Лейзера, старшего зятя, с его маскилями – горячими евреями и совсем не религиозными, очень ценившими Танах, но в котором главным для них был – человек, отношения между людьми, дружба людей, всеобщее счастье и мир земной.

Я никогда не учил Танах. В те времена, как я уже отмечал, изучение Танаха считалось ересью, особенно хасидами, и в тысячу раз больше – моим отцом, погружённым в хасидизм с головой. Только у Мотэ-меламеда я учил «Иешуа», «Судей» и «Шмуель», 1-2 – и всё. Учить Танах в бет-ха-мидраше я боялся из-за отца, и почти не понимал значения «Пророков», поэзию их слов, и здесь в первый раз услышал прекрасные и глубокие слова, которые меня совершенно очаровали. Пророк Ишаягу говорит словами Бога: «Когда вы приходите, чтобы предстоять Мне, кто просит вас топтать дворы Мои?.. (Жертвы) ваши в начале нового месяца и празднества ваши ненавистны стали душе Моей;…. и сколько бы вы ни молились, я не слышу; руки ваши полны были крови. Омойтесь, очиститесь…Учитесь творить добро, требуйте справедливого суда и.т.п.»[177] И ещё: «Таков ли пост, который избрал Я, - день, (когда) мучит человек душу свою? На то ли (он), чтобы склонять, как тростник голову свою и вретище и пепел подстилать? Это ли назовёшь постом и днём, угодным Господу? Не это ли пост, который Я избрал: оковы злости разреши, развяжи узы ярма, и угнетённых отпусти на свободу, и всякое ярмо сорвите!; Не в том ли (он), чтобы разделил ты с голодным хлеб твой, и бедняков скитающихся ввёл в дом? Когда увидишь нагого, одень его, и от родственника твоего не скрывайся. Тогда прорвётся, как заря, свет твой…Тогда воззовёшь - и Господь ответит; возопишь, - и Он скажет: вот Я!»[178].

Так учили маскили Лейзера с молодёжью из числа хасидов, которые втайне попали в их сети. Я прислушивался и в то же время размышлял: «Почему в доме Залман-Сендера так глумятся над маскилями, называют их апикойресами, да сотрётся их имя. Наоборот – тут так красиво, умно и хорошо говорят! А я совсем не знал, что Пророк говорил именем Господа, что он, Господь, отказывается от еврейских молитв и от их суббот, от их криков, от вздымания рук и от постов. Только одного требует Господь: помогать друг другу, разбивать цепи, которые богатые налагают на бедных - меня это страшно взволновало. В этот момент вся праведность «Основ и корня служения» показалась мне довольно плоской - плоской и пустой…

И лейзеровские маскили стали мне дороги. Тут я задумался о том, насколько я был обманут. Я только учился, молился, плакал, постился и себя мучил. Я считал, что такова воля Бога. Но сейчас выяснилось, что не это требует от людей Бог. Он только требует, чтобы люди друг другу помогали. Делали бы друг другу добро, облегчали бы жизнь. Я же никогда не замечал бедности, которая роилась и кишела в Каменце. Это никого не касалось, каждый старался только для себя, каждый готов проглотить другого. Если у кого-то есть доход, другой ему завидует, а если кто-то умрёт с голоду, никого это не тронет. Короче, во мне произошёл полный переворот, и я решил, что вернувшись домой, я тут же займусь бедными, помогу угнетённым. Ничего – энергии мне хватает, и вся молодёжь меня поддержит.

Деньги мне, наконец, всё-таки отдали, и я вернулся из Кобрина совершенно изменившимся. Я никогда не сталкивался с таким интересным обществом, как там – и Тора, и добросердечие и подлинная набожность вместе с просвещением, и – по моему мнению, всё сочеталось друг с другом. Для меня моё пребывание в Кобрине было драгоценно.

Вернувшись в Каменец с приданым, я решил прежде всего отдать десятину[179]. Но отец хотел, чтобы от десятины я половину отдал слонимскому ребе. Я же об этом не желал и слушать. Десять рублей он-таки содрал с меня для своего ребе, а остальное я разделил, и с толком: разыскал нуждающихся из приличных людей и тайно между ними раздал деньги. Потом заплатил хозяину магазина, и моя практичная жена получила в своё расположение магазин.

Для меня началась новая эпоха. Я каждый день молился, после молитвы учил час Гемару, а между послеобеденной и вечерней молитвами – снова час. Остальное время – сидел с женой в магазине. Выручали мы мало, так как кроме крестьян, не было никаких покупателей. Это было как раз после восстания. От

помещиков не осталось следа. Если уж являлся в кои-то веки помещик с парой лошадей, то карета была замызгана, лошади грязные, немытые, и сам он пробирался по городу, как тень. И предметы роскоши, которые были у меня в магазине, можно было спокойно выбросить.

Я перестал собирать монеты и строить дворец, но и из того, что я на себя взял, вернувшись из Кобрина - что буду действовать по программе пророка Ишаягу, тоже ничего не вышло. Понятно, что я себе сразу заморочил голову магазином, где лежал старый, ненужный товар, какие-то странные остатки, на которые не находилось никаких покупателей. За всё это тряпьё мы по неопытности заплатили много сотен, и один Бог знает, когда их удастся продать. Для этого требовался новый, свежий товар, совсем другого рода – простые, для крестьянок, вещи, а мой товар – послать в какой-нибудь музей древности. Было много переживаний, а тем временем дед с отцом тоже остались с очень небольшим доходом.

Жена уже стала меня поедом есть, почему я такой шлимазл, не гожусь ни к какой торговле, и для чего ей, несчастной, быть торговкой в Каменце, вернее, для кого? Помещиков нет, а с крестьянками у неё нет никакого желания вести торговлю. Для них быть надо простым, уметь с ними разговаривать, а она ведь – что-то совсем другое[180].

Короче, мне уже было сильно паршиво. Хоть у меня и есть содержание, но и у отца дела неважные. От содержания мы были готовы отказаться, но с деньгами нашими, вложенным в магазин, можно было попрощаться. Но когда стало ещё хуже, пришлось забросил мечты о том, чтобы стать раввином или помогать беднякам. Решено было стать казённым раввином[181]. Прежде всего я, без ведома отца, стал учить Танах. Десять раз прошёл его таким образом: прочтя с первой главы примерно до десятой, вернулся к первой; с десятой до двадцатой - и снова к десятой, и т.п. И так прошёл весь Танах. И тут же перешёл к просветительской литературе. Сын богача Йосл много имел таких книг. И мы вовсю принялись читать. Стали заказывать книги из Белостока на прочтение за плату.

Был в то время большой маскиль, зять реб Ицеле Заблудовского, Элиэзер Хальберштам. Он высоко ценил просветительское движение, Белосток же был известен как крупнейший город Просвещения. Бывшие молодые фанатики бросали ученье и принимались просвещаться при поддержке Хальберштама. Это было знаменитое время разводов мужей с жёнами из-за Просвещения. «Тесть давал развод зятю» от дочери,

не имевшей своего мнения по этому вопросу. Отец заявлял: твой муж – апикойрес, с ним надо развестись.

В то самое время мы получили по почте все книги по Просвещению, платя за прочтение приличные деньги. Прочтём книгу – заказываем другую. Нам выслали каталог всех новых просветительских книг. Я хотел заняться русским языком, но в Каменце не нашлось учителя, и отец бы мне этого, конечно, не позволил.

К тому времени я уже мог писать на святом языке и стал «знаменит» своим языком. Отца это страшно огорчало. Но он видел, что ничего не может поделать и что надежды, которые он возлагал на невестку - что она из меня сделает хасида – совершенно напрасны. Наоборот – жена моя охладела к хасидизму. Её мысли, вращавшиеся только вокруг заработка и того, как прожить, ей подсказали, что жёны хасидов все почернели от забот. Мужья проводили все дни и ночи в хасидском штибле, в танцах и в пении, в еде и в питье, а жёны умирали с голоду. Она видела, как хасиды кутили у моего отца на исходе каждой субботы, а их жёны с детьми в тоске и чуть не в голоде сидели по домам.

Она также видела, что я стремлюсь заработать деньги, устроить правильную жизнь и что такого желания у меня бы не было, останься я хасидом. И теперь она обвиняла моего отца, что он не позаботился для меня о чём-то реальном, чтобы я мог обеспечить жену.

В то время среди евреев очень было развито стремление к образованию и многие отдавали детей в гимназию, уже можно было встретить еврейских врачей, инженеров, юристов. И я очень сетовал на то, что отец меня сделал несчастным, а никаким не раввином и не доктором. Но тут, в разгар всех забот, пришла новая беда, ещё больше прежних, так что забыли о заработке. Имею в виду большую эпидемию холеры 1866 года, сгубившую за несколько месяцевтри миллиона человек.

Глава 27

Холера. – Тогдашние средства от холеры. – Смерть раввина. – Слух о том, что он воскрес. – Я ищу желающего купить магазин. – Вахнович. – Я хочу стать казённым раввином. – Пощёчина.

Холера из Бреста, точно живое существо, прибыла прямо в Каменец. Эпидемия распространилась страшно быстро. В Бриске умерло с месяца элюль до кислева[182] больше двух тысяч человек, и в Каменце было не менее ужасно. Из первых умерла внучка раввина, дочь реб Симхи, молодая замужняя женщина, и после неё стало умирать в маленьком Каменце по два-три человека в день, а один раз дошло до восьми в день. Вставая утром, сразу слышали о новых покойниках.

Ничего удивительного, что так много людей умирало. О дезинфекции тогда не имели никакого понятия, умерших от эпидемии обмывали дома, а не на кладбище, как принято, тёплой водой, которая лилась повсюду. Более удивительно, что не умерли все. Но и так множество полегло.

У отца умерла четырнадцатилетняя сестра и двухлетняя дочка. Евреи даже стали применять такие проверенные средства, как устройство свадьбы на кладбище дурочки-калеки со слепым парнем. Ставили на кладбище хупу с надеждой на появление здорового потомства. Помню также, как в пятницу шли через весь город с Торой в руках некоей – не рядом будь помянута – процессией, произнося: «смесь благовоний…»[183]. Но никакие средства не помогали.

Тогда ещё не знали последних средств, применявшихся пятнадцать лет назад в Польше во время холеры в Люблине.. Тогда все изготовляли колечки из лулава[184], запрягали четырёх девочек и распахивали кусок земли с той стороны города, откуда пришла холера. Также приводили на кладбище гоя, платили ему три рубля в день за то, чтобы он стоял там у ворот, и когда приносили покойника, говорил бы:

“Tu niema miejsca”[185]. Гой при этом, имея гойскую голову, говорил, когда приносили покойника, нечто противоположное:

“Tu jest dosyc miejsca[186], несите сюда всех евреев”.

Но у нас в Каменце, как сказано, ничего тогда не слышали ни о вспахивании земли с одной стороны с помощью девочек, ни о люблинских колечках, и асессор с исправником так же знали, что предпринять, как мы знали, что происходит на луне. Не могу удержаться, чтобы не рассказать о настоящем чуде: в Заставье не

умерло ни одного человек, как будто преградили путь ангелу смерти, чтобы он там не смог появиться. Произошло какое-то странное, непонятное явление. С другой стороны, в Высокой холера была большая, в Каменце – не меньше, а жители Заставья находились в Каменце целыми днями, уезжая домой только на ночь – и все уцелели.

В первый день Сукот в течение часа умер от холеры мой дядя-раввин. Естественно, пришёл весь город, слёзы лились рекой. В доме дяди было полно народу, и помню, что палец его слегка шевельнулся и все закричали, что праведник ещё жив. Окно было открыто, и в городе тут же распространился слух, что праведник ожил. Но часа через два были похороны.

Когда я вернулся домой, бабушка Бейле-Раше меня спросила своим задушевным голосом:

«Хацкель, ты был возле дяди. Правда ли, что говорят - будто раввин вдруг сел и сказал: “Не плачьте, дети, за мной закроется земля”?»

Я ей рассказал, как всё было. Но ничего не помогло: слух продолжался. Ночью, однако, умерло сразу пятнадцать человек, и с этого началось усиление эпидемии. И сказки про раввина сразу затихли. Эпидемия продолжалась почти до Хануки. Все стояли на пороге смерти. Только что – человек на ногах, и вот уже – в лучшем мире.

Всё это время никто не имел никакого дохода, раздавали милостыню нуждающимся, и многие продали с себя последнюю рубашку за хлеб.

В городе было помещение с кувшинами горячей воды, имелось целое общество “растирателей”, работавших день и ночь, растирая и согревая больных. Но члены общества все до единого умерли, вместе с Йослом, их истинным командиром и большим героем.

После холеры город почти опустел.

Но беда – бедой, а заработок всё равно нужен, и снова стали искать, как заработать, и отцу, бедняге, пришлось забросить своих хасидов вместе с хасидским штиблем и отправиться в поместье Вахнович, расположенное в трёх верстах от Каменца, которое дед арендовал у графа из Турны. А я остался в Каменце со своей лавочкой. Но мы понимали, что будем так сидеть, пока не проедим последние деньги. Ни товара для крестьян у нас не было, ни тащить их за рукав, как следовало делать, мы не умели. И ждали, что крестьяне придут сами, в результате – полный провал.

Несмотря на скромность наших расходов, поскольку все продукты питания нам слал отец из поместья, а нас было только двое и прислуга, всё же уходило много денег. Я никогда не умел

экономить. Такой уж я имел «семейный недостаток», и было ясно, что дальше мы так жить не можем.

Бог не бросает людям кошельки с деньгами с неба, хлеб также не растёт для людей на деревьях. Прежде, чем хлеб попадёт человеку в рот, надо хорошо поработать – пахать и удобрять, сеять, косить, сушить, молотить и снова сушить, молоть, просеивать, месить, печь – и только тогда получаем готовый хлеб. Как видно, человек должен хорошо поработать, пока получит кусок хлеба. А сидя в магазине, глядя друг на друга и не желая тянуть крестьян с крестьянками за рукав, мы, конечно, не заработаем, а плату за магазин и за квартиру будем бросать на ветер.

Несмотря на это, мы держались за магазин. Одну «реформу» мы произвели: взяли девочку, чтобы тянула крестьянок в магазин. Но это не очень помогло. К этому времени моя жена родила первого ребёнка. И обрезание, устроенное по высшему образцу, с вином и раздачей милостыни, стало гробом нашему магазину. Магазин и так был полным провалом. Мы положились на девочку, имевшую, как видно, слишком длинные руки – да простит она мне – и, между нами говоря, получилось скверно. У моей жены был теперь ребёнок, и она не могла уже так работать в магазине. И я понял, что дело это мне не подходит, что я не могу привыкнут к крестьянам и крестьянкам, что мне противно торговаться с покупателями, и решил, что мы должны продать магазин и переехать к отцу в поместье. Моё намерение было – учиться на казённого раввина, о чём пока никому не говорить, включая жену.

Я искал желающего купить магазин и не находил. После больших мучений кое-как передал родственнице оставшийся товар за треть цены, которую она мне, к тому же выплатила в рассрочку, и уехал к отцу в поместье Вахнович.

Отец, будучи пылким хасидом, в деревне страшно скучал. В пятницу ночью и всю субботу он сам с собой веселился. Но что это за веселье: он пел, а дети танцевали. Радость получалась искусственной, и его улыбка пропала. И было видно, что без своих хасидов, в этой однообразной деревенской жизни, он тает, как свеча. Я взял себе в голову, что должен готовиться к экзамену на казённого раввина. Поехал в Бриск, познакомился там с писарем, известным маскилем, ценившим всех молодых людей, увлечённых просветительским движением, и ему понравился. Но нужно было знать русский язык. Он мне объяснил, какие книги я должен изучить и даже некоторые из них мне дал. Я также купил русский словарь. Вернувшись домой, начал серьёзно готовиться. Я знал, что отец будет против того, чтобы я учил русский язык, тем более, против того, чтобы я стал казённым раввином, но не

представлял себе, до какой степени он будет против. Заметив, что я учу русский язык, он дал мне пару пощёчин и сказал:

«Мы живём и, слава Богу, никакого русского не знаем. А тебе он нужен. Ни в коем случае я тебе этого не позволю!»

Глава 28

Внезапная смерть моей бабушки. – Впечатление, которое произвела смерть на семью и на местечко. – Её похороны. – Рыдания деда. – Шива. – Высокое мнение о бабушке. – Её добрые дела. – Распад нашей семьи после её смерти.

Ещё до отъезда в Вахнович мы пережили большое горе. Как-то ночью нам постучали в ставень:

«Мойше, Мойше, вставай, мама кончается!

Поднялся плач, и мы все, смертельно испуганные, стали быстро одеваться: но руки тряслись, как парализованные. Отец, мать, я и моя жена и все братья и сёстра – кое-как накинув на себя одежду, плачем во весь голос. Лишь отец не плачет: он бледен, глаза блестят влагой. Мчимся к нашей дорогой бабушке. От большой спешки падаем на лестнице, ведущей на балкон, поднимаемся и вбегаем в дом. Но бабушку мы уже застали мёртвой. У неё произошло внезапное кровотечение: вся кровь хлынула вдруг из горла, и через четверть часа она уже была мертва. В доме мы застали всех детей и внуков, маленьких и больших, братьев деда и семью сестры. Все были в сборе, и крик и плач охватили почти весь город. Сбежались посторонние женщины, плач усилился, как если бы жестокий враг учинил в городе резню.

Только дед потеряет сознание, как подымается ещё больше криков и плача, все сбегаются ему на помощь. Яшку-доктора с другими двумя врачами не выпускают из дому – чтоб позаботились о деде, когда он придёт в себя. Бабушка лежит на полу, и дед тоже падает на пол. Вытягивается рядом с бабушкой, прислоняет свою голову к её голове и заливает её реками слёз. Он всегда был склонен к слезам, но сейчас прорвался целый поток, который лился и лился без конца. И его всхлипывания ещё больше потрясали всю семью. Плач и крики усиливались с каждой минутой, и сейчас не спал уже весь город, все вздыхали по праведнице и умнице, не имевшей в жизни ни одного врага.

С рассветом уже собрался весь город возле дома и в доме, на террасе и у всех окон. И плач разверзал небеса.

Отец сразу послал нарочного в Чехчове к сестре и к зятю Берл-Бендету. Часа через три уже приехали Берл Бендет с Двойрой и со всеми их детьми и внуками, добавившие свежие тона к плачу.

И было, конечно, о чём сетовать: эта худенькая, маленькая

еврейка твёрдо держала вместе всю нашу семью, это её добрый дух внушал каждому из нас мир, это она нас учила, что надо любить друг друга, это она заботилась, чтобы наша большая семья держалась красиво, чисто и хорошо. Это она считала, что не следует проявлять гнева, что надо стараться всё принимать с любовью, что надо надеяться - никогда не терять надежды! И вот лежит она – любимая, дорогая моя бабушка, укрытая чёрным, и больше не встанет с земли.

Наступил день, но у нас у всех была тёмная ночь, и никаких человеческих сил, чтобы вынести ужасную сцену – как лежит бабушка на земле, а рядом с ней – дед, положив свою голову на её голову и льёт слёзы, как из ручья, и всхлипывает, как малое дитя, и все заодно с ним плачут.

Время от времени дед затихает, и все бегут посмотреть и видят, что он в обмороке. Поднимается большой плач, тогда бегут врачи, с бутылкой холодной воды. Его оживляют, он приходит в себя и снова падает на землю у головы бабушки, снова и снова льёт слёзы, как из ручья, и снова всхлипывает, пока не замолкнет.

Потом пришли женщины из похоронной кампании, чтобы совершить обмывание. Пришлось освободить комнату, все стали расходиться, но невозможно было оторвать деда от мёртвой бабушки, как будто его голова прикована к её голове. Он не позволял себя забрать и так пролежал довольно долго. Он всё бледнел и бледнел и было ясно, что он может тут умереть. Тогда явились единственный сын Арье-Лейб и Берл-Бендет – два здоровых молодых человека – и силой оторвали его от её головы. Но ему стало плохо. А крик был такой, как на пожаре, когда людей охватил огонь. На крик сбежались снаружи все евреи, с большим трудом отнесли деда в другую комнату и уложили в постель. Но он бросился на землю и хотел только лежать на земле, крича:

«Я хочу в землю, вместе с моей Бейле-Раше».

После того, как её по всем правилам подготовили, началась новая ужасная сцена – прощание со всей семьёй. Все на неё набросились, прося, по обычаю, прощения, чтобы была она доброй заступницей на том свете, какой была на этом. И снова дед ложился на сырую землю, насквозь пропитанную очистительной водой, положив голову рядом с её головой. Это был какой-то ужас.

На похороны пришёл весь город. Закрылись все магазины, все шинки, в домах не осталось ни одной женщины, даже в Заставье. Перед этим бабушку принесли, а после этого все сыновья, зятья, сёстры и братья притащили к ней под руки деда в полубессознательном состоянии, а врачи шли рядом с бутылками

в руках.

За свою жизнь в Каменце я дважды видел большие похороны. Одни – моего дяди, каменецкого раввина, происходившие во время Сукот, и понятно, что присутствовал весь город. Вторые – были похороны бабушки, ещё более многолюдные потому, что на похороны пришли абсолютно все женщины, чего не было у раввина из-за тогдашнего обычая, согласно которому посторонние женщины не приходят на похороны мужчин.

При опускании в могилу произошло нечто ужасное. Дед будто тронулся в уме, пытался броситься в могилу и не давал уложить свою Бейле-Раше в землю. С большим трудом удалось его от неё оторвать, но после того, как её опустили в могилу, он снова к ней рванулся и страшным голосом закричал:

«Я хочу быть в земле вместе с Бейле-Раше!…»

И потерял сознание. Это помогло, и его оторвали от могилы.

Назад с похорон деда снова тащили до самого дома и там уложили в постель. Но он снова бросился на землю и ни за что не давал себя взять в постель. И так он в полуобморочном состоянии уснул. Врачи сказали, что ему надо дать отоспаться, посторонние вышли из комнаты, оставив возле него сыновей, дочерей, невесток и зятьёв. Сейчас люди плакали тихо, и так плача, ослабли. Потом улеглись на землю, а слёзы всё лились и лились.

Дед каждый раз просыпался и кричал, чтобы его закопали вместе с Бейле-Раше. Как видно, у него начался жар, и в жару он часто вскрикивал:

«Разбойники! Что же вы Бейле-Раше без меня зарыли!»

Все эти мрачные сутки никто из семьи ничего взял в рот, даже ни стакана чаю. Даже малые, шестилетние дети, тоже ничего не ели и не пили.

Вторая ночь была такой же ужасной, как и первая. Более семидесяти душ лежали на полу и все плакали. Слёзы лились на пол и доски становились влажными.

Ночью дед немного поспал, а на рассвете вскочил. Ему немного полегчало.

«Но, Бейле-Раше, - начинает он кричать, - возьми же меня к себе, ты ведь была такой верной женой, душой и телом! Покажи мне сейчас свою последнюю верность и попроси Бога, чтобы он меня взял туда, где ты есть!»

И снова он плачет, снова всхлипывает и снова дрожит, а за ним – большие и малые, и слёзы смешиваются, как в Йом-Киппур во время благословений.

Все эти два дня дед не молился. Дети, у которых был свой большой миньян, молились утром и днём и вечером. Молясь, тоже плакали. Отец молился у «столба». Он, который мог быть

твёрд и не плакал, произносил слова тихо и душевно, что трогало ещё больше, чем слёзы. Молились в верхнем штибле, в спальне бабушки, и на третий день уже молились внизу, в большой комнате, так как дед не мог вынести, чтобы молились в спальне. Теперь он начал молиться у «столба», но он всё плакал, как дитя и терял сознание, и пришлось его от «столба» забрать.

Пришлось также поискать средство от плача, иначе можно было попросту умереть от горя и страха. Представители городской верхушки пришли навестить сидящих в трауре и велели прислуге поставить большой самовар, и всем стали подавать чай с булочками. С трудом удалось заставить людей выпить чаю. А дед отказался и от чая.

«Я хочу умереть, - твердил он, - хочу быть вместе с Бейле-Раше».

На третью ночь он даже немного поспал, но это был нездоровый сон, и Яшку-доктора не отпускали. Члены семьи, будучи не в силах уснуть, уселись на земле и стали по очереди делиться рассказами о бабушке Бейле-Раше, о её редких достоинствах, о её большом сердце, о её теплоте и самоотверженности по отношению к своим и чужим. Рассказывали, как она всех примиряла.

Была ли свадьба дочери, сына или внука, она сразу же после семи дней пира приглашала парочку к себе, но только каждого из них – в отдельности. Дочери, молодой жене, она долго говорила о том, что муж – это голова дома, он должен зарабатывать на жизнь, воспитывать детей, и о том, что всё достоинство жены – в её муже.

«Ты должна, - обращалась она к дочери или внучке, - не только любить мужа, но и показывать ему свою любовь. Естественно, что тому, кого любишь, доставляешь только удовольствия, а не дай Бог, не огорчаешь. Но он должен видеть и чувствовать, что он тебе дорог, как зеница ока. А если он, не дай Бог, плохо к тебе относится и не проявляет верности, на это ты смотреть не должна, не должна с этим считаться. Он, в конце концов, будет с тобой хорош, каким бы он плохим ни был. Ты также не должна своему мужу противоречить - как сказано в «Поучениях отцов» о том, чтоб не противоречить ближнему, в частности мужу, а тот чтоб отказался противоречить тебе[187]. Если хочешь, чтобы твой муж был тебе всецело предан, ты прежде должна быть всецело преданной ему, и что он скажет – должно быть для тебя свято… Если он говорит, что сейчас ночь, а ты видишь, что день, скажи тоже, что сейчас ночь… Благодаря твоей доброте он в конце концов поймёт свою ошибку и полюбит тебя, как жизнь. С мужем надо говорить мягко, не показывать своего

ума, не похваляться им, и он всегда будет говорить, какая ты умная, и ты таки будешь умная. Если ты ему скажешь, как поступить правильно в каком-то деле, а он не послушает и поступит как раз наоборот и глупо, а потом признается тебе, что был неправ – ты не должна показывать, что тебе это приятно и не должна, Боже сохрани, ему досаждать и поедом есть, наоборот – укреплять его, утешать, подбадривать – он сам поймёт, что когда не слушаешься, то потом пожалеешь. Ты должна видеть своего мужа в лучшем свете, восхищаться им, укреплять его. Чтобы вести свои дела, он нуждается в мужестве. И если, не дай Бог, дело идёт плохо и он, не дай Бог, не в состоянии заработать – не должна ты, не дай Бог, сказать ему худого слова. Напротив – утешать и укреплять, в твоих глазах он не должен падать. Потому что, если ты ему, не дай Бог, скажешь худое слова или будешь мучить его - он потеряет мужество, что доведёт до плохой жизни.

Так она говорила с каждой молодой женщиной - дочерью, невесткой или внучкой. При этом просила всегда ей рассказывать, как муж с ней обращается, и если шло не так хорошо, старалась всё смягчить и сгладить.

С мужчинами после свадьбы она говорила по-другому – о том, что женой они должны дорожить, «как зеницей ока» - всегда помнить, что во время беременности и родов она, бедняга, испытывает такие страдания, каких мужчины себе не могут представить.

«Ты устраиваешь обрезание, становишься отцом – без ожиданий, без мучений, зато чего это стоит жене? А потом, когда она кормит ребёнка, то сколько не спит ночей? Ведь всё на ней! Ты идёшь на улицу, в магазин, разговариваешь с людьми, посещаешь бет-ха-мидраш, молишься и занимаешься, говоришь и проводишь время, а жена сидит, привязанная, в доме, возле ребёнка. Ребёнок сосёт её кровь, мозг из костей, а если, не дай Бог, дитя заболеет, сколько ей это стоит здоровья? Она не ест, не пьёт и не спит. Хотя даже и тебе это стоит здоровья, но как это можно сравнить с её страданиями? Ты встал и пошёл. А если, с божьей помощью, есть несколько детей? Что тогда будет с женой? Не достаточно любить жену, о ней надо заботиться, дорожить ею. Только, когда ты предан жене – жизнь сладка.

И обоим вместе она говорила, что в доме должно быть спокойно, что дети никогда не должны замечать никакой войны между мужем и женой. Боже сохрани! Это портит характер детей, а заодно они перестанут слушаться старших и с ними считаться.

Понятно, что и мне она внушала то же самое. Только мне захотелось перед ней поумничать, и я ей сказал, что нашёл книгу, в которой очень хорошо сказано о том, как должны муж с женой

жить. Книга эта - «Кирьят Сефер» Мордехая-Аарона Гинзбурга[188]. В ней помещены письма, которые некто пишет своему другу, ставшему женихом, советуя ему, как себя вести с женой. Я прочёл письма бабушке, и они ей очень понравились. Она мне посоветовала прочесть это моей молодой жене, и я её послушался.

И так каждый рассказал, как бабушка вселяла мир между мужем и женой, и какое большое значение имела её деятельность, И в нашей семье была-таки хорошая жизнь между мужьями и жёнами. Не слышно было, Боже сохрани, худого слова одного к другому.

Дед понемногу стал очухиваться. Был уже в состоянии выпить стакан чаю, но с каждым глотком снова жаловался:

«Бейле-Раше лежит в земле, а я ещё могу пить чай»

Те из города, кто приходил раньше, чтобы утешить находящихся в трауре, к деду совсем не подходили. Теперь, когда он как-то пришёл в себя, пытались к нему обратиться, повлиять на него, объясняя, что он грешит тем, что так восстаёт против Бога. Человек не в праве распоряжаться своей жизнью. Бог дал, Бог взял. Царь Давид плакал, когда заболел его ребёнок, но потом, когда ребёнок умер, он вымылся и приказал ему играть. Дед уже плакал меньше, и всё рассказывал о её достоинствах, о том, как она с ним обращалась, какой была золотой женой, что за сердце имела и т.п.

На шестой день дед встал немного более спокойным. Приготовили чай и все перекусили. Он тоже что-то поел. В городе уже знали, что Арон-Лейзер немного успокоился, что уже так не буйствует. Уже можно свободнее к нему прийти, чтобы выразить своё сочувствие, уже можно поговорить, обменяться с ним словом, хоть рассказать ему что-то, что он про свою Бейле-Раше совсем не знал.

С одиннадцати часов стала приходить масса народу. За день приходило до ста человек, мужчины и женщины, выражать своё сочувствие.

Один из тех, кто приходил выражать сочувствие, рассказал, как однажды они с женой не могли прекратить ссору, и как он пришёл к Бейле-Раше жаловаться на свою жену.

«Своей мудростью она смягчила мне сердце, а заодно представила мне и недостатки моей жены в более лёгком свете. При этом ей удалось так удивительно хорошо изобразить всю сладость и наслаждение от добрых отношений между мужем и женой, и напротив – какой настоящий ад бывает от плохих отношений, те самые душераздирающие бедствия, которые я испытал на практике - что я ощутил потребность тут же

помириться с женой, с которой за минуту до того уже решил развестись. После моего ухода она пригласила мою жену на определённый час, когда Арон-Лейзера не было дома, и так же мудро поговорила и с ней, объясняя, как следует ей себя вести впредь, и жизнь наша стала лучше. Мы оба поняли, что воюем из-за пустяков. Один раз я не прав, другой раз – она. Почему? За что? С тех пор, слава Богу, мы уже девять лет очень хорошо живём. Приходили её благодарить вдвоём. Дай ей Бог светлый рай. Нас она просто спасла своей мудростью и благостью».

Таких историй рассказали много. Говорили, что в её время в Каменце совсем не разводились. Она всё время заботилась о том, чтобы до этого не доходило и сеяла мир между всеми. Сейчас, когда разводов стало, как грибов после дождя, когда настроение такое, что каждый хочет бросить дырявую вещь вместо того, чтобы её латать, как бывало – сейчас, говорю я, истории с бабушкой звучат немного наивно. Но она действительно имела большой талант смягчать, исправлять и улаживать плохие отношения. К ней приходили взрослые дети, жалуясь на мачех. В этих случаях она приглашала мачеху и своей мудростью и сердечностью внушала, что та должна исправиться, не должна так себя восстанавливать против сирот, и дети потом приходили благодарить Бейле-Раше.

Подобными делами был полон её дом. И так целый день - один входит, другой выходит, но всегда в то время, когда Арон-Лейзер бывал у помещиков. Она просила, что когда её муж дома, так часто к ней не приходить, чтобы не мешать ему отдыхать от его дел.

Рассказывали также о помощи, которую она оказывала потихоньку, чтобы муж её об этом не знал. Она вообще не хотела, чтобы об этом знали. Она поддерживала разорившихся хозяев, оставшихся без хлеба. Уделяла им от овощей, которые помещики присылали ей полными фурами: картошку, капусту, свёклу, морковь, лук, фрукты и т.п., а деду говорила, что овощи кончились, и он уже заботился о том, чтобы от помещика прислали снова. Получив снова овощи, снова слала почтенным разорившимся хозяевам. Также и в богадельню она регулярно всё слала, в том числе и мясо. У деда каждую зиму закалывали целого быка, нескольких овец и телят, мясо почти ничего не стоило, и она тут же распределяла между семьёй, почтенными бедными евреями, богадельней и т.п. А дед был так занят, что не замечал этих больших расходов.

Она также откармливала гусей и топила гусиный жир, и оделяя семью, ещё большую часть отдавала бедным. Летом готовила много варенья и разных соков. Только на варенье у неё

уходило целых шестьдесят фунтов сахару! И когда кто-то в городе заболевал, к ней приходили за вареньем. Тому нужно, чтобы принимать с касторкой, другому – для укрепления сердца. И так она постоянно обо всех заботилась. Весь город был у неё в голове с его разорившимися и нуждающимися жителями. Только деньгами она мало давала милостыни, поскольку много денег нужно было на всю семью, а муж ей не так уж много давал, как ей было нужно. И когда она его иной раз просила:

«Арон-Лейзер, мне нужно двадцать пять рублей» - он вполне мог ответить:

«У меня нет», - в случае, когда он таки да мог ей дать.

И она ему уже лишнего слова не говорила, делая хорошую мину, словно ничего не случилось, будто у неё к нему нет никаких претензий. А деньги, которые всё-таки были нужны, занимала у деверя Мордхе-Лейба. Вместо денег Арон-Лейзер ей слал в шинок бочку водки за сто рублей, и когда она ему через несколько дней говорила, что ей опять нужна водка, он тут же приказывал доставить от помещика. И она расплачивалась водкой с деверем за деньги, взятые у него на благотворительность.

Мужу она никогда не перчила – ни словом, ни делом. Он скажет «да» – значит да, а если «нет» - значит нет; зато он всегда её слушался, а причинив ей огорчение, просил прощения:

«Сказать по правде, дорогая жена, что когда я тебя не слушаюсь, всегда у меня бывают неприятности».

А она тут же всё сглаживала - словечком, улыбкой:

«Ничего, не сглазить бы, ума у тебя хватает. Учить тебя, Боже сохрани, не надо, и такой простой еврейке, как я, тебя тем более не научить. Но даже и самый умный человек иной раз делает глупости… Люди – не ангелы. Ничего, ничего… »

Вот такая жена была у деда, и недаром он так весь мир переворачивал, когда она умерла.

Когда встали после шивы, у всей семьи были опухшие от слёз глаза и смертельно бледные, измученные от голода лица.

Так когда-то жила и поступала еврейская женщина, от необыкновенных достоинств которой в современных женщинах не осталось никакого следа. Таких и раньше было немного, а нынче – нет совсем.

Я уже где-то говорил о значении бабушки для нашей семьи. Значение это станет понятнее читателю, если я скажу, что после её смерти наша большая семья распалась. Разрушено было согласие, люди стали холоднее, и от «царского полка» остались одни руины. Если у «царского полка» был полковник, без которого не было бы, конечно, никакого «царского полка», то это был тихий, незаметный полковник – моя бабушка,

самоотверженно оберегавшая своих солдат. А дед был только смелый, добрый и шумный капитан!

Глава 29

Хасидизм и его противники. – Притягательная сила хасидизма, всколыхнувшая весь еврейский мир. – Ортодоксальный иудаизм как система. – «Шульхан-арух». – Недостатки ортодоксального иудаизма. -- Хасидизм. – Бааль-Шем. – Доступность хасидизма всем слоям народа. – Реб Моше-Хаим Луццато. – «Путь праведных». – Демократизм в поведении хасидов. – Ребе и хасидские праздники. – Недостатки хасидизма. – Общий вывод.

Со смертью моей бабушки фактически завершается первая часть моих воспоминаний. Однако, я чувствую, что что-то должно быть сказано о хасидизме и его противниках. Как читатель заметил, в книге моей я часто касаюсь борьбы между хасидами и миснагидами. Эта борьба, которую я вынес на своём горбу, стоила мне немало здоровья, поэтому волей-неволей я должен раз навсегда разобраться – в чём притягательная сила хасидизма, что взволновало весь еврейский мир, что привлекло огромное число евреев в городах и местечках? В чём же всё-таки его сила? Как удалось хасидизму даже у самих ортодоксальных раввинов отнять детей и учинить подлинный разгром в семьях миснагидов? Постараюсь, в меру своих сил, ответить на эти вопросы. Поскольку не всем известна суть движений хасидов и даже миснагидов, попробуем как-то развить и прояснить эту тему

Миснагиды себя вели в соответствии с правилами книги «Шульхан арух», в которой излагались все правила письменной и устной Торы[189]. Это всё были практические установления – что должен человек делать, и чего не должен; но «Шульхан арух» не писал, о чём должен человек думать и размышлять – как сказано в Гемаре, «Господь требует сердца». Об этом в «Шульхан арух» не упоминается. Также и после «Шульхан арух» мудрецы писали, что должен делать еврей, как он должен себя вести, и делали ещё труднее и без того трудные еврейские законы, которые стало невозможно выполнять.

Хотя известная книга «Обязанности сердец», составленная учителем нашим Бахьей старшим восемьсот лет назад, очень ясно и понятно объясняет необходимость для человека очищать сердце добрыми качествами, но несмотря на то, что книга эта поныне очень принята, высоко ценится и популярна среди евреев, однако «Шульхан арух», составленный намного позднее «Обязанностей сердец», ценится, несмотря на это, у евреев более высоко.

«Шульхан арух» стал для них самой сутью иудаизма, указывая, как выполнять заповеди. То есть – как практически поступать и не задумываться. Заповеди, касающиеся души, таких человеческих свойств, как гордость, скромность, любовь, ненависть, ревность, гнев, лесть, мир и спор и т.п., по смыслу, содержащемуся в Торе и у Пророков, стали у евреев считаться чем-то мелким, второстепенным, на что можно смотреть с сожалением, с огорчением, но не заострять на нём внимания. Согласно «Шульхан арух» и другим мудрым книгам, еврей должен молиться и учиться, поститься и страдать и не иметь в жизни никаких удовольствий – как рассказывают о Виленском гаоне, очень воевавшем с хасидами: скитаясь с места на место в знак скорби о выпавшем на долю народа рассеянии, он не жевал хлеб, а глотал, чтобы не чувствовать вкуса еды.

Набожные миснагиды таки много молились и много учились, исполняли много предписаний, много мучились и много плакали. И после всего находились в большом страхе перед ангелами-мучителями, терзающими людей в загробном мире такими страшными муками, которые только можно представить.

Набожный миснагид всегда был мрачен, угрюм и забит: в этом мире он не смел радоваться, будущего мира боялся, а требованиям «Шульхан арух» и книгам других мудрецов всё равно угодить не мог. В вопросах веры он всегда отставал и из-за этого отставания жил в страхе.

А что сказать о миснагидах, не обладавших такой сильно набожной натурой? Те уж конечно страдали от слабости своего иудаизма и жили в постоянном страхе и ужасе перед высшим судом, грозившим страшной расправой за малейший проступок.

Так нёс каждый миснагид бремя своей веры, и даже искры радости в них не было видно. Страдающий народ, оплакивающий изгнание и беды, и кроме того - чей будущий мир, после смерти, обещает ещё большие муки, против которых муки этого мира покажутся каплей в море.

По представлениям миснагидов, еврей необразованный, не способный учиться, уж конечно не может быть достойным евреем. Достойный еврей должен учиться и знать все законы, он вообще должен учиться и учиться. Понятно, что поскольку необразованный не ценится никем, то его презирают, а если он к тому же бедняк, из-за чего следовало бы быть снисходительным к его необразованности - тут уж его сочтут совсем презренным существом. Такой еврей сам чувствует свою униженность, поскольку он просто человек, тогда как другие – ангелы.

На этой низшей ступени постоянно находились ремесленники. Ремесленники происходили от бедных родителей.

Бедные родители рано отдавали детей работать. Дети поэтому не могли учиться, оставались необразованными, и к тому же бедняками! У миснагидов ремесленник считался презренным существом. Понятно, что от такого отношения к простому еврею, вынужденному по бедности прервать ученье, у миснагидов сильно развивалось чувство гордости.

И действительно, чувство гордости у миснагидов очень развито. Шутка сказать – уважение! Уваженья добивались всеми средствами. Каждый миснагид имел свою меру ихуса и ихуса ближнего. Ихус был двух родов: по богатству и по учёности. Шло это так: способный лучше учиться или имеющий тысячу рублей считались важнее тех, кто имел сто рублей, а имеющий десять тысяч рублей ценился больше, чем имеющий тысячу, и т.п.

Понятно, что низшая и самая жалкая ступень, в которой находились в шулях и бет-ха-мидрашах бедняки (в конечном счёте позор необразованности падал только на бедняков, а необразованность богача забывалась из-за его денег). С ними стеснялись разговаривать, им выделялись места у дверей, в их сторону не смотрели.

Миснагидам не достаёт также солидарности и миролюбия. Каждый из них – за себя, никто не хочет знать, что делает другой. И поскольку чувство гордости сильно развито, развито также и чувство зависти: не могут у миснагидов примириться ни с богатством ближнего, ни с его положением, ни с его происхождением. И вечно у них война и раздоры и в городских делах, и в частной жизни, и в бет-ха-мидраше.

Бет-ха-мидраш у евреев – единственное место, где собираются вместе. Когда-то люди проводили большую часть времени в бет-ха-мидраше. Три раза в день молились, занимались и просто беседовали, и бет-ха-мидраш был у евреев единственным «клубом». Но у миснагидов принята система, что у каждого есть определённое место, которое он покупает за деньги, и приходя в бет-ха-мидраш молиться, становится на своё место, так называемый «штот». Каждый имеет в бет-ха-мидраше свой «штот», переходящий по наследству к детям. «Штот» – даже важнее, чем положение и происхождение. Миснагид готов себя подвергнуть величайшим лишениям, лишь бы иметь в бет-ха-мидраше место выше, чем у знакомого, или хотя бы не ниже.

Помню, что в мои детские годы в местечках цена места у восточной стены бет-ха-мидраша была такой же высокой, как цена дома. Места эти испортили немало крови миснагидов, и тот, кто когда-нибудь напишет их историю, получит такой материал, который ему скорее напомнит мелочную, уродливую войну, чем что-то, имеющее отношение к вере и к синагоге.

Бедняки, как говорилось, стоят у самой двери. Нет у них места, чтобы сесть, будто бы они какие-то камни, а не люди. И ни один миснагид наверное себя не спросит – хоть на минуту – подобает ли божьему дому, чтоб люди там делились на «чистых» и «нечистых», на богатых и бедных.

Даже при вызовах к Торе играет роль вопрос престижа. Читать вызывают хозяев, но и в вызовах есть свои уровни: быть вызванным третьим и шестым – наиболее почтенно; седьмой, последний и завершающий – чуть пониже, а четвёртый и пятый – ещё ниже. Стоящий у Торы и распределяющий вызовы габай взвешивает престиж каждого хозяина и напряжённо морщит лоб: подходит ли та или иная глава из нашей святой Торы, где каждое слово – сокровище, для того или иного хозяина – как всё это странно! В большинстве случаев, конечно, не подходит, и начинается война и даже драка, и атмосфера миснагидского шуля насыщается ненавистью и завистью.

Приглашений бывает всего до восьми, но среди нескольких сот молящихся в каждом шуле имеется по несколько десятков богачей, крупных домохозяев и «хороших» евреев, желающих непременно быть приглашёнными к Торе. Тогда у миснагидов распределяют стихи из Торы и читают субботнюю главу не по разделам, а по строчкам.

Бедняки почти никогда не приглашаются к Торе. Как евреям, к тому же набожным, причиняет им это, конечно, много боли и огорчения. А отсюда, конечно, проистекает то, что большинство бедняков и ремесленников организуют свои миньяны, где и они удостоятся приглашения к Торе и свободно вздохнут, избавившись от оскорблений, испытываемых ими в шуле и бет-ха-мидрашах.

Итак, в бет-ха-мидрашах у миснагидов нет никакой солидарности и никакой радости. Как на неделе, так и в субботу и в праздник. Каждый миснагид идёт после молитвы домой, поест со своей семьёй и ложится спать. Не поёт, не танцует. Либо молится, либо учится, либо что-то делает, либо ест, либо спит. Чего-то кроме молитвы, ученья, еды и сна, быть не должно. Понятно, что ото всего этого миснагид впадает в страшную сухость, в какую-то пустыню, где радость, экстаз и душевный подъём совсем неизвестны.

Вкратце, недостатки миснагидов следующие: обособленность, отсутствие солидарности, страх перед загробным миром при отсутствии всякого удовольствия в этом, ненависть и подозрительность по отношению к ни в чём не повинным необразованным людям, которые падают только на бедных, так как богатому невежде прощается. Ненависть и подозрительность

к бедным вообще, как таковым, гордость, вражда, зависть, раздоры, гордость своим происхождением и вообще – сухость, жизнь без радости, без счастья, без экстаза – всего, что близко сердцу демократических слоёв народа. Естественно, что при таком положении у евреев должен был произойти переворот, возникнуть какая-то новая система, которая таки и возникла.

Возникла она сто семьдесят лет назад вместе с Бааль-Шемом[190], которому удалось стать отцом переворота. Бааль-Шем действовал по двум пунктам: с одной стороны, он облегчил бремя веры, которое стало невозможно нести, при том, что даже и тот, кто всё соблюдал и всё выносил, не мог быть уверен в будущем мире; с другой стороны, он также старался укрепить еврейство в том смысле, что европейское просвещение, которое тогда уже начало проникать ко всем народам, не повредило бы евреям как народу. Мудрый Бааль-Шем Тов тогда уже понимал значение талмудического выражения, которое он обновил и распространил среди своих последователей: «Тремя вещами спасён Израиль: тем, что не менял своей одежды, языка и имён»[191].

Бааль-Шем Тов также распространил свою систему на Тору, Пророков, Писания и Талмуд.

Прежде всего Бааль-Шем Тов сломал чёрную стену, возведённую миснагидами между еврейством и радостью, между верой и жизнью. Он сказал, что Господь получает удовольствие от радости, от жизни, поэтому даже еда и питьё – тоже богоугодное дело. Коэны[192], например, должны были вкушать от жертвенного мяса в святом месте, в скинии Завета. Еврей поэтому должен служить Богу с радостью, как сказано в Торе в книге Дварим,[193] Также мы находим у Шмуэля, который сказал Шаулю: (Шмуэль-алеф, 10,5; в русской традиции «Первая книга царств», 10,5): «… встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и впереди них арфа, и тимпан, и свирель, и киннор; и они пророчествуют». Отсюда следует, что пророки не могли пророчествовать, иначе как играя. В книге «Диврей ха-ямим» (Т.е. Хроники, в русской традиции 1 и 2 книги Паралипоменон) также имеется: когда Давид пожертвовал много золота и серебра для Храма, он сказал в своей молитве: «…и народ Твой, находящийся здесь, с радостью жертвует Тебе» (1-я книга, 29,17), есть и в Псалмах, 43,4; 70,23): «И приду к жертвеннику Божию, к Богу радости, веселия моего, и на кинноре буду славить Тебя, Бог, Бог мой!… Петь будут уста мои, когда восхвалю Тебя, и душа моя, которую выручил Ты» (71,23). Также имеется и в Псалмах, 68,4: «А праведники радоваться будут, ликовать перед Богом и торжествовать в радости». И об этом говорит Мидраш :[Став молиться, пусть будет

у тебя на сердце радостно, что ты молишься Господу, которому нет подобного. Ибо это – настоящая радость. На сердце у человека пусть будет весело, ибо божественное присутствие проявляется лишь в радости исполнения заповеди»[194]. Большинство приводимых здесь цитат взято из книги Луццато)]. В Псалмах 100,2: “Служите Господу в радости, предстаньте перед ним с пением”. В Псалмах 104,34: “Да благоволит Он к словам моим; радоваться буду я Господу”. В Псалмах, 149,2: “Да радуется Израиль Создателю своему, сыновья Сиона да возликуют о Царе своём”. В Песне песней: “Влеки меня, за тобой побежим . Привёл меня царь в покои свои – возликуем и возрадуемся с тобою” (1,4).

Известный раввин Моше Хаим Луццато, живший ещё до Бешта, писал в своей книге “Путь праведных”, что еврей должен лишь очищать своё сердце перед Богом. Уже в предисловии он говорит: “ Большинство людей считают, что благочестие выражается в частом повторении напевов, в очень длинных исповедях, тяжёлых постах – во всех этих противных разуму вещах. Но настоящее, желаемое и приятное благочестие далеко от этого представления»[195]. В главе 18, рассуждая о степени благочестия, он говорит о том, какой причиняется вред духу благочестия в глазах народа и образованных людей, считающих, что благочестие занимается такими глупостями, такими противоречащими здравому смыслу вещами. Им кажется, что всё благочестие заключается в обращении со многими просьбами, в плаче, в поклонах и в абсурдных мучениях, которыми себя стараются до полусмерти изнурить[196]. Нет, не в этом благочестие! И он перечисляет степени добра, которые человек должен достигнуть, при том, что слово “хасид”[197] – высшая степень, выше, чем “цадик”[198], и проявляется в сердечном веселии, в одушевлении. Как сказано нашими мудрецами, благословенна их память: “Божественное присутствие проявляется не в грусти”[199].

А Бааль-Шем углубил и расширил мысль о том, что еврей должен служить Господу только с радостью. Не следует человеку предаваться тоске и грусти. Он всегда должен быть радостен и весел, и в этом истинная служба Господу. Кроме того, еврей должен чуждаться всяких дурных свойств, в особенности гордости, которая есть мать всех пороков. Евреи должны жить в мире и согласии. Не должно быть великих и малых – и тогда настанет Спасение.

Но поскольку евреи пока ещё не живут в своей стране и разбросаны по разным странам и городам, следует в каждом месте каждой группе евреев выбрать себе ребе, который бы неоспоримо стоял во главе группы и чьё слово было бы свято для

всей группы! Чтобы ему нельзя было противоречить ни на волос. Как говорит Гемара в трактате Рош ха-Шана[200] – Срок), 25 – 72: “Иерубавель в своём поколении – как Моше в своём, Дан в своём поколении – как Аарон в своём, Йифтах в своём поколении – как Шмуэль в своём, откуда – учёный муж, будь он самый простой, назначенный главой общины становится самым могущественным».

Каждая мысль евреев той группы должна быть направлена на этого человека, ему они должны доверять все свои тайны, ему они должны открывать свои беды и радости, свои сердце и душу, и только так может быть у евреев единство и мир. А мир – основа всего.

Понятно, что слова эти точно подходили к иссушенному, тоскливому миснагидскому времени. Были они – как хороший дождь для высохшего поля. И евреи бросились к хасидизму. Та же вера, та же религия, тот же «Шульхан-арух», но полегче: легче жизнь, полегче религиозное бремя – и с радостью, восторгом и экстазом. А главное – все равны, все равны, никакого ихуса!

Не надо теперь себя истязать до смерти, не надо мучиться, наоборот – кушать самые лучшие блюда, пить самое лучшие вина – лишь бы были. Кушая и выпивая лучшие вина, можно так же хорошо служить Богу, как молитвами и ученьем, лишь бы кушать во славу Господа, с весёлым сердцем, с радостью, с удовольствием. Еврей всегда должен быть веселым и бодрым, не должен ощущать себя униженным в своём еврействе, даже если он не учён. Богу можно служить мыслью, чувством, даже стоном.

У миснагидов даже учёные бывают унижены в делах еврейства. Они придерживаются того, что сказал талмудист р. Зеера[201]: «Если первые – сыны ангелов, то мы – сыны человеческие, а если первые – сыны человеческие, то мы – ослы, и не такие ослы, как осёл Ханины бен-Доса и р. Пинхаса Бен-Яира, а просто ослы»[202].

По системе же Бааль-Шема, евреи – очень важный народ, и, в сущности, не нужно никакой гениальности и необыкновенной одарённости. Есть они – конечно хорошо, а нет – тоже не беда. Все евреи могут быть праведниками –неучёные так же, как и учёные, довольно и доброго сердца. Миснагиды держались высказывания: «Неучёный не может быть благочестивым»[203]. Это неправильно. Необразованный человек с добрым сердцем может быть лучшим евреем, более благочестивым, чем величайший знаток Ученья.

Как сказано, евреи бросились к хасидизму. Для простого еврея хасидизм был истинным счастьем - акции его сейчас чрезвычайно поднялись. Кроме того, раньше в бет-ха-мидраше он

не был человек – ни для себя, и ни для других. А тут, в хасидском штибле, как называли хасидский бет-ха-мидраш, он – на равных с самым большим знатоком. Также и бедняки – на равных с самыми богатыми. Учёные миснагиды, которых хасидизм также радовал тем, что освобождал от тоски, становились шумными, живыми и глубоко думающими, на что прежде они были неспособны. Для них также открывалась новая сфера - мистики и кабалы, как поэзия выпивки, когда пьёшь хорошее вино. И всех привлекал и притягивал хасидизм своей атмосферой свободы. Миснагид всегда озабочен. К празднику он должен справить себе новую одежду, так как в бет-ха-мидраше очень смотрят на одежду. Не имея новой одежды, он стыдится того, кто ходит хорошо одетый. У хасидов забота об одежде совсем исчезла, как заботы вообще. Там, в хасидском штибле, красивые вещи не играют никакой роли. Никто не смотрит, в каком кафтане ходит тот или иной хасид. Все равны.

В хасидском штибле никто не владеет никаким местом, вообще нет никаких мест, каждый молится, где хочет, и вообще, у хасидов не стоят на одном месте во время молитвы, крутятся, кидаются – темперамент не даёт стоять, нужно двигаться. Хасиды таки расхаживают во время молитвы. Постоят у восточной стороны, потом у двери, потом с южной стороны, с северной – одним словом, крутятся.

Также они не заботятся об общей молитве: одни читают «Благословен Тот, Кто лишь молвил», другие – «Хвала…», те – «восемнадцать благословений», а тот курит трубку. Курить у них – тоже мицва. А там в углу – собрались несколько хасидов. У одного - бутылка водки с рюмкой, он пьёт «ле-хаим» со всей кампанией евреев. Те уже помолились ещё раньше остальных. Коцкие хасиды могут пить «ле-хаим» даже ещё до молитвы, подходит, напевая, ещё один, несколько мальчиков ему подпевают – стоит веселье.

Гордость у хасидов вообще отсутствует, словно её вообще нет в мире. Все равны, бедные с богатыми, необразованные с учёными, молодые со взрослыми. Большинство друг с другом «на ты», терпеть не могут «выканья». «Выканье» для них – вроде анти-хасидизма.

Лишь тот, кто может хорошо, с рвением говорить, имеет приятный, душевный голос, будет высоко цениться у хасидов. Также и тот, кто имеет в себе много веселья, может выпить и станцевать, будет сильно любим. И если он пожелает танцевать, то потянет за собой хасидов, и они откликнутся. Он может быть молодым, бедным или совсем простым человеком – неважно. Он потянет за собой самого большого богача, самого большого

знатока, старейшего старика, и будут танцевать даже и в будний день. А если ленится иной раз старый богач, что фактически бывает редко, его похлопают по плечу и потянут за бороду, пока он не затанцует. Также он должен выпить, а уж опьянев, затанцует на чём свет стоит.

У хасидов – всегда праздник, всегда веселье. Если у кого-то йорцайт[204], хасидам в штибле с него уже причитается водка. Если он бедняк – водку ему дают богачи. А если йорцайт у богача – он должен обеспечить водки побольше, общество пьёт после молитвы - и идёт веселье. По сути, у них каждый день – вроде праздника. Тут - йорцайт у раввина, устраивают трапезу и пьют, едят и поют; там – гость, и снова то же; а тут просто захотелось кому-то покутить – и т.д.

В субботу перед слихот, когда все миснагиды впадают в самый большой мрак, готовясь к Йом-Киппуру, когда в бет-ха-мидрашах читается в сумерках со стенаниями «Ле-менацеах»[205], тут, в хасидском штибле, царит истинное веселье. В те же субботние сумерки у хасидов допоздна поют, ещё позже, чем каждую субботу, а на исходе субботы варят крупник с мясом, приносят водку и пиво (крупник варят в хасидском штибле или у соседа), и разные песнопения слышатся весь вечер до глубокой ночи. Тогда все хасиды снова собираются, коротко и с подъёмом читают слихот, и через полчаса уже с ними кончают. Потом накрывают на стол. Если крупник готов – идут кушать, а если нет – поют и от души танцуют. И так кутят до рассвета. Ночью договариваются ехать к ребе, решают, сколько надо фур, и т.п. Бедные присоседились к богатым. Каждый бедняк придерживается какого-то богача для поездки. И интересно – бедняк выбирает богача, а не богач – бедняка. И если бедняк выбрал, скажем, Хаима, то Хаим не может ему отказать. Напротив, богач его похлопает ещё по спине, бедняк даст сдачи, и все посмеются. К большему богачу прибьются двое бедных хасидов, а к ещё большему – трое, четверо. Мой отец имел «своих» хасиделех: Аврама, Гирша и Мотеле, ездивших с ним вместе каждую Рош-ха-Шана к ребе.

К ребе на Рош-ха-Шана ездило больше трети хасидов. А остальные, кто не ездил, приходили проводить отъезжавших. Давали листочки с просьбами к ребе, в которых тот или иной обращался к Господу.

А как хасиды жили весь год я, думается, описал в соответствующих местах своих воспоминаний.

Как я уже сказал, хасидизм подошёл для всех частей и классов народа: для бедного и богатого, для неучёного и учёного, для старого и молодого. Богатым хасидом быть – завидная доля,

лучше, чем самым большим богачом из миснагидов. И не только в глазах евреев – богатый и набожный христианин конечно, не знал удовольствий, которые были уделом богатого хасида. У последнего дом полон пенья, экстаза и большой радости.

Только я хасидом стать не смог. Не лежала моя душа к хасидизму. Прежде всего меня отталкивал от хасидизма вопрос насчёт ребе, страшно чуждого характеру миснагида. Ребе самого по себе ещё можно выдержать. Но суматоха вокруг, его невероятное значение и то, что должность ребе передаётся по наследству, как у царей – отталкивало совершенно. Я ни в коем случае не мог поверить, что должен быть человек, да ещё не выбранный, а наследованный, которому было бы можно высказать то, что есть на сердце, доверить все ошибки, происходящие от природы или привычки. И чтобы этот человек тебя научил, как усовершенствоваться, победить свою дурную природу, дурные привычки и т.п. И его послушаться.

От хасидизма меня в юности также оттолкнуло то, что я много видел у бедных хасидов, как плохо живут их жёны. Мужья, хасиды, были всегда веселы и бодры, ели, пили, танцевали и пели вместе с другими хасидами, а их жёны и дети сидели дома в холоде и голоде.

Бывало, что рабочий-хасид зарабатывал всего десять злотых или два рубля в неделю. Они мыли бараньи кожи зимой в реке, а их жёны и дети терпели голод и холод. Но мужчины после работы шли в штибль, веселились, кутили и пели и, как видно, мало сокрушались о том, что жена и дети сидят в холодной квартире голодные.

Мне это портило радость. Психологически можно нищего понять: что за польза от того, что и он будет сидеть дома с тоскующей женой и с детьми? Что, он их этим согреет, развеселит? Но на меня это сильно влияло, и мне больше нравились хмурые миснагиды, которые не радуются, не танцуют и не поют, зато больше находятся со своими жёнами и детьми, неся на себе тяжкое бремя содержания семьи.

Против хасидов я имел, естественно, также и теоретические аргументы, как я уже писал, но тут важно упомянуть практическую сторону, из-за которой я, как видно, в особенности не мог согласиться с системой. И вот ещё что: надо было уметь забыть о реальной жизни и полностью предаться пению и беззаботности. Я этого не умел, и из меня никакой хасид получиться не мог.

Ещё один недостаток хасидизма я должен упомянуть, который на меня тогда плохо повлиял. У хасидов не может появиться больших учёных. Способный хасидский мальчик с

хорошей головкой – пропадёт. Он не учится, тратит время впустую, и это очень удручало.

Зато миснагидские дети много занимались, действительно много знали, и с ними много возились. Миснагидский мальчик трудился. И мне тоже хотелось трудиться и знать. И так я совсем отдалился от хасидизма…

notes

Примечания

1

Парал. загл. л. на англ. яз.: What I have seen… the memoirs of Yechezkel Kotik : edited and translated into Hebrew with an introduction by David Asaf. Tel-Aviv : Center for the History of Polish Jewry, Diaspora Research Institute, Tel-Aviv University, 1998. 378 p.

2

Характеризовав на с.13 воспоминания Котика как «действительно, из самых прекрасных и важных в еврейской мемуарной литературе», переводчик приводит в сноске большой библиографический список таких изданий.

3

Котик, Авраам Гирш (1868-1934), старший сын Е.Котика, участник социалистического движения и издатель книг на идиш в разных городах России, Польши и Америки, куда эмигрировал в 1925. В том же году опубликовал в Нью-Йорке книгу на идиш «Жизнь еврейского интеллигента», в 1926 вернулся в СССР, где жил в Москве и в Харькове.

4

Т.е. вольнодумца. Принятое в еврейской среде понятие, связанное с именем древнегреческого философа Эпикура, проповедовавшего освобождение от страха перед богами и перед смертью. В разные периоды понятие это наполнялось разным содержанием.

5

Принятое у евреев название г. Бреста, ныне – областной центр в составе Белоруссии.

6

Незаконнорождённым - т.е. тем, чего надо стыдиться. Упомянутое в тексте выражение «рубль не может быть мамзером» аналогично поговорке «деньги не пахнут», что неприемлемо для вольнодумца.

7

Избицкий, Иосиф (1928-1876), деятель Бунда и идишистский писатель.

8

Спектор, Мордехай,1925-1858 – писатель и журналист на идиш.

9

До 3-го раздела Польши в 1795 г. и присоединения к России - местечко Брестского воеводства и повета. В описываемый период – Брестского уезда, Гродненской губ. В настоящее время Брестская обл., где расположен г. Каменец, входит в состав Белоруссии, поэтому прежнее название Каменец-Литовский непринято.

10

Старинная русская мера веса, равная 409,5 г.

При новой системе отменялась ответственность общины за предоставление из своей среды определённого числа рекрутов, вводилась всеобщая воинская повинность для граждан государства, достигших 21 года. Специальные комиссии руководствовались постоянными критериями отбора, максимальный срок службы не превышал 15-ти лет.

12

От слова «ешув» - поселение, т.е., жителей окраин и окрестных деревень.

13

В тексте: “фир шок”. Schok (нем.) – копна, а также шестьдесят штук, в дан. случае – мера урожая, состоящая из 60-ти снопов.

14

Неудачник.

15

Ироническое замечание. Свидетельство о кашерности – пригодности в пищу по религиозным законам - конечно, выдавал раввин, а ревизор должен был засвидетельствовать, что в городе всё в порядке с разрешениями на торговлю.

16

Дом ученья, место изучения Торы, Талмуда и послераввинистической литературы. На протяжении истории существовал то отдельно от бет-кнессета – синагоги (в древности), то в одном здании или поблизости (начиная со Средних веков).

17

В данном случае значение слова: синагога.

18

Жилое помещение, комната. Так называли хасидский «дом ученья» и синагогу, совмещавшиеся в одном помещении.

19

Гемара и Мишна (мн.ч. – Мишнайот) – составные части Талмуда, т.е. «учения» – свода правовых и религиозных положений иудаизма, созданного законоучителями Эрец Исраэль - в русской традиции «Страна Израиля», позже «Палестина» – и Вавилонии на протяжении около восьми столетий, с 3 по 7 века. Мишна - «теория», «система» – собрание всевозможных постановлений и правил, местных законов и обычаев, религиозных установлений и сказаний («агадот»). Состоит из шести разделов (сдарим): Зраим (Семена), Моэд (Срок, посвящён законам, касающимся субботы и праздников), Нашим (Женщины), Незиким (Ущербы), Кодашим (Святыни), а каждый раздел – из нескольких трактатов (массехот), в общей сложности содержит 63 трактата. Гемара – букв: «завершение», «изучение», «воспринятое от учителя» – свод дискуссий и анализов текста Мишны. В обиходе термином Гемара часто обозначают Талмуд в целом, а также каждый из составляющих его трактатов в отдельности.

20

Книга, составленная р. Яковом бен-Хавивом, одним из мудрецов Испании периода изгнания, высланным в Салоники. Книга, в которой собраны и разъяснены талмудические сказания, пользовалась, благодаря простоте изложения, большим успехом среди масс, выдержав много десятков изданий.

21

Букв. - «отшельник», «аскет», «отделившийся», в разных значениях этого слова. В древности – одно из течений в иудаизме – по-русски фарисеи - (в отличие от саддукеев и ессеев), отличающееся большим, по сравнению с другими, религиозным рвением. В Польше в 19 в. – оставившие из аскетических соображений дом и семью женатые ешиботники, обучающиеся в др. городах – см. в тексте.

Последним двум темам уделяется много места в дальнейших главах.

23

Профессиональный шутник.

24

Двадцать грошей равны по цене десяти копейкам.

О восстании вообще и в связи с положением евреев, см. ниже.

26

Собравшиеся для совместной молитвы мужчины и отдельные группы молящихся, минимально – десять человек.

27

Рог, древнейший музыкальный инструмент, используемый, в частности, во время религиозных праздников.

28

Букв. «толкование» – жанр литературы, представляющей собой иносказательное толкование и поучения на тему библейских текстов, в отличие от прямого их толкования («пшат»). Этим же словом обозначают и сборники отдельных мидрашей, создававшиеся в после-талмудическую эпоху, с 5-6 в., в Средние века и до 12 в. Различались агадические (древнейший из сохранившихся – Пасхальная агада) - и галахические мидраши, в соответствии с их содержанием.

29

Специальное лицо, уполномоченное совершать над младенцем обряд обрезания.

30

Повеление, предписание еврейской религии, в обычном словоупотреблении – всякое доброе дело.

31

Букв. «За жизнь!», соответствует русскому: «За ваше здоровье!».

32

Учебное заведение для бедных еврейских детей, содержащееся на средства общины. Возникло в конце Средних веков в Европе для преподавания Торы и Талмуда и существует до наших дней.

33

Вероятно, от польско-украинского слова, означающего «чулочник» и относящегося к одежде, принятой в этой среде.

34

«Поучения отцов» – самый распространённый из талмудических трактатов, содержащий перечисление в хронологическом порядке еврейских законоучителей с их программными высказываниями, ставшими ядром мировоззрения и этики иудаизма. Во многих общинах было принято читать и изучать трактат по субботам, так что он стал частью религиозного ритуала.

35

Молодого человека, особенно отличающегося в изучении Талмуда и раввинской литературы.

36

Мацу, по-русски «опресноки», готовят на Песах – в русской традиции принято называть «еврейской Пасхой» - весенний праздник в память исхода евреев из Египта, начинается 15-го числа месяца нисана и длится неделю в Эрец Исраэль и 8 дней в диаспоре. Мацу готовят из не заквашенного теста, в честь исхода из Египта, когда евреи не успели приготовить хлеб, взяв с собой в дорогу пресные лепёшки

37

Праздник, посвящённый чудесному спасению евреев Персии от козней царского сановника Амана, что является содержанием «Мегилат Эстер» - библейской Книги Эсфирь, отмечается 14 числа месяца адар – приходится на март.

38

Вызов для прочтения главы из Торы во время синагогального богослужения. В субботу для прочтения еженедельной главы вызываются семь человек, в Судный день - шесть. Приглашение к чтению Торы считается почётным, и каждый еврей считает своим долгом периодически быть приглашённым. Приглашают членов общины, у которых произошло в течение недели важное событие, радостное или печальное. Богатые члены общины «покупали» приглашение, так же, как они «покупали» почётные места в синагоге, внося плату на содержание синагоги, что считалось подобающим поведением для уважаемого члена общины.

39

Блюдо из фасоли, картофеля и кусочков мяса, ставилось в закрытой посуде в печь в канун субботы и варилось всю ночь с помощью тепла, оставшегося с пятницы.

40

В сефардском произношении «шамаш» – синагогальный служка.

41

«Накрытый стол» - основополагающий кодекс религиозных предписаний ортодоксального еврейства, составленный Иосефом бен-Эфраимом Каро (1488, Толедо-1575, Цфат), является упрощённой переработкой его же более обширного труда «Бет-Йосеф» («Дом Иосифа»).

42

Теиллим (Псалмы),119.

43

Посланцы общины, занятые ловлей детей для целей мобилизации в армию, вв основном, не числящихся в ревизских сказках, а также имеющих «дурную репутацию» – бедняков, нарушителей общетвенного порядка и религиозных предписаний и т.п.

44

«Парнас-ходеш» - в Польше в XVI-XVIII вв. и в Российской империи формально между 1772 и 1844 гг., до отмены общинной системы, а фактически и позже – глава еврейской общины, являющийся посредником между ней и властями. Каждый из числа семи-восьми выбранных городских старшин по очереди состоял в течение месяца таким главой общины.

45

Сборщики налогов, а также и ответственные за мобилизацию в общине.

46

«Тосафот» – комментарий к Талмуду, сопровождающий, вместе с комментариями крупнейшего средневекового талмудиста из Северной Франции Раши – аббревиатура от раби Шломо Ицхаки, 1040-1105 - все печатные издания Талмуда. Создавались дополнения в XII-XIII вв. в центрах талмудической учёности Германии, Франции, Англии и Италии.

47

Аббр.: Морену ха-раби Шмуэль Идельс – точнее, Самуил Элиэзер бен-Иегуда Эдельс, 1555-1631 – один из важнейших толкователей Талмуда, руководитель раввинской школы в Люблине и в Остроге Волынской губ.

Этими выражениями часто кончались многие толкования Эдельса.

49

Синагогальный староста.

50

Еврейский Новый год, отмечается осенью, в месяц тишрей.

51

День прощения, искупления, русское название Судный день - самый важный еврейский праздник, отмечается в десятый день месяца тишрей.

«Добрый урок» – эти популярные сборники включали также отрывки из Гемары, Дополнений, толкований Раши и др. материал для начинающих изучать Талмуд.

Т.е., в хедерах учили «недельную главу Торы» – ту же, что читали в течение недели в бет-ха-мидрашах, но успевали пройти только половину главы.

См. об этом и в др. местах в тексте. Действительно, было не принято учить целиком Танах в традиционной среде, тем боле, в среде хасидов. Обычно ограничивались изучением, в отрывках, Торы. И изредка – отдельных Пророков.

55

Семестр, период обучения, продолжавшийся 4-6 месяцев. В году было два срока, зимний и летний.

Статуса, связанного с богатством или благородным происхождение.

57

В русской традиции Пятидесятница – «праздник первых плодов» и Синайского откровения, отмечается летом, 6-го числа месяца сиван.

58

По-русски праздник Кущей - семидневный осенний праздник в память о шалашах, в которых жили израильтяне в пустыне после исхода из Египта.

59

Котик различает «докторов» и «врачей», вероятно, подразумеваются целители, не получившие специального образования, к которому в тот период, кстати, евреи не имели доступа, так что большинство «настоящих» докторов в местечках были поляки.

60

«Освящение» - праздник в память об очищении Иерусалимского Храма от предметов языческого культа, возобновлении в нём богослужения после победы войска Иегуды Маккавея над греко-сирийцами и изгнании их с Храмовой горы во 2-м в. до н.э. Восстание Маккавеев описано в двух из четырёх апокрифических Книг Маккавеев. Книги Маккавеев, объединённые общей темой противостояния евреев преследованиям эллинистических царей, канонизированы христианской церковью и включены в состав Библии, кроме протестантской.

61

Бассейн для ритуального омовения.

62

Каменецкий раввин, имя которого автором не названо - это Авраам-Дов Ха-Леви, о его смерти в 1866 г. от холеры см. ниже, в гл. 27.

63

Нравоучительный трактат гродненского раввина Александра Зискинда, умершего в 1794 г., дальнего родственника автора.

«Гаон» – мудрец. Виленский гаон - Элияху бен Шломо Залман (1720-1797), глава «миснагидов», противников хасидизма, для литовских евреев – образец идеального знатока Ученья.

Проповедников.

Канторы.

67

Свадебный балдахин на четырёх шестах, под которым производится официальный обряд бракосочетания.

Т.е. был посредником при взимании коробочного сбора – внутриобщинного налога, главным образом, на продажу кошерного мяса.

69

Вместе с отменой в 1844 в Российской империи прочих кагальных (от еврейского слова «кахаль» – община) должностей, с помощью которых осуществлялось посредничество между еврейской общиной и властями.

На идиш в этом слове («русиш») всего пять букв.

71

В сефардском произношении талит - еврейское молитвенное облачение, представляющее собой прямоугольное покрывало из шерстяной, хлопчатобумажной или шёлковой ткани.

72

Молитвенные принадлежности, состоящие из двух кожаных коробочек со священными текстами.

73

Непременная часть пасхальной церемонии.

Сватовство, «партия».

Сват.

Шива – семь дней траура. Символический надрез на одежде – часть траурного ритуала.

Зелиг Андаркес был отцом Берл-Бендета (о нём ниже), мужа дочери Арон-Лейзера).

78

Буквально – «домик», т.е. молитвенный дом, хасидская синагога.

«Моисея, нашего учителя».

80

После других праздничных дат упомянуто 9-е число месяца ава, традиционный день траура и поста в память о целом ряде трагических событий, постигших еврейский народ в этот день, из которых главные: разрушение Перввого иерусалимского храма вавилонским царём Навуходоносором в 586 г. до н.э. и римским императором Титом – Второго храма в 70 г. Описанное автором далее поведение хасидов противоречит принятому в ортодоксальном иудаизме поведению в этот день.

81

В древности в этот день отмечалось начало сбора винограда, что некоторые учёные считают продолжением языческих торжеств, связанных с днём летнего солнцестояния.

82

Молитвы, произносимые в течение месяца перед наступлением Нового года.

83

В том смысле, как сказано в «Поучениях отцов»: «Этот мир – как передняя перед будущим (4,16).

Особенно крайняя ветвь хасидского движения, возникшая в г. Коцке Люблинского воеводства вокруг ребе Менахем-Менделя Моргенштерна, 1787-1859. Его последователи оставляли семьи и жили подолгу поблизости от ребе.

85

Перечислены первые отрывки из книги Шмот (в христианской традиции Исход).

Т.е., соблюдала больше религиозных предписаний, чем полагается по Галахе, которая освобождает женщин от строгого их соблюдения.

87

Пятикнижие с параллельным текстом на иврите и идиш, предназначенное, в основном, для женщин.

88

Названа по строке из библейской Песни песней: «Выходите и поглядите, дочери Сиона …» (3,11) – популярное изложение на идиш Торы и её толкований, составленное Яковом бен-Ицхаком Ашкенази из Янова в 16 в. Благодаря своему успеху в широких кругах, особенно среди женщин, книга выдержала более 200 изд.

89

Давид Асаф, переводчик книги на иврит, считает, что задача лишена смысла.

90

Имеется ввиду, по-видимому, И.К.Огинский, польский дворянин из Виленской губернии, хорошо относившийся к евреям Утверждение Котика о том, что Огинский был один из руководителей польского восстания, как видно, неверно – прим. переводчика книги на иврит Д.Асафа.

91

Каплан,П. (1870-1943) – писатель и журналист, писавший на иврите и идиш.

92

Тринадцать лет, совершеннолетие у евреев, с этого возраста мальчик обязан соблюдать заповеди.

93

Один из трактатов Талмуда, посвящённый правилам, связанным с праздником Песах, мн. число Песахим: речь идёт о двух первых праздничных днях, которые отмечают в диаспоре, в отличие от одного дня – в Эрец Исраэль.

94

Имеется в виду барон Иосиф (Евзель) Гиннцбург, 1812-1878, из семьи банкиров и ходатаев по еврейским делам в России 2-й половины 19-го и начала 20-го в.

95

В языке идиш, в отличие от иврита, существуют гласные звуки, которые могут менять своё звучание в зависимости от огласовок – подстрочных знаков, одним из которых является камац (на идиш говорят «комец»).

Сходное, но не совсем одинаковое звучание букв в этих двух случаях, что трудно уловимо для детского слуха.

«Средние врата» - один из трактатов Талмуда раздела «Незиким» (Ущербы»), посвящённого имущественным спорам.

См. об этом «большом мудреце» в гл.1.

99

Часть третья указанного выше трактата «Бава Меция».

100

См. конец 1-й главы. Представления евреев о загробном мире отражены в еврейском фольклоре, а также в каббалистической литературе, в частности, в книге Зохар (большая часть написана в 13 в. кастильским каббалистом Моше де Леоном).

101

Говяжье, овечье и козье сало запрещено к употреблению в пищу по еврейскому закону.

102

В сефардском произношении «цицит» - кисть, приготовленная из шерстяных ниток, пришивается с каждой стороны талита, а также и «малого талита» (или «арба кнафот») - прямоугольного шерстяного куска материи, который носят днём под верхней одеждой.

103

Десять дней покаяния - первые десять дней осеннего месяца тишрей, с первого дня Рош-Ха-Шана до Йом-Киппура, посвящённые покаянию в грехах и мольбам о прощении в наступающем году. В течение этих дней читаются перед рассветом специальные молитвы-покаяния, т.е. слихот.

Т.е., ещё был не обязан поститься.

105

Новогрудский - по мнению Давида Асафа, переводчика книги на иврит, по имени Новогрудка, одного из старейших городов Литвы (во времена Котика), ныне – Белоруссии (Гродненская обл.), с еврейской общиной, упоминаемой с 1529 г.

106

В еврейских народных поверьях и в кабалистической литературе - злой дух, который вселяется в человека, овладевает его душой, причиняет душевный недуг, говорит устами своей жертвы, но не сливается с ней. Большинство рассказов о дибуке связано с хасидской средой. Случай, описанный Котиком, упоминается и в других источниках его времени.

107

Религиозное отлучение.

108

Ляховичи – во времена Котика литовский, ныне белорусский город.

109

Закон о мобилизации, специально касающийся евреев, опубликованный впервые в 1827 г., оставался в силе до 1856 г. Котику было 8 лет в 1855 г., в разгар Крымской войны, а здесь имеется в виду указ 1853 г., об увеличении числа призываемых в армию евреев и разрешении забирать в армию каждого, не имеющего паспорта. По закону запрещалось призывать моложе, чем с 12-ти лет, но на деле было схвачено много подростков, начиная с 8-ми лет, которые выдавались за 12-тилетних.

Срок службы отсчитывался с восемнадцатилетнего возраста, до которого подросток числился кантонистом.

111

Об этом «единственном сыне», племяннике Арон-Лейзера, см. в гл. 7.

112

Китль – белое льняное одеяние, которое надевают ортодоксальные евреи в синагоге в Йом-Кипур и в некоторых других торжественных случаях.

113

Как живёшь, дорогой пан Котик? (польск.)

114

Трефное – мясо убитого животного, в частности, кур, негодное в пищу вследствие различных дефектов, обнаруженных после убоя. В сомнительных случаях за решением обращаются к раввину.

115

Три отрывка из Торы, начинающиеся словами: «Шма, Исраэль» – «Слушай Израиль», которые читают ежедневно во время послеполуденной и вечерней молитвы.

116

18 благословений, которые читаются в синагоге ежедневно во время утренней, послеполуденной и вечерней молитвы.

117

Вопросы и ответы – основная отрасль обширной раввинистической литературы, посвящённая решениям, принимавшимся в разные эпохи и в разных местах.

118

Речь идёт об угрозе Арон-Лейзера лишить каменецкого раввина его должности, в случае отказа того похлопотать перед своим братом – см. начало гл. 4.

119

Первое сочинение по еврейской этике, написанное по-арабски в 11 в. в Испании религиозным деятелем и философом Бахьей бен-Йосефом ибн-Пакудой. Книга переведена на многие языки, в том числе на идиш, выдержала множество изданий, пользуясь большой популярностью в широких кругах благодаря значению, которое в ней придавалось роли чувства и разума в религиозной сфере.

120

Популярная религиозно-этическая книга, автор которой, Исаак Абоаб (Старший), живший в Испании на рубеже 13 и 14 веков, восставал против одностороннего изучения талмудического законоведения в ущерб нравоучительной агаде, имеющей большое значение для народных масс, в том числе для женщин. Как и предыдущая книга, выдержала множество изданий, была переведена на идиш.

121

Сборник, излагающий этическое содержание иудаизма, составлен в Германии в эпоху позднего Средневековья, один из главных его авторов – знаменитый мистик, моралист и литургист Йехуда Благочестивый (умер в 1213 г.) Учит доброму отношению ко всем людям и даже к животным.

122

Седьмой месяц еврейского календаря, приходится на март-апрель.

123

Шейгец - мальчик-нееврей.

124

Из-за запрета считать сынов Израиля – толкование Раши, предупреждающего против «сглаза», на отрывок из Книги Шмот (В христианской традиции Исход), 30,12: «Когда будешь ты проводить всеобщий подсчёт сынов Израиля для определения их числа, перед подсчётом их пусть каждый принесёт Богу искупительный дар за душу свою, и не будут поражены они мором при их подсчёте» - было принято при подсчёте людей пользоваться подобными уловками.

125

«Восток» - первый и самый почётный ряд стульев у предположительно обращённой к Иерусалиму восточной стены синагоги, где находится также шкаф для хранения свитков Торы – Ковчег Завета.

126

«Каппара», мн. ч. «каппарот», в ашеназийском произношении «капойрес» - искупление – народный обычай, по которому в канун Йом-Киппура трижды вращают над головой домашнюю птицу с целью перенести на неё грехи человека, при этом приговаривая: «Это моя замена, это моё возмещение, это моё искупление. Этот петух (или курица) обречён на смерть, а я – на добрую, долгую жизнь и покой». Птицу иногда отдают бедным, иногда весь ритуал заменяют денежными пожертвованиями.

127

Особенно длинные молитвы, которые читают в канун Нового года.

128

«Все обеты» – первые слова вечерней литургии Судного дня.

129

Дополнительная молитва, читаемая в праздники.

130

Актёры, участвующие в Пурим-шпиль – пуримском представлении, сюжетом которого являются разные библейские истории, главным образом - события, описанные в Мегилат Эстер – Книге Эсфири.

131

Квасное, которое не едят в течение всей пасхальной недели в память о пресных лепёшках, которыми пришлось довольствоваться сынам Израиля после исхода из Египта, т.к. у них не было времени заквасить тесто, чтобы приготовить хлеб.

132

Оладьи из мацовой муки или тёртой картошки.

133

Мера длины, приблизительно в один метр.

134

Талмудист конца 3-го века, жил в Вавилонии и в Эрец Исраэль. Много путешествовал, знамениты его рассказы об увиденном, иногда с фантастическим оттенком, в частности, и рассказ о якобы встреченном им истекающем жиром гусе, о чём можно прочесть в книге Х.-Н.Бялика и И.Х.Равницкого «Агада : сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей.

135

Те и другие – законоучители, духовные вожди народа и создатели Талмуда в Эрец Исраэль и в Вавилонии в 1-5 вв. Амораи занимались толкованием учения таннаев и приходили иногда к другим, чем те, галахическим выводам.

136

Крупнейший центр талмудической учёности, созданный учеником Виленского гаона, р. Хаимом Воложинским в 1803 г. в местечке Воложин Виленской губернии, ныне – Воложинский р-н Минской обл.

Т.е. меламед.

138

С древних времён было принято среди евреев рассеяния оказывать помощь неимущим соотечественникам, проживающим по религиозным мотивам в Эрец-Исраэль. С конца 18-го века сбор и распределение, в том числе и среди хасидов, этой помощи - т.наз. «халукка» - приняли организованный характер.

139

Праведник - титул хасидского ребе.

140

Крупнейший талмудический авторитет 2-го в.

141

От слова «маскиль» - «просвещённый», европейски образованный, свободомыслящий человек, последователь «Хаскалы» - «Просвещения», еврейского культурно-общественного движения, возникшего во 2-й половине 18-го в.

142

Жил в Вавилонии в конце 1 в. до н.э. – начале 1 в н.э., крупнейший еврейский законоучитель, известный большим смирением и менее жёстким, чем его современник Шаммай, толкованием религиозных установлений. Знаменит своим ответом язычнику, просившему научить его Торе, пока он стоит на одной ноге: «Не делай другому того, что ненавистно тебе самому. В этом вся Тора, остальное – комментарии».

143

Псевдоним еврейского писателя Шолома-Якова Абрамовича, 1835-1917. «Кляча» – один из его рассказов.

144

Местечко на Волыни, известное основанной там в 1791 г. типографией, печатавшей книги на иврите.

145

Об И.Вишняке см. выше, гл. 8.

146

Сборник галахических решений крупного талмудического авторитета, Иошуа Хешеля бен-Йосефа из Кракова, около1578-1648. Впервые опубликован во Львове в 1860.

147

«Щит Авраама» - комментарий польского талмудиста 17 в. Авраама-Абеле Гомбинера, к сочинению И.Каро «Шульхан-арух», регулирующему всю религиозную жизнь евреев.

148

«Собранные толкования» - сочинение выдающегося талмудиста и раввина Бецалеля Ашкенази, жившего в конце 16-начале 17 в. в Египте и Эрец Исраэль. Содержит толкования на большую часть трактатов Талмуда с извлечениями из разных талмудических комментариев, только благодаря этому сохранившихся.

149

"Рычание льва" - сборник галахических решений знаменитого раввина и главы ешивы и талмудическоготолкователя 18 в. Арье-ейба Гинцбурга. Известен своей неужичивостью.

Т.е., "Баит хадаш" - "Новый дом, сочинение Йоэля Сыркеса, выдающегося представителя полько-литовского раввинизма второй половины 16 - первой половины 17 в. Указанное сочинение, в действительности, является коментарием к сочинению "Арба турим" - "Четыре периода" Якова бен-Ашера, "отца ашкеназийского ритуала", известного кодификатора галахического материала, содержащегося в Талмуде (конец 13 – первая половина 14 в.).

Т.е., о сватовстве, о партии.

152

То же, мн. число.

153

Согласно одному из популярных библейских толкований, изложенных в книге «Берешит рабба» (предположительно 3-й в.), создав за шесть дней мир, Господь с тех пор сидит и подыскивает каждому подходящую пару.

154

Об этом налоге и о бароне Й.Гинзбурге см. в начале седьмой главы.

155

Сосуд с благовониями, используемыми после некоторых молитв.

156

Древнейшая часть Талмуда - сборник галахических решений, составленный Иехудой ха-Наси, выдающимся законоучителем Эрец-Исраэль второй половины 2-го – начала 3-го в. Отражает галахическое творчество предшественников и современников составителя. Творчество последующих поколений рассматривалось как комментарий к Мишне – Гемара.

157

«Тиферет Исраэль» – популярный комментарий к Мишне, составленный немецким раввином Израилем Лифшицем, 1782-1860.

158

В первое время еврейское Просвещение в России находилось под влиянием немецкой культуры. «Немец» для ортодоксального еврея было почти синонимом апикойреса, еретика.

Деньги эти было принято держать у поверенного до момента окончания содержания молодых в доме у родных невесты.

160

В действительности, срок выплаты был 46 лет.

161

1648 г.

162

То есть пожертвует деньги на бедняков Страны Израиля. Р.Меир Бааль-ха-Нес (Чудотворец), с именем которого связан этот обычай и гробница которого находится на берегу Тивериадского озера – неустановленное лицо.

163

Около половины гектара.

164

Преувеличение со стороны автора. Число евреев в тот период в Москве не превышало восьми тысяч.

165

Как видно, автор имеет в виду атмосферу в Киеве во время процесса Бейлиса в 1911-1913 гг.

166

Здесь также преувеличение со стороны автора. Такого количества еврейское население Киева достигло только к 10-м годам 20-го в.

167

Двенадцатый месяц еврейского календаря, соответствует августу-сентябрю.

168

«РадостьТоры», последний осенний праздник, знаменующий завершение годичного цикла чтения Торы в синагогах и начало чтения нового цикла. Отмечается в Эрец Исраэль в последний день Сукот, а в странах рассеяния – днём позже.

169

В оригинале, перемежая библейскую цитату с исковерканным переводом на идиш - обидная игра слов, основанная на сходстве в произношении на идиш союза «и» - «ун» и слова «хунд» – «собака».

170

М.Мендельсон, 1729-1786, р. в г. Дессау, еврейско-немецкий философ, один из духовных вождей движения Хаскала. По его переводу Пятикнижия на немецкий язык еврейскими буквами евреи Восточной Европы изучали немецкий язык.

171

Т.е. раввиншей. Котик приходился со стороны матери правнуком реб Гилелю Фриду, женатому на дочери Хаима Воложинера, главе знаменитой Воложинской ешивы. В описываемое время заместителем её главы был Хаим Гилель Фрид, внук Гилеля Фрида.

172

Моралистическое движение в среде миснагдов, гл. образом, учащихся ешив, ставившее на первое место воспитание личности. Возникло в середине 19 в. в среде восточно-европейского, в особенности литовского, еврейства, в противостоянии, с одной стороны, хасидизму, а с другой – Просвещению.

173

«Основа и корень служения», см. выше.

174

В Пурим, в честь чудесного избавления от грозившего народу бедствия, правоверный еврей должен напиться так, «чтобы не отличать Гамана от Мордехая».

175

Название трёх частей талмудического трактата, посвящённого вопросу об убытках.

В то время – Гродненская губ.

177

Ишаягу, 1,12-17, в отрывках.

178

Там же, 58, 5-7,8-9, в отрывках.

179

Десятая часть от дохода, которую Талмуд предписывал жертвовать на религиозные и благотворительные нужды.

180

В оригинале: «а она ведь – нечто совсем «я тебе дам»- вероятно, это русское выражение имело в тот период ещё какой-то, ныне утраченный смысл.

181

Выборная должность в еврейских общинах в 1857-1917, утверждавшаяся губернскими властями. Официально представлял общину в правительственных учреждениях.

Т.е., с середины августа до середины ноября.

183

Одна из молитв утреннего богослужения, описывающая благовония, применявшиеся в Иерусалимском храме. Вера в целительную силу молитвы основана на библейском тексте, описывающем действия Аарона во время Исхода для прекращения мора: «…возложил он смесь благовоний и искупил народ. И стал он между мёртвыми и живыми, и прекратился мор» (Бемидбар, 17,12-13).

184

Пальмовая ветвь - один из четырёх ритуальных предметов, используемых во время праздника Суккот.

185

“Тут нет места”.

“Тут достаточно места”.

В данном случае в трактате имеется в виду подчинение воле Всевышнего, что толкуется бабушкой автора, в соответствии с народной традицией, в духе взаимоотношений с ближними.

188

1795-1846, один из родоначальников еврейского просвещения в России.

Т.е., Танаха и Талмуда.

См. Бааль-Шем Тов, гл. 18.

191

Автор приводит изречение из мидрашей (а не из Талмуда) в «обновлённом», то есть неточном варианте.

192

Потомки древнего жреческого сословия у евреев.

193

«Вот слова» - по первым словам начальной главы пятой книги, в русской традиции «Второзаконие), 28,47: «За то, что не служил ты Богу, всесильному твоему, с радостью и с весёлым сердцем» - за это с тобой случится беда».

194

Автор объединил цитату из нравоучительной книги Луццато Моше-Хаима, 1707-1747, каббалиста, поэта и моралиста из Италии «Путь праведных» с талмудическим высказыванием из трактата Брахот (Благословения), [Шабат, 30, 72].

195

“Путь праведных”.

Там же, с. 83.

197

Благочестивый.

Там же, гл.19, с.87-88.

199

Видоизменённая цитата из Талмуда, трактат Брахот, приведённая выше также неточно.

200

Раздел «Моэд» («Праздник»).

201

Аморай из Эрец Исраэль конца 3 - начала 4 в.

202

Шабат, 112,72. Котик ссылается на талмудистов предыдущих поколений в цитате, которая приводится им как пример отношения к деятелям предыдущих поколений как к безоговорочным авторитетам, чьи суждения нельзя оспорить.

203

«Поучения отцов», 82,8.

Годовщина смерти (идиш).

205

Псалом 67, в православной традиции 66.